



ЮНОСТЬ

9

1974



Р. ГЕВОНДЯН (Ереван).

Лучники

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



9

[232]
СЕНТЯБРЬ

1974

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



Марина
КОСТЕНЕЦКАЯ

ЗАВТРА НА РАССВЕТЕ

РАССКАЗ

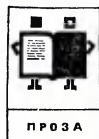


Рисунок
И. ВОРОБЬЕВА.

Потом пурга за стеной яранги будет медленно умирать и белой поземкой уползет на животе за дальние сопки. Это будет сегодня вечером, и Саша уснет прямо здесь, у тлеющих углей костра. Она не станет доставать из рюкзака спальный мешок, стелить в пологе шкуры, стягивать торбаса. Она уснет сразу же, мгновенно, как только ей позволят. Сам Амрелькот сказал, что к вечеру пурга стихнет. А ведь это что-нибудь да значит, если сам Великий Молчун Амрелькот сказал.

Кочевники пили маленькими глотками горячий крепкий чай без сахара и грели руки об эмалированные кружки. Третьи сутки они сидели возле чадающего, едкого костра, экономно подкладывали в огонь обмазанные жиром оленины рога и по очереди рассказывали сказки, чтобы не уснуть. Когда под внезапными порывами ветра яранга начинала скрипеть слишком сильно, они выбегали в пургу, разыскивали в снежном вихре опоясывающие рэ́тэм¹ канаты из оленьих жил и повисали на них балластом рядом с тяжелыми грузовыми нартами, прижимающимися к стенам. Третьи сутки они не смыкали глаз, потому что каждую минуту ураган мог сорвать ярангу и придавить спящих людей тяжелыми жердями каркаса.

Опасно в такую пургу спать в тундре, и поэтому они пили крепкий чай и рассказывали сказки.

Их было семь человек в стойбище: пятеро пастухов, чумработница и кочевой учитель красной яранги. У них давно кончились запасы привозных продуктов. Уже давно они жили лишь на пресной оленине, похлебке из оленьей крови и крепком чае, но и остатки заварки вот-вот должны были иссякнуть. Где-то там, за скалистыми хребтом перевала, знали об этом, и на складах центральной усадьбы колхоза лежали для них тяжелые ящики с галетами, гущеным молоком, маслом. Третью неделю они ждали самолет, но сначала, видно, не было погоды в поселке, а теперь вот над «портом прибытия» бушевала такая пурга, что на улице не видать было пальцев собственной вытянутой руки.

Небывалая для конца апреля пурга, когда спящее полярное солнце скрывается всего на несколько часов, а скоро начнет свой долгий путь без закатов — и так на все лето.

Небывалая для апреля пурга. В маточном стаде погибнет много новорожденных оленят, и пастухи принесут их, пушистых и заиндевелых, в ярангу и снимут с тушек чулком шкуру — много пыжиковых шапок получится из тех шкурок, мало молодняка будет к осени в стаде, невесело будут гудеть бубны на празднике Молодого Оленя. Совсем это плохо, если в конце апреля такая пурга.

Они пили крепкий чай у костра и рассказывали по очереди сказки. А к вечеру третьего дня пурга наконец стихла. И тогда они услышали в небе далекий гул мотора.

Надо взять себя в руки. Нельзя плакать из-за самолета, который совсем низко пролетел над стойбищем и ушел на посадку за сорок километров на северо-восток.

— Завтра вечером мы привезем твои письма, учитель Саша-кэй.

— Да, Кеулькут.

— Ты получишь сразу целую кучу писем! Все, от кого ты ждешь, обязательно написали тебе, и получилось, наверное, очень много.

¹ Рэ́тэм — покрывало яранги из оленьих шкур.

— Да, за эти месяцы могло скопиться порядочно!

— Ты конуешь с нами в тундре уже четвертую луну, учитель, а теперь осталось ждать всего одну ночь и один день — завтра вечером письма будут здесь. Сегодня мы не можем ехать, две ночи пастухи не спали. Кто пойдет сейчас ерканить ездовых оленей?

— Да-а...

— И никто ведь не виноват, что на этот раз самолет разгулялся в лютую бригаде! А в другой раз он сядет у нашей яранги, и их пастухи приедут к нам на оленях за своей долей сахара и чая.

— Они приедут, и мы разморозим на костре банки, на которых нарисованы обезьяны. Я видела их на складе, они с ананасовым компотом. И перец фаршированный откроем и галет поставим в полог сразу весь ящик. У нас получится настоящий банкет! Это называется банкет, Кеулькит. И мне будут письма, много сразу.

— Ну, конечно! Только в другой раз. А теперь... теперь ведь осталось ждать совсем мало, до завтрашнего вечера. Тебе надо сегодня выспаться, иди в ярангу!

— Я скоро приду, Кеулькит. У меня болит голова. Наверное, это от дыма, и, чтобы прошло, надо немножко погулять.

Саша резко отвернулась и пошла к стоявшей поодаль кибитке. Нельзя плакать из-за самолета, который низко пролетел над стойбищем и ушел на посадку на северо-восток.

Она нашла припрятанный в снегу олений рог и стала выбивать им меховой покров кибитки. Каждое утро они с чумработницей Тевляны выбивают снег из рэзма на яранге, и Саша научилась ловко орудовать рогом. Надо найти себе дело, надо что-то делать, вот хотя бы кибитку очищать от снега, и тогда скорее настанет утро. Ночное солнце за сопками двинется на восток, потом Тевляны раздует закрытые с вечера в золе угли на костре, и пастухи напьются крепкого чая.

Их было семь человек в стойбище. Шестеро из них от рождения были кочевниками и всю свою жизнь прожили в долинах и сопках тундры. Они никогда не получали писем, потому что писать им было некому и незачем — все близкие и дальние родственники кочевали если не с той бригадой, то где-нибудь в соседнем стойбище, до которого не тянулись по тундре провода телеграфа, но куда можно было при желании добраться оленьей упряжкой.

Самые старые из пастухов не умели даже читать, но когда в прошлый раз каяры привезли на собаках Сашину почту, они попросили прочесть им мамино письмо вслух. Саша читала по нескольким строчкам, и Кеулькит долго и обстоятельно переводил. А потом она перечитывала его много раз наедине, пока не заучила наизусть. Разные бывают письма. Бывают деловые послания, бывают вежливые открытки с отчетом о погоде и здоровье. Еще бывают письма-молитвы. В трудные минуты люди повторяют про себя запомнившиеся строки из таких писем, и тогда уходит тоска, и берется вдруг откуда-то силы, хоть и нет подчас ничего особенного в тех строках.

Саша помнила наизусть все приходившие на кочевье письма.

«Дорогая дочурка!

Вчера я отнесла в химчистку твоё демисезонное пальто. Может быть, сможешь еще поносить, когда вернешься, а может быть, вырастет там, на своей

Чукотке, и рукава будут короткими? В твои годы люди ведь еще растут.

На днях к нам приходили ребята из вашего класса. После первой сессии они устраивают слет выпускников этого года. Спрашивали, куда ты пошла после школы, и очень удивились, когда узнали, что учительствуешь на Чукотке... А я каждый вечер сижу у телевизора, жду сводку погоды по Союзу. Про вас все говорят, что морозы большие и пурга. Ради бога, одевайся теплее! Да, да, и не улыбайся и не маши своей лохматой головой, пожалуйста! Сшили ли тебе вторые меховые брюки, о которых ты писала? Не ленись, лиши мне почаще! И не скучай! Может быть, успею еще сегодня сдать бандероль с новыми книгами, тогда получишь все в одну почту.

Родные шлют тебе приветы, бабушка заканчивает вязать свитер в четыре нитки, будешь носить под кухляной.

Опять в прошлую ночь снилась ваша тундра...

Когда Кеулькит перевел все письмо, бригадир Рольфитно сказал ему:

— Ты много учился в школе, эйкы¹, ты умеешь писать все слова. Если в мешке, где лежат твои патроны и книги, кончился бумага, возьми из моей тетради. Пошли на Большую Землю такие слова: пусть мать нашего учителя садится в самолет, а из поселка каяры привезут ее в тундру на собаках. Мы сделаем ей большую ярангу и подарим много оленей.

И остальные тоже сказали: пусть приедет сюда твоя мать, учитель, мы сошьем ей легкую и теплую одежду из самых тонких шкур, и дадим мяса, и принесем в ярангу хворост и обманные жиром рога.

И только старый Амрелькот не сказал тогда ничего, потому что он был Великий Молчун.

...Каждое утро Саша помогала чумработнице выбивать снег из рэзма, у нее это получалось совсем ловко, и скоро в шкурах, которыми обита кибитка, не останется ни снежинки.

А потом ночное солнце двинется на восток.

Саша ворошила и ворошила оленьим рогом серый ворс, а когда села передохнуть на вынутый полуovalом высокий полоз кибитки, увидела вдруг у яранги Кеулькита в белых парадных брюках. Кеулькит прилаживал к торбасам ложки. Тевляны вынесла ему яркую ситцевую камлейку. Новая камлейка. Так одеваются, когда собираются в гости.

— В тундре сейчас нет наста, и в устье реки Широкое Горло мы уже гронуться лед.

Саша вздрогнула и обернулась за голосом.

Рольфитно неторопливо раскуривал большую модельную трубку, сделал крепкую затяжку, закашлялся надолго. Потом затыкался еще раз и, выпустив изо рта сразу, целое облако дыма, добавил:

— Кеулькит, однако, лучший лыжник в нашей тундре. Солнце не дойдет до восточных сопкок, когда он вернется.

Завтра на рассвете Кеулькит принесет под кухляной толстую пачку конвертов с пестрой каймой «авиа». Он устало опустится на замшевый валик подушки в пологе и стянет с ног мокрые торбасы, и Саша вывернет их наизнанку и подвесит повыше над огнем.

Пастухи положили возле костра остатки рогов и моржового жира. Всю ночь Саша будет ждать у огня ушедшего на северо-восток гонца, всю ночь будет поспывать возле красных углей закипаю-

¹ Эйкы — сын (чукотск.).

щий чайник, и до самого утра в глухом чукотском стойбище будет шептаться наизусть строки из старых писем русская Саша-кзи, Маленькая Саша, как прозвали в тундре свою учительницу кочевники.

«Здравствуй, Саша!

Мы просто не знаем, с чего начинать письмо! Ты такая молодчина! Теперь у нас только и разговоров, что о тебе, а ведь узнали все совершенно случайно! Собирались устраивать слет выпускников этого года, стали списки проверять, тут и обнаружилось, что никто не знает, куда ты девалась после школы. Пошли к вам домой, и твоя мама нам все рассказала. Ну что же ты сама никому не написала?! До сих пор верить не можем, что в нашем классе учился герой, самый настоящий герой!

Мы уже приготовили для тебя две ленты со студенческими песнями под гитару, вышлем, как только Юрка Шибалов кончит монтировать магнитофон на батарейках. Он собирает его по какой-то собственной схеме и называет все это будет «Александр» — в честь тебя.

Не сердись, Саша, мама прочла нам твои письма. Мы все чуть не умерли от зависти! И как ты решилась! Ведь там закала нужна зверская, выносливость, а у тебя по физкультуре тройка была...

Это очень плохо, если в школе у человека была тройка по физкультуре. Такой человек может стать обузой на кочевье. А что может быть хуже в тундре?

Когда бригада кочевала в эту долину, упряжкам надо было пройти несколько километров по реке, с двух сторон зажатой скалистыми ущельем. Когда поверх льда во всю ширину реки появилась уже талая вода. У Саши не было резиновых сапог, и Ролынтон велел ей вскарабкаться на скалы и слезовать за аргием — стадом — поверху. Скалы были крутые, но в трещинах и с небольшими, поросшими ягелем выступами — опытный тундровик ничего бы не стоило подняться здесь наверх, и Саша постеснялась сказать бригадире, что в ее родном городе на улицах нет скал и что в школе она так и не научилась лазить по канату и прыгать через околаз. Она забиралась на скалу очень долго, и все время ей мешала противная дрожь в коленках, и почему-то сильно потели ладони. А когда добралась до вершины, увидела сверху извилистое белое русло реки. Далеко впереди, совсем маленькими точками, медленно полз по снегу пунктир оленьего каравана. И еще она увидела в скале широкую расщелину, которую нельзя было обойти и через которую — Саша это сразу поняла! — у нее ни за что не хватило бы духа перепрыгнуть. Надо было спускаться обратно и догонять аргии вброд по воде. Она глянула вниз, и у нее закружилась от высоты голова. Ей вдруг стало очень страшно, и она уже не могла понять, как сумела сюда залезть. И не было никакого мужества. Хотелось просто сесть на каменный уступ и заплакать от обиды, страха и собственного бессилия.

Разве такое напишешь маме? Зря она читала ребятам письма. Человек сам о себе знает очень мало. Рассказки кто-нибудь Саше на материки про спуск со скалы, она бы просто рассмеялась — разве ей по силам такое? А в жизни вот спустилась. Только потому, что нельзя же было оставаться на скале до вечера, пока хвоятся в стойбище, и совсем не так это просто — погнубить ни за грош.

Какому мужеству тут завидовать? Просто страх и немощно самолюбия. Так она им и написала.

Саша сняла кружку с ополсывающего кухлянку ремня и налила себе крепкого чая. Горький чай. От него на языке и на небе образуется неприятный налет, и Саше уже кажется, что так это и останется навсегда, на всю жизнь. Прошлой ночью она не выдержала, задремала на несколько минут, и ей приснился сахар. Большой магазин самообслуживания, в котором все полки были уставлены аккуратными пакетиками с сахаром и будто бы можно было брать сколько хочешь. Кто-то легонько потянул Сашу за плечи, и сахар исчез.

А может быть, они правильно считают? Может быть, она действительно герой Чукотки? Ну, хоть немножко первооткрыватель? Глупости. Манья величия, говорят, психическое заболевание. Не мудрено заболеть, когда волков встречаешь чаще, чем людей. Как раз вообразись, что ты и есть пуп земли. Нашлась первооткрывательница в колхозной бригаде! Учитель красной яранги. И только. Таких в каждом колхозе...

Саша допила последний глоток черного чая, тихонько вздохнула и поворожила рогом угли. Красное пламя испуганно метнулось, словно спросонок, и на закопченной меховой стене запылали светлые блки.

Еще, может быть, напишут те чудачки. Прошлый раз Саша ответила им в первую очередь и успела отправить письмо в поселок с теми же каюрами, что привезли почту в тундру.

«Саша, здравствуйте!

Письмо это вас обязательно удивит. Еще бы, совсем незнакомый человек пишет. Но нас двое, я пишу не только от своего имени, а и от имени своей подруги.

Дело в том, что Светлана Григорьевна (она была у вас в десятом классном руководителем, а теперь у нас в десятом преподает физику), так вот Светлана Григорьевна недавно целый урок рассказывала нам про вас.

Саша, мы тоже хотим приехать на Чукотку. Не думайте, что это просто сумасшедшие девчонки! Мы уже все решили окончательно, и никто нас не сможет отговорить. Светлана Григорьевна все-все рассказала, мы знаем, как там трудно, и, честно говоря, даже трусим немножко. Но храбрый ведь не тот, кто не боится, а тот, кто умеет побороть страх! Напишите нам поскорее, как надо готовиться, что надо брать с собой. Мы уже начали кое-что приобретать, и книги теперь тоже читаем только о Чукотке. Напишите, как до вас добираться и как сделать, чтобы горком космола послал нас на Север! Мы были в горкоме два раза, но нам сказали, что космопольские путевки будут только в сентябре и только в Ташкент, а мы хотим к вам, на Чукотку!

Держитесь, Саша! Скоро мы будем вместе!

С нетерпением ждем ответа! Доверяем вам свои мечты, порывы и свои семнадцатые! Очень надеемся, что вы сумеете нам помочь...»

А чем Саша может помочь? И ее ведь на Чукотку никто не звал, а приехала — не встречали. Книжки, конечно, тоже перед тем читала, но в книгах все оказалось гораздо романтичнее, чем в жизни.

Еще в девятом классе Саша решила, что будет поступать в университет, и поэтому весной собралась с духом и вместе с десятиклассниками отправилась на «день открытых дверей». Декан рассказывал гостям, что для поступления на отделение журналистики абитуриенту необходимо иметь уже печатные работы. Саша печаталась только в школьной стенгазете. Переступить порог редакции школьной



газеты или журнала ей казалось нахальством. Ну, с чем она туда явится? Со списками неуспевающих 9 «б»? Она ведь ничего еще в жизни не видела! И вот тогда-то Саша и решила, что после окончания школы поедет куда-нибудь далеко-далеко, соберет такой материал, что бывалые журналисты только ахнут, и блестяще поступит в университет.

На билет она копила целый год, но до Владивостока хватило только в бесплаткартном вагоне. Дома сказала, что всем классом идут в поход по Кавказу, соврала матери первый раз в жизни. А во Владивостоке пошла в крайком, попросила помочь. Деловитый второй секретарь недоверчиво переспросил: «Из самой Риги в бесплаткартном?» — и потер ладонью лоб. И сразу всю свою деловитость растерял. Помог. И пропуск на Чукотку выхлопотал и командировку по краю от молодежной газеты устроил.

Из-за шторма вместо семи дней пароход шел целых десять, и чем дальше на север, тем длиннее становился день. Наконец, как-то часа в два ночи в каюту вошла горничная, отдернула на иллюминаторы затемняющую штору и весело объявила: «Чукотка! Приехали!» Пассажиры стали собираться шумно и суетливо. Саша накинула на плечи лямки рюкзака и поворотно поднялась на палубу. Пароход все еще покачивался на волнах, и когда левый борт поднимался, видно было только очень синее небо и белое солнце, а когда опускался — видна была Чукотка: голые сопки с редкими проплешинами снега по склонам и одинокая, отваливающая от берега баржа. Анадыр лежал за сопками.

Кто ее недоумил идти в район проситься в учителя красной яранги? Саша уже и не помнит теперь толком. Много чего в гостинице тогда насветовали. Почему-то она все же выбрала красную ярангу.

Инспектор отдела кадров аккуратно заполнил титульный лист трудовой книжки, написал в графе «социальное положение» слово «служащая», а на первой страничке номер приказа и занимаемую должность. Так Саша стала конечным учителем.

В тот же вечер в шумном номере гостиницы с синими железными кроватями и жестяным бачком кипятка на табуретке она написала маме письмо и мужественно стала ждать телеграмму-молнию с требованием немедленно возвращаться домой.

Но вместо телеграммы через две недели пришла пятикилограммовая посылка с чесноком, сушеными плодами шиповника и гомеопатическими рецептами отваров от чинги. В письме мама умоляла об одном: чтобы Саша писала ей всю правду о жизни и работе, ничего не скрывала.

...Сколько времени могло быть сейчас? Саша приподняла рукав кукушки — фосфоресцирующие стрелки мужских наручных часов показывали половину пятого. Если Рольфтинго все правильно рассчитал и ничего не случилось в пути, Кеулькут с минуты на минуту может показаться на краю долины.

Саша поднялась с корточек, несколько раз пружинисто присела, размяла затекшие ноги и тихонько вышла из яранги.

Резко очерченный оранжевый сегмент восходящего солнца уже покоился на вершинах восточных сопкок, но сами горы лежали еще в синих ночных тенях. Мороз покалывал лицо, и снег под торбасами скрипел неожиданно громко и хрустко.

Кеулькута в долине не было.

Смутное беспокойство охватило вдруг Сашу и цепко вонзилось в мозг навязчивой мыслью: что-то недоброе настало пастуху в тундре. Но что? Да

все что угодно! И волки могли напасть, и бурые медведи встают сейчас с зимовки и бродят по тундре голодные. И лед в устье Широкого Горла мог тронуться. Говорил же вчера Рольфтинго. Но Саша ведь не просила Кеулькута, он сам пошел! А разве еще поздно было окликнуть, когда пошел? Могла она уговорить его нигуда не ходить. Ведь только из-за ее писем...

Саша дошла до кибитки, приставила козырьком к глазам ладонь. Опять вернулась к яранге, и опять к кибитке.

К тому времени, когда красный шар над сопками поднялся до половины, Саша успела перебраться в уме все случайности, какие только могут подстергивать одинокого путника в весенней тундре. И тогда запавшая в сознание искра вспыхнула вдруг безжалостным огнем страха. Неужели?! Ждать, так безвольно и обреченно ждать дольше было невыносимо. Она вбежала в ярангу и бросилась к вещевою мешку Рольфтинго. Никогда, ни за что в жизни не решилась бы она на такое при других обстоятельствах. В пологе все еще спали. Саша на ощупь нашла в мешке большой морской бинокль и, стараясь не шуметь, выскользнула на улицу. Навела бинокль на восток, отрегулировала по глазам и вдруг увидела маленькую движущуюся фигуру — усталым, но размашистым шагом Кеулькут шел на лыжах к стойбищу.

Живой.

Саша опустила вдруг сразу ослабевшие руки с тяжелым биноклем, но тут же резко опять подняла его к глазам. И по тому, как размеренно и спокойно шел Кеулькут, как равнодушно приближался к ней, как яранге, каким-то десятым чувством она поняла, что писем нет.

Кеулькут все шел и шел к ней, и чем ближе он подходил, тем отчетливее видела Саша в линзах бинокля усталое лицо скуластого погонщика оленей и тем острее ощущала — всю ночь он шел зря. Она бросила бинокль в снег у яранги и медленно пошла пастуху навстречу. Когда они порвались, Саша, крепясь из последних сил, с улыбкой сказала:

— Это ничего. Дай мне аркан, я принесу в нем хворост для костра.

Кеулькут сбросил с плеча карабин и протянул ей вместе с арканом оружие:

— Ночью в долине Китового Уса я видел свежие волчьи следы. В случае чего, стреляй в воздух. Мы в стойбище услышим.— И тихо добавил: — Это был самолет геологоразведки. Он сбрасывал в тундре бочки с продуктами для летней экспедиции. Одну бочку возле самой яранги пятой бригады оставил.

Она шла одна по бесконечной синей лыжне на восток, но кустарник в этих местах рос только западнее яранги, и хвороста на ее пути быть не могло.

Нельзя плакать из-за самолета, который совсем низко пролетел над стойбищем... Но сейчас ее никто не видел.

Когда два часа спустя она вернулась в ярангу, Амрелькот разорвал бумагу на пачке с рафинадом, которым поделились с Кеулькутом из остатков своих припасов пастухи пятой бригады, бросил в Сашину кружку сразу шесть кусков и спокойно сказал:

— Сахара у нас теперь много. Каждый может положить себе сколько хочет.

И это было так, если сам Великий Молчун Амрелькот сказал.

г. Рига.

Кайсын Кулиев



Перевел с
балкарского
Н. ГРЕБНЕВ



Я себя почитаю счастливым,
Ибо жил я, на землю придя,
Гладил головы ланей пугливых,
Слышал шум ручейков говорливых,
Шелот снега и песню дождя.
Голос матери милой я слышал,
Голос, слаще которого нет,
И в Чегеме, под отчею крышей
М закат я встречал и рассвет.
Я красавиц любил большеюки,
Забирался в расщелины скал,
Ел плоды, исходявшие соком,
Лазил в горы и в море нырлял.
Понимал я, что черно, что бело,
Был всегда не велик и не мал,
Жизнь дарила мне то, что хотела,
Но ведь большего я и не ждал.
Не считал я: «Мой век безотраден».
Так, наверное, в жизни ни дня
Ни отец мой не думал, ни прадед,
Хоть и жили труднее меня.
Выйдут звезды, иль выглянет солнце,
Или гром громыхнет далеко,
Или кто-то в ответ улыбнется,
Вот и снова на сердце легко.
Не считал я, что жил несчастливо,
Ну, а если сейчас, как на грех,
Жизнь летит чересчур торопливо,
То она тороплива для всех.
Может быть, не дождался я чуда,
Но я что-то свершил и сказал,
И себя в этой жизни покуда
Неудачником я не считал.



Снег за окнами кружится.
Еду я, и поезд мчится
В направленьи гор, вперед,
И за много лет впервые,
Мнится мне, что все пройдет.
Нет тревог, и нет забот,
Словно в дни мои былые.
Поезд мчится в пустоту,
Он летит напропалу,
Снег не тает на лету,

Снег и мне мою былую
Возвращает чистоту.
Кажется, я глуп и мал,
Как в года былые, снова
Я ни разу не сказал
Слова ложного или злого.
Так устроен человек,
Кажется, как белый снег,
Все на свете тоже бело,
И не совершил вовек
Я несправедливого дела.
Словно в прошлые года,
Поезд мчится в никуда,
И мечты мои не зыбки,
Кажется, что никогда
Я не совершал ошибки,
Ложной не скрывал улыбки
И не испытал стыда.
То, быть может, повторится,
Что прошло давным-давно,
И всему, что мне приснится,
Будет сбыться суждено.
Поезд мчится, снег пожится,
Все кругом обелено.



Поэты восхваляли соловьев
За их любовь и жажду песнопенья
И воспевали мужество орлов,
Отвагу их и вольное паренье.
И мне милы орел и соловей,
И я ценитель песни и свободы.
Но, может статься, мне еще милей
Теперь, в мои немолодые годы,
Незнаменитый, малый воробей
За то, что он при слабости своей
Все перенес: морозы и невгоды.

Женщинам, которые любили меня

Женщины, я повторяю снова,
Я считаю, мне всегда везло:
Доброе от вас я слышал слово
В дни, когда бывало тяжело.
Может, вашей доброте и силе
Я обязан тем, что не зачах,
И в моих залущенных садах
Все же деревья плодоносили.
И в сознание, что вы были где-то
Даже в дни потерь и в дни разлук,
В дни, когда не видел я просвета,
Все-таки не опускал я рук.
Этот мир мне не казался серым,
Не казалась эта жизнь пуста,
Потому что мне была примером
Ваша мудрость, ваша чистота.
Вам, которые меня любили,
Кланяюсь за то, что вы подчас
Слишком высоко меня ценили,
Думая, что я достоин вас.
И хоть я героем был едва ли,
Все ж вы мне оказывали честь
И от прочих смертных отличали,
Чем меня порою заставляли
Быть намного лучше, чем я есть.



Я уподоблял тебя луне,
 Со звездою сравнивал бывало,
 Ну, а ты обед варила мне,
 Шла на рынок, огород копала.
 Ты, не разгибавшая спины,
 Моя пол или белье стирая,
 В час ночной не видела луны
 Той, с которой сравнивал тебя я.
 И теперь, уже немолодой,
 Знающий, сколь все сравненья зыбки,
 Все ж сравню, не побоясь ошибки,
 Я тебя с луной и со звездой.
 Ибо больше чем за двадцать лет,
 Тех, что ты была моей женою,
 Ты на жизнь мою бросала свет,
 На листы, исписанные мною.
 Женщина, что хлебы мне пекла,
 Суп варила и белье стирала,
 Ты моею с самого начала
 И луною и звездой была.



Юноши, не бойтесь трудных книг,
 Вы не отстраняйте их с тревогой.
 К истине идут крутой дорогой,
 Потому не бойтесь трудных книг.

Никогда не бойтесь горьких книг,
 Книг неравнодушных и негладких,
 Горькие слова правдивей сладких,
 Потому не бойтесь горьких книг.



Камень здесь над всем и всеми,
 Камень сер и камень бел.
 Здесь, среди камней, чегемец
 Пас овец и песни пел.

Видел он в садах и в поле
 Столько камня с малых лет,
 Что ему казалось: боле
 Ничего на свете нет.

Меж камней варил он пищу,
 На камнях рубил дрова,
 Было каменным жилище,
 Мельницы и жернова.

Каменным терпенье было
 У людей моей земли.
 Словно камень, до могилы
 Боль они свою несли.

Здесь, в родных горах, веками
 Каменщик и овцелас
 Жил средь камня и на камень
 Падал в свой последний час.

Здесь белели и серели
 Камни гор, домов, могил...
 Будто бы окаменели
 Все, кто здесь когда-то жил,

Будто стало здесь камнями
 Все, что было искони:
 Наши песни, наши дни,
 Слезы, пролитые нами.

Валентин Устинов



Путина

Внезапный ветер свистнул в тальниках,
 вломился в борт — черпнула пену лодка.
 Сеть рыбой жестко выгнулась в руках,
 рванула пальцы, вывернулась ловко
 и в глубь реки ушла наискосок.
 И тотчас все: земля, тальник, песок —
 качнулось вдале, пропало в серой пене.
 И нам открылся страшный тучеход...
 Мы даже потерялись на мгновенье:
 таким был небывалым переход
 от рыбы, унизавшей густо сети,
 к реке, где волны, пустота и ветер,
 где вопли чаек мчались на восход.
 — Проспали бурю, черт ее дерни! —
 Анашкин охал, цикал красной жижей,
 совал мне весла:
 — Что ты спишь? Греби же! —
 И Ружникова классно материл.
 Тот, щерясь, над кормой дугою гнулс.
 И видел я из-за его плеча,
 как брал он шнур, как дергал,
 чтоб проснулся
 мотор «Москва». Спешил. Мотор молчал.
 А за кормой давно вода пылила.
 Земля в дождях пропала без следа.
 От всей земли одни ошметки ила
 десятки верст крутила и месила
 весенняя беспутная вода.
 Вздвинулся ветер — от натуги черен.
 Рвал куртки с плеч, дождинками стегал.
 И мать-река — кормилица Печора! —
 наотмашь лодку била по щекам.
 Вода на борт падалась гибкой глыбой.
 Шла через борт. Стучали черепки.
 Но все же мы не выплеснули рыбу,
 добытую сегодня из реки.
 Мы помнили: там, за кормой, за далью,
 в необозримом, тязком далеке,
 скуластое большое Заполярье
 причалами придвинулось к реке.
 Там коротали серый день в конторе
 рыбачки. Там в сердца стучало море.
 И поминутно кто-то шел туда,
 где с хриплым ровом, как быки на боине,
 толкались в боны взмыленные волны,
 где все росла весенняя вода.
 Шла тетка Тоня. Грузная, как сенер,—

не раз грозилась бросить Крайний Север:
пусть лес корит — да лишь бы с мужем
жить.

Шла сухонькая Ружникова Груша,
Едва зимой не потеряла мужа:
на промысле уплыл припайный лед.
И восемь суток — море, снег и небо.
И восемь суток вместо хлеба — нерпа.
Пока не снял с той льдины вертолет.
А нас ломало. Киль таранил тину.
Лоскут земли дымился под дождем.
Но нет — не вся весенняя путина!
Нас вынесло на остров. Подождем!
И поживем! По пояс — через омут,
спасая лодку, рыбу, невода.
Плохая суша все же ближе к дому,
чем самая хорошая вода.
Живи, душа!.. Но сдвинулись минуты.
Одежда к телу липла неудобно.
Вовсю темнело. Снег влетался в дождь.
Промозглый холод штормом сыпал с веста.
Свистела галька, сорванная с места.
Свистела в жилах взрывчатая дрожь.
Потом все потонуло в красной пене.
По жилам несся ледяной поток.
Потом пришло как будто отупенье.
Как будто потепление. А потом...
— Не спать! — из черноты, из плеска, воя,
когда руками век не разодрать,
пробилось в подсознание волевое,
отчаянное, хриплое: — Не спать!..
— Снимай одежду! — Почему — одежду!
Ведь не земля — ледник! песчаный смерч!
Одежда нам — последняя надежда...
— Снимай! В такую ночь одежда —
смерть!..

И — холодом просвистанный, отпетый —
Анашкин рвал крючки, завязки, петли,
сдирая с тела куртку, сапоги.
— Эх, жизнь — штормяга!

То потоп, то вьюга!

Одно спасенье: греться друг от друга.
Живи, рыбак, куда не погиб...
Босой, моластый, дымчатый, как бог,—
си подняя сеть, под борт подпочке бросил,
обмял ступнею галечную россыпь
и сел на сеть, спиной вжимаясь в борт.
Рвалась одежда и спалапалась комом.
Я, привыкая, постоял над ней.
И, помню, удивился, что — нагому —
не стало мне ни капли холодной.
Я сел — спиной к его груди,— лопатки
вжимая в грудь. И молча занемел,
остыло наблюдаю, как лампадкой
качался синий Ружников во тьме.
Потом мы кляли куртки и рубахи
на головы и вдоль боков — шатром...
Как будто стихло... Куртки рубой пахли...
И вдруг — в глуби озноба, подо льдом —
забрезжило... Сперва совсем несмело.
Затем, ломая ледяной оплот,
вдруг потекло ручьем из тела в тело
живое, настоящее тепло!
Ночная дрема замыкает веки...
Как мне понять характер человека,
терпечие и мужество его!
Как оценить — не праздники, а будни!
Морозы — в тундре! В Баренцовом — бури!
И дружества святое торжество!
Осмили все — болезни, войны, вьюги,
чтобы понять однажды в смертной мгле:
одно спасенье — греться друг от друга.
Одно спасенье людям на земле.

Минует ночь. Притихнет чертов ветер.
Мы сложим в лодку и сгив и сети.
Мотор раскрутит за кормой пургу.
Придет земля. Насупятся мужчины,
сбрав над переносицей морщины,
высматривая жен на берегу.
И вот уже протяжно свистнут чалки.
Взвоят с криком и осядут чайки.
Причал прогнется, как рыбацкий нож.
Пройдут мужчины, придыхая часто.
Увидят жен: — Ну, мать, согрела чай-то!
Пойдем — корми... Чего-то в теле дрожь...

Октем

Эминов



Перевел
с туркменского
Ю. ГОРДИЕНКО



Пусть изготовят дутары для доброй игры
Из одного матерьяла... Имеющий ухо
Сразу поймет: прикасается к струнам Чары
Или Сохи, в мастерстве состязаясь по кругу.

Трассу отцы уступают нам — жизнь такова!
Сменит и нас, молодых, поколение другое;
Мельница жизни вращает свои жернова,
Горем сменяется радость, и радостью — горе.

Знает поживший, что жизнь не напрасно дана.
Данного дара тебе не растрать дорогого,
Пусть прозвучит и твоя в этой жизни струна
Словом бахши¹, где одно не заменит другого.



На дорогу исканий нас вывели наши отцы,
Школа знания дала, снарядила
для жизненных сшибок.
Но отары не сыщешь в песках
без паршивой овцы.
Гор — без волчьего логова,
жизни людской — без ошибок.



Как сближаемся мы! Не измерить в шагах,
не расцель
Расстояние между знакомством
и подлинной дружбой.
Дружбу надо беречь и хранить,
как фамильную честь,
Дружба — это богатство, и крепость твоя,
и оружие

¹ Бахши — исполнитель народных песен, певец.



Софья
ШАПОШНИКОВА

РЕМОНТ

РАССКАЗ



ПРОЗА

Рисунки
Марины ПИНКИСЕВИЧ

Ремонт откладывали много лет. Кухню подбеливали, а комнаты все больше старелись, морщинились потолки, у дверных рам и плинтусов отставала и осыпалась штукатурка. Мать страшилась ремонта: привычная, размеренная, как часы, жизнь вдруг останавливается, чужие руки разбирают механизм, и трудно поверить, что все эти винтики, колесики, пружинки еще вернутся к тебе в собранном виде. Борис тоже привык к послушанию вещей, когда протянешь руку — и галстук ляжет в нее именно тот, который в данный момент нужен, и карандаш спешит к пальцам, и рукопись, и книга, и чистый лист бумаги. Во время ремонта вещи играют с тобой в прятки, в «холодно-горячо», а ты уже вышел из детского возраста, всякое нарушение нормального ритма воспринимаешь болезненно, мечешься, издерганный и злой, теряешь себя в хаосе, имя которому — ремонт.

Пугали не только неразбериха и грязь. Тяготила зависимость от чужих людей: являясь в дом, застают сдвинуть и упаковать вещи, потребуют задаток и, едва начав работу, исчезнут, чтобы еще где-то «застолбить» место. Бегай за ними, заискивай, водку ставь, а пока живи, как на вокзале.

Если бы не свадьба на третьем этаже, они, наверное, так и не решились бы на ремонт. Но над ними лихо отплясывали два дня и две ночи, с потолка посыпалась застарелая пудра, начали отваливаться куски грима, и обнажилось такое дряхлое лицо квартиры, что стало ясно: ремонта не избежать. Школьный товарищ Бориса, строитель, обещал прислать толкового мастера — сделает быстро и на совесть. Прервав работу над статьей, которую спешно нужно было закончить, Борис занялся поисками путевки для матери: ее бронхиальная астма и ремонт были несовместимы. Наконец, мать уехала. Борис напомнил другу о своей просьбе, и тот обещал утром прислать мастера. Всю ночь Борис готовился к ремонту. Отодвигая и упаковывая вещи, обнаружил столько неведомо как скопившегося хлама — и в кладовой, и в ящиках письменного стола, и в шкафах, — что принялся перебирать его, отбрасывая на пол ненужное. Провозился ночь, а утром с удивлением заметил, что здорово очистился от старья.

Мастер не явился ни в этот день, ни на следующий. Борис боялся отлучиться, чтобы не пропустить его. Раздраженный, слонялся по квартире, заходил на кухню, зло поглядывал на бутылку водки, предназначенную для мастера, и ничем путным не мог заняться.

В субботу утром раздался звонок. Борис обрадовался — наконец-то!.. Открыл дверь и изумленно вскинул брови: перед ним стояла Марина.

Он молча отступил на шаг, давая ей дорогу, и она прошла, коснувшись его в тесно заставленном вещами узком коридорчике, повеяла на него сладким запахом розы. Он вслед за ней вошел в комнату, еще не зная, как себя вести, но уже, как это было пять лет назад, замороженной ее властной, тревожащей красотой. Высокая, черноглазая, с персиково-бархатистой кожей, в белом, ручной вязки платье и белых лакированных на стройных ногах, она стояла у обшарпанной стены, почти касаясь высокой прической железного крюка. Пряно-терпкие глаза ее смеялись, вздрагивали ямочки на щеках.

— Марина... боже мой!.. — бормотал он, озираясь и не зная, куда ее посадить. Смущенный, заговорил о разлуке, о том, что у него ремонт и он ждет мастера. Было досадно, что Марина застала его жилье в таком неприглядно обнаженном виде, он и сам

сейчас недоумевал, как мог столько лет прожить в этой грязной, ободранной комнате. Марина же, как назло, задрала голову вверх, пристально изучала изрытые трещинами потолок.

— Если квартиру не любят, она быстро старится. Как женщина.

Это были первые ее слова. Голос ее, по-южному напевный, неуволимо ироничный, стал за эти годы еще глубже, гуще, но мягкость свою утратил, в нем появился металл.



Он увидел ее в день приезда в Арионешты. Стоял на вершине холма, смотрел в долину, на речку, где чернокозая девушка стирала белье и пела. Слов не было слышно, только глубокий, грудной голос. Этот голос и повел его к ней. Начал спускаться, не ожидая, что тропинка окажется настолько крутой — вот-вот сорвется. Пригибаясь, цепляясь руками за кустарник, чертыхался потихоньку, но спустился благополучно, когда девушка уже кончала стирать. Прежде чем ступить на мягкий песочек, скрипнул ботинком по осколку ракушечника — по всей долине разбросаны скалы. Девушка обернулась, и Борис растерялся. Смотрел на нее, точно рисованную, любовно выписанную дотошным миниатюристом прямо здесь, на природе, так, будто она была частью этой долины, и речки, и склонов, щедро поросших разнотравьем: круто изогнутые дуги бровей, крутой, как лук, изгиб верхней губы, крутой, выпуклый лоб и подбородок.

Он назвал свое имя, и она смело протянула крепкую загорелую руку: «Марина... Вы отдыхать к нам?» Он кивнул нечаянно, не предполагая, что повлечет за собой этот необдуманный кивок. «И вы еще не были у Днестра? Она обещала сводить его туда, пусть только обождет немного. Поставила тяжелый таз на плечо и, пряменькая, точеная, пошла по крутой тропинке вверх.

Он ждал ее в долине у речки. От нечего делать откопывал от куска камня крупные ракушки — местные ребятишки, купаясь, трут ими пятки. Думал, что мать все-таки правильный человек: если бы не ее непреклонность, ходил бы он сейчас по пыльному асфальту с новеньким своим дипломом, искал хоть какую-нибудь работу — языковедов в городе невпроворот, никому он там не нужен.

Место его назначения оказалось далеком — около пяти часов езды автобусом до Сорок да оттуда еще больше часа. Всю дорогу сидел, уткнувшись в книгу, в окно не смотрел, пейзажи его тогда принципиально не интересовали.

В первые же часы Арионешты переменяли его настроение. Может быть, потому, что село, расположенное на высоком крутом холме, оказалось на редкость живописным; может быть, из-за Валя Брадулуй, речушки, сбегавшей в Днестр, и питающих ее ледяных родничков, а скорее всего из-за этой смуглянки, стиравшей в речке белье.

Она вернулась к нему, разгоряченная бегом. Успела причешется и переменить платье, это он сразу отметил. Принесла из дома теплые плачтинцы¹. С удовольствием смотрела, как он ест.

День был жаркий, а в лесу прохладно. Старые дубы возвышались над ними, лес почти сплошь дубовый. Редкие клены терялись среди дубов, да на опушках густо разросся орешник. На крутизну взбирались на удивление прямые деревья, напоми-



ная Марину, поднимающуюся по высокой тропке с бельем. Марина сказала, что весной на этом склоне полным-полно подснежников. Сейчас она поминутно нагибалась, срывая колокольчики, голубые — в тени, ярко-синие — на солнце. «На Первомой — фиолетовые. Вы видели фиолетовые колокольчики?»

Лес кончился у Днестра. Она вышла на поляну, к Изворашул Верде, роднику, выложенному зеленым камнем. «Во всем мире нет такой вкусной воды!» Марина склонилась и, придерживая косы рукой, начала пить. Борис стоял по другую сторону родника, не мог отвести взгляда от приоткрытых ее губ, особенно верхней, в центре приподнятой розовым треугольником. Она блеснула на него искоса озорным черным глазом, словно приглашая: что же ты стоишь гостем гостем, отведай!.. Вода оказалась ледяной и действительно необыкновенно вкусной. Он перехватывал родниковую струйку чуть пониже Марины, розовый припухший треугольник ее рта и влажно блестящие ровные зубы были у самых его глаз. Как-то нечаянно поцеловал ее сквозь струю. Она не отстранилась, и он поцеловал ее снова. Вода потекла по подбородку, проникла за ворот рубашки, оросила грудь. И у Марины платье намочило. Послышался смех — они были здесь не одни. К роднику приходили не только арионешты, но и молодежь из соседнего украинского села Унгры. Отдыхали на густой траве вокруг родника, на большой площадке, обсаженной громадными старыми дубами. Стояли здесь и палатки туристов. Марина убежала к дальнему дубу, бросилась на траву лицом вниз. Борис сел подле нее, а потом прилеп рядом. Отвел пальцем черный жесткий завиток, коснулся губами пылающей мошки ее уха. Она повернулась, взглянула на мокрую его рубашку, на свое платье, сказала: «Каждый

¹ Плачтинта — лепешка с начинкой (молд.).

поймать. «Пока вернемся, сто раз просохнет», — успокоил он. «А пускай но просыхает!» — Марина села, круглый ее подбородок с ямочкой посредине задрала вверх. — Пускай никогда не просохнет. Как Изворашу Верде. — Приблизив к нему лицо, таинственно заглянула в глаза. — Он вечный, знаете? Сколько земля стоит и стоять будет? И снова опрокинулась на траву, запылавшее лицо локтем укрыла.

Арионешты ему пришлось покинуть: рослая Марина оказалась девятиклассницей, и, останься он здесь, ему пришлось бы преподавать ей литературу. Он перебрался жить в Унгры, но от встреч с Мариной отказываться не смог. Скоро они уже ни для кого не были тайной. Два села — один колхоз. Каждое восхитительное колхозная музыка играла у Изворашу Верде, и молодежь обоих сел собиралась здесь. И клуб был общий, в Арионештах, и самостоятельность общая. Украинские девушки дружили с арионешскими парнями, вместе в лесу собирали землянику; на вершине Арионешского холма, на большой поляне, устраивали праздничные демонстрации. Колхоз богатый — в Арионештах сады от плодов ломались, свекла, кукуруза, подсолнечник; в Унграх — овощи, огороды у Днестра. Молдавская речь смешивалась с украинской. Смешивались украинская и молдавская кровь. Свадьбы на весь район гремели.

Поработал здесь Борис один год, укоры со всех сторон из-за Марины носил безразлично. Уволился «по семейным обстоятельствам» — мать тогда действительно болела. Насилу, но отпустили.

Перед отъездом Марина посреди бела дня впервые привела его в свой дом. Дом был сложен из крупных меловых кирпичей (в лесу меловые скалы). Мел при нем уже не добывали — мягкий весь выпилили, остался серый, каменистый. В Маринином детстве дом стоял бетый. Со временем посерел, его оштукатурили. Марина по штукатурке узоры вылепила; над верхними углами окна — виноградные листья, под окном — цветы. Красила сама. Фон серый, в балло рама, и лепка белая, а над фундаментом черная полоса. Борис не знал, что она художница.

Мать Марины, совсем еще молодая, чернобровая, черноглазая, встретила его сурово. Марина стол накрыла, вина принесла. Мать сидела, сложив на груди смуглые руки, поджав губы, пронзительно смотрела на гостя. Она чего-то ждала от него, а он не мог выдать ни слова, не притрагивался к еде, ругал себя за то, что согласился прийти, и сердился на Марину. Ей все было ничем. Свистела радостью, не замечала, казалась, ни ледяного молчания матери, ни его смущения, щебетала без умолку. Хвалила свой дом: просторно, зимой тепло, летом прохладно, толщина стен не меньше полуметра. Их не пробьешь, не перестроишь, мел плотный, трудно рожется. Вечный дом. Борис астал из-за стола, принялся рассматривать развешанные по стенам рисунки и акварели. «Неужели твои?» «Хорошо, правда!» — спросила она радостно.

Когда вышли во двор, Марина сказала: «Приедешь через год, мама добрее будет. Кончу школу... Вот здесь, — она обвела рукой площадку перед домом, — столы поставим. Не в два ряда — в три! Оба села позовем. Мы с тобой вот тут сидеть будем.» Она ткнула указательным пальцем себе под ноги. — Музыку из Радио-Маре возьмем. Там большой оркестр. Да нет, — она тряхнула головой. — зачем из Радио-Маре? Из Могилева-Подольска. А еще лучше из самого Кишинева!»

У ее дома росли розы. Колючие, непроходимые заросли. Неистребимые, сказала Марина. Хоть руби кусты, хоть выкапывай — все лезут из земли молодые побеги, кустятся, колются и цветут. Угасая Бориса розовым вареньем, рассказала, что готовила

его сама: обрызгала лепестки на рассвете, в ту самую минуту, когда первый луч росы летит; опоздать нельзя, не то варенье получится. Она рассказывала, и ему виделись смуглые руки, перетирающие розовые лепестки с сахаром. В лесу, прощаясь с нею, зарылся лицом в прохладные ее ладони, как в груды розовых лепестков. Они и пахли розами.



Марина прошла по комнате, умудряясь не задевать вещей. Бесцеремонно заглянула в спальню, оттуда на кухню. Странно она вела себя...

— Зо-олушка... Совсем золушка, — протянула, вернувшись в комнату. — Потолки не менее четырех раз белить придется. — Посмотрела в недоумившее лицо Бориса и рассмеялась. — Так я от Клименко. Ты маляра ждешь? Жде-эш, водочку приготовил. — Она опять засмеялась. — Я и есть тот маляр. Давай уговариваться о цене, хозяин. — Глаза ее блеснули. — Только я дорогой мастер!

Он слишком долго молчал, и Марина осведомилась, какой ремонт он собирается делать. Лицо ее неуловимо переменилось, тон стал по-деловому суховатым.

— Ничего не понимаю, — беспомощно проговорил Борис.

— Меня пригласил Клименко, — повторила Марина, и в голосе ее уже совсем явственно зазвенел металл. — Заказчиков много, время дорогое. Если вы собираетесь ремонтировать, тогда давайте по делу.

Он хотел подойти к ней, взять за руки, сказать: «Опомнись!» Но не сделал этого. Решил: «Там видно будет», — а пока принял Маринин тон и заговорил о ремонте. Он не имел ни малейшего представления о том, что требуется сделать. Квартиру нужно каким-то образом обновить, больше того — возродить, но как?..

— Разделайте швы — это вам ни о чем не говорит. Сухая перетирка — тоже. Может, вы обои хотите? Или накати — трафаретик, а? Голубые цветочки с сербром. Или розовые с золотом?

Марина потешалась над ним. Он хотел сказать, что, в сущности, не виноват перед ней и, если не отвечал на письма, так только для того, чтобы она, девочка, скорей его забыла. Потом встретил учителя из арионешской школы и узнал, что она вышла замуж. Она вышла замуж, а он до сих пор не женился. Какие же могут быть обиды? Но вместо всего этого сказал, что надо сделать тон или фон, как это у них, маляров, называется; краску непременно водозумлюсионную, чтобы стены можно было мыть, причем цвет составит он сам.

Марина усмехнулась.

— Колер — сам?... Без меня? Ну-ну... — Неожиданно четко и ровно выговорила: — Двести рублей. Со столойкой.

Бориса предупреждали, что с малярами нужно торговаться, но не торговаться же ему с Мариной! Однако как это она не постеснялась назвать такую цену?.. Борис отвел глаза — за нее стало неловко. Двести так двести...

— Сто восемьдесят, — весело сказала Марина. — Двадцатку пропьем.

Глядя мимо ее лица, Борис заговорил о том, что ремонт нужно сделать быстро. Торопясь и комкая фразы, рассказывал, что защитил кандидатскую, но не доцент, потому что нет публикации, и нужно поскорей добыть статью.

Марина заинтересовалась, что за статья, увидела на подоконнике рукопись, подошла, хотела взять листок в руки, но Борис предупредил, что она не пой-

мет. Марина удивилась: по литературе — и не поймет? И, кажется, обиделась.

— По русскому языку, — сказал он.

— У меня по русскому в аттестате пятерка. — Взяла листок в руки, прочла вслух: «Степень эксплицитности выражения сравнительного отношения пропорциональна степени развернутости синтаксической конструкции и зависит от того, какое количество членов логической формулы сравнения получает словесную реализацию». Положила листок на место, посмотрела на Бориса как-то странно и пошла к двери.

Он бросился за ней.

— Куда же ты? Мы ведь еще ни о чем не поговорили!

— Договорились уже, — резковато ответила она и задрала вверх подбородок.

Она поняла, что он имел в виду, но не пожелала вернуться к прежнему тону, и Борис снова подумал, что не надо ничего торопить и в друзья набиваться не надо. Там будет видно.

— Завтра в восемь, — сказала Марина. — Воскресные ваши. На неделе — вечера.



Она пришла ровно в восемь. В том же нарядном платье и лакированных. С портфелем. Сказала, что на улице в машине цемент и алебастр, попросила принести.

Борис едва дотянул тяжеленное ведро и большой бумажный куль, вошел в квартиру, запыхавшись.

Марина переодевалась в ванной. Приоткрыв дверь, сказала в щелку, что шаровары взяла, а кофту забыла и попросила какую-нибудь старую его рубашку, ну неужную, что не жалко выбросить.

Он зашуршал уже изрядно запыхавшимися газетами, приподнял их, досаду на забывчивость Марины, отогнул висевшую под газетками простыню и наконец, смог раскрыть дверцу шкафа. Осмотрел свои рубашки и остановился на летней, с короткими рукавами, в черную и красную полоску. Просунул в ванную.

Марина появилась в залпанных извезью и красками шароварах, в его рубашке, с повязанной платком головой. Принесла в спальню таз.

Сквозь стеклянную дверь Борис наблюдал, как двигается Марина, отбивает облупившуюся штукатурку, что-то зачищает и трет энергично. Делала она все быстро, сноровисто и напевала при этом. Борис сидел то ее спину в красно-черной своей рубашке, широкой в плечах, то грудь, которой рубашки этой не хватало — пуговицы растегивались. Представилось, что Марина — его жена, надела его рубашку и занята обычной уборкой. Если бы не рубашка, ему это не пришло бы в голову.

Марина подняла на него глаза, и он поспешно отошел от двери. Стало неловко — зтакий наблюдатель с чистыми ручками. Заказчик. Хозяин.

Растревоженный, ходил по комнате. Услышав быстрое и звучное царапающее шарканье, вернулся к двери: Марина обеими руками напористо терла стену наждаком. Густая белесая муть стояла в воздухе. Марина уже не пела — покашливала коротко и часто. Острый запах известковой пыли хлынул в большую комнату. Борис ушел на кухню. Сидел пристыженный: сам укрылся, а она трет его грязные стены, дышит пылью.

В половине второго позвал ее обедать. Время выbral случайно, но когда Марина посмотрела на свои часы, оставленные на холодильнике, и сказала: «Половина второго», — он сразу вспомнил Арионешты, Валья Брадулуй и скалы, которые ровно в час

тридцать рвали динамитом. Взрывы были слышны по всей деревне и дальше — до Днистра в одну сторону и шоссе Сороки — Атаки — в другую. Они были слышны за мостом и в лесу, и дети знали: рвут скалы — значит, пора бежать домой, обед.

Марина съела две ложки бульона и отодвинула тарелку.

— Ты чего? — удивился Борис.

— Мне же работать.

— Я специально варил, — сказал он обиженно.

— Профессия такая, — пояснила Марина. — Мясо я съем.

Он вспомнил Габи. «У меня диета, — сказала она на той свадьбе, где они случайно оказались за столом. — Профессия такая». Габи — балерина.

— Почему ты стала мясаром? — спросил он.

— А нравится! — с вызовом ответила Марина, отодвинула тарелку и, выходя из кухни, пробурчала: «Фараон де-амэз!»

Он вспомнил эту присказку. Когда Марина-девочка бывала чем-то недовольна, она всегда ругалась так. Смысла у этой фразы не было («фараон в обед»), Марина и сама не знала, почему говорит так. Впервые он услышал от нее «фараона», когда Марина пришла к нему на свидание, прихрамывая, с перевязанным коленом. Он спросил, что случилось. «А-а, такой мяч дали, фараон де-амэз, — сердито проговорила она, махнув рукой. — Я же вратарь». И рассказала: в их махале¹ одни мальчишки, привыкли играть с ними. В детстве — в войну. Сколько у нее самодельных пистолетов и автоматов было! Потом и покупные появились. Теперь в футбол играет. Сидит у окна, уроки делает, глянет — мальчишки уже собраллись. И бежать. Мать не пускает. «Да кто же в воротах стоять будет?»

Борис только тогда до конца понял, что Марина его — совсем дитя. И не поцеловал ее. Она надулась и, когда он сказал, что она еще маленькая, бросилась на шею: «Не маленькая, не маленькая! Хочешь, совсем твоя буду?»

Он отшутился: ей, мол, как виноградникам в их краях, на севере Молдавии, не хватает всего два недели солнца, чтобы созреть. Марина спросила серьезно: «Ты подождешь меня?»



На следующий день Борис после работы обошел все хозяйственные магазины. Домой пригнал несколько трехкилограммовых банок водоземельных белил и больше десятика тюбиков темперы. Вылил в таз, тщательно вымешивал белила с темперой, добиваясь теплого желтого оттенка. Когда Марина пришла, колер был готов. Она переоделась, склизтически глянула в таз, сказала, что слишком ярко, и в подтверждение своих слов мазнула кистью стену. Цвет был именно тот, какого он хотел.

— Простохнет — потемнеет, — предупредила Марина и уже без его согласия добавила в таз белил.

Он смотрел, как она красит: проводит ровную полосу вращающимся валиком с поролоновой насадкой. Было приятно наблюдать за ее работой, точной и четкой, за ее сильными и одновременно грациозными движениями, но стоять вот так, ничего не делая, когда она работает, он не мог и попросился в подмастерья. Она скинула на него глаза: «А что ты умеешь?» Он ничего не умел, но сказал, что подмастерье не мастер, что велят — делает.

— Пиши свою статью, — сказала она и, схватив стол в охапку, перенесла его к другой стене.

¹ Махала — уголкок села, группа соседствующих домов (м. о. д.).

Он не успел помочь. Укорил:

— Никогда не таская сама. Надорвешься.
Марина уже была на столе. Смотрела на него сверху вниз.

— Да разве я такие вещи таскаю! Иной заказчик оставит ключи от квартиры и уйдет на работу, в отпуск уедет или в командировку. Являюсь, а там шкафы с книгами, серванты, гардеробы у стен стоят. Ну, и двигаю, конечно. Что же еще делать остается!

...В тот первый день в Арионештах он тоже хотел помочь ей — таз с мокрым бельем был тяжелым. Марина отказалась. Кивнула на скалы: фундамент домов в селе кладут из этого камня, на руках вверх поднимают — по такой крутизне каруцу¹ не спустишь. «И вы поднимали?» — удивился он. Она засмеялась, блеснули мелкие ровные зубы: «Я сильная!»

Борис шагнул к столу, крепко обнял Маринины ноги в залпанных краской шароварах. Она замерла, потом сказала тихонько:

— Измажешься.

— Дай мне что-нибудь делать, — тоже тихо попросил он.

— Филенку отбивать позову. Иди.

Борис вышел, но за стацию не взялся. Какая уж тут стация!.. Как получилось, что он сбегал из села, не дождался Марини? Впрочем, это не он не дождался — она вышла замуж.

Парня этого он знал. Богатырь. Голубоглазый, русоволосый, басовитый. На Марину заглядывался. Зимой это было, на Валья Брадулу. Морозный, солнечный выдался день. Речка замерзла — каток. Вся молодежь на санках, на лыжах. С горы — на лед. С одной стороны кататься нельзя, крутизна смертельная, с другой, что поближе к мосту, хоть и круто и в карьер угодить можно, катаются, привыкли. А этот на самое опасное место полез. Ни дерева, ни кустика на том склоне. В теплое время трава зеленеет густо, нетронутая, сочная, а коров не попасешь — сорвутся. Овцы — и те едва держатся. Свои, привычные к крутизне. Чужим не удержаться. Там и тропинки ни одной нет, человеческая нога не ступала. Как только этот великан не убился — непостижимо. Ради Марини рисковал...

...Марина окликнула его, спросила, что он в белила клал. Темперу? Масляную? И показала измазанной краской рукой на таз:

— Заварило твое тесто. Только бублики печь. Краска: схималась, скатывалась со стен, а в том месте, с которого Марина начала, взялась и лежала ровно, но проступал сквозняк муровый блеск. Вся работа пошла наскарку. Борис был расстроен, чувствовал себя виноватым и пытался оправдаться: эмulsion — смесь воды с масляной краской, и температура масляно-водяная, по всем правилам они должны были смешаться, и совершенно непонятно, что произошло. Марина утешала его: завтра принесет сухую краску, белила еще остались, сделает заново.

Вечер был потерян. Если начать перетирку в большой комнате, Борису негде будет спать.

— Да не огорчайся ты, — легко сказала Марина. — Имею же я право отдохнуть. — И чтобы поднять его настроение, сама предложила пойти в ресторан. — Эй нужен был бензин, чтобы отмыться, но у Бориса его не оказалось.

— Так ведь гаражи перед домом, попроси у кого-нибудь литра два-три. Жалко им плеснуть, что ли?

Он не мог просить у чужих людей бензин, не знал, как помочь Марине, и совсем приуныл.

— А ты все такой же трусишка, — сказала она.

¹ Каруца — повозка (молд.).

Сама сбегала за бензином, долго приводила себя в порядок, а когда вышла из ванной, от нее пахло совсем не бензином, а чем-то цветочным, сладким, и Борис снова вспомнил, как пахли ее прохладные руки, когда там, в лесу, он уткнулся в них лицом.

— А я ведь так и не попробовал тогда розового варенья, — сказал он. — Порубили розы?

— Где там, — Марина махнула рукой. — Все колется.

— И я цветут?

— Цветут.

— Значит, я еще смогу когда-нибудь отведать розового варенья?..

Она посмотрела на него без улыбки и не ответила.



В ресторан шли парком. Солнце жарило, как в разгар лета, люди у озера загорали, а в тени было уже по-осеннему холодно, и ветерок северный прохаживал насквозь, хоть пальто надевай. Мальчишки, забредая по колено в воду, удили рыбную мелочь. Какой-то соринголова разделся в тени, весь покрытый пупырышками, подрагивая, бросился в озеро, поплыл саженьками. Обернулся, крикнул товарищу, который полез за ним и только что вынырнул, отдувался: «Да не ныряй ты, дурья голова, поверху, вода прогретая, а под низом ледяная».

В зеленых еще камышах на другом берегу озера дремала красная лодочка. Спасательная. Озеро минут за пятнадцать обойти можно, но все здесь, как у большой воды: и камыши, и плакущие ивы, и рыбаки, и песочек-пляж. И спасатели. Ветер гонит волну, бежит перед глазами, будто река, только течение ее от ветра зависит: повет с севера, как сегодня, — на юг бежит речка, с юга повет — бежит на север.

По дамбе перешли на другую сторону озера, свернули вправо. Марина, еще издали приметив детские качели, побежала к ним, прыгнула на доску. Резко приседая и расправляясь рыкаем, раскачалась вволю. Борис смотрел на нее и думал, что на каких-нибудь пять-шесть лет старше, а вот не стал бы качаться, никакого удовольствия бы не испытал. Марина притормозила, прыгнула на землю, разгоряченная, повеселевшая.

— Если бы не ты, еще б полетала.

Он снял пиджак, набросил на ее плечи и уже не опустил руки.

— Да мне жарко. — Она отстранилась. — Это ты мерзнешь — работа сидячая, а мне всегда жарко. У меня один прирев: давай-давай!

Ресторан в парке новый, просторный. Народу мало. Только сели, сразу подошла рыженькая официантка. Борис бегом просмотрел меню, спросил:

— Но этого всего, конечно, нет?

Она улыбнулась. Оказалось, все есть. Молодежный центр, как-никак! Выбор больше, чем в «Интуристе». Они заказали обед, хотя в пору было ужинать. Марина сидела, рассматривая свои руки. Руки были чистые, гладкие, только в лунке ногтя вьелась краска. Борис прикрыл ее руку своей, несильно сжал пальцы. Попросил:

— Расскажи о себе, Маринка. Я ведь ничего не знаю.

Она высвободила пальцы, заговорила с неожиданной болю:

— Что тебе до моей жизни! Уехал — отрубил. Родничок наш камнями закидал, чтоб не тек он, умер. Да разве родники умирают!

— Как же ты замуж вышла?

— Ну, это не твоя боль.



Она свела брови и сразу отдалась от него, и ему стало страшно второй раз ее потерять.

— Знала бы ты, чего мне стоило тогда мое молчание,— сказал он, снова дотрагиваясь до ее руки, чтобы вернуть ее, приблизить к себе.

— Знала,— резко проговорила она.

Полгода томилась в ожидании его писем. На зимние каникулы махнула в Кишинев. В дом не зашла,— ждала на улице. Кутала лицо в пуховый платок. Борис вернулся вечером, когда она совсем окончила. Вел под руку высокую девушку. Марина заметила большие темные ее глаза и впалые щеки. Они прошли мимо, а она все стояла, леденая, долго не могла уйти.

— Я Петра Степановича встретил,— словно оправдываясь, проговорил Борис.

— Ну и что?

— Узнал, что ты замуж вышла. Вот что.

Взгляд ее не смаялся, и складка у губ стала жесткой, как у ее матери, и ямочки на щеках исчезли.

— Большая свадьба была? — спросил Борис, чтобы еще раз вернуть ее в те дни, когда не он — она ему изменила. — Столы в три ряда?..

— В два,— сказала она.

— И музыка из Редю-Маре?..

— И музыка из Редю-Маре,— эхом отозвалась Марина. Глаза ее наполнились слезами. Слезы стояли, как озерная вода в половодье, чудом не переливаясь через край. Борис не знал, как ее успокоить. Она сама справилась с собой. Сказала просто: — Вышла за него, чтобы к тебе не сорваться, на шею не виться: не могу без тебя, снизойди, возьми! Он-то меня любил... Думала, сложится жизнь. Ребенка хотела, надеялась: тогда уж забуду.

— Не сложилось?

Сердце Бориса дрогнуло. Ему хотелось, чтобы не сложилось. Он еще ничего не решил, но как же ему хотелось услышать, что муж у Марины плохой и любит она его, Бориса.

— Разошлись.

Она заметила его радость, сказала с досадой: — Тебе-то что?.. Девчонки у меня. Старшей два года.— Это было неожиданно и неприятно скребнуло по сердцу.

— Отчего разошлись?

— Ревновал. Он все тебя найти грозился. Морду набить. А-а, что вспоминать!..

Официантка принесла костицу¹. Увидела, что закуска стоит нетронутой и бульон уже пленкой подернулся. Огорчилась.

— Невкусно? Может, пересолено?

Борис не заметил, как она поставила перед ними все это.

— Вкусно, вкусно,— заверил он.

— Так я костицу потом принесу, чего холодную ешь.

Она ушла с подносом, издала поглядывала на них. Посетителей все еще было немного.

— Как же ты в Кишинев попала? — спросил Борис.

— В селе все на глазах, а с синяками перед людьми ходить кому охота! Подались в Сороки. На стройку. О нас говорили: вот это пара! Мы ж оба высокие, красивые.— Она сказала это так просто, естественно, как когда-то сказала у реки: «Я сильная!» И потом, о своих акварелях: «Хорошо, правда?» Она знала, что красива, как здоровый человек знает, что он здоров, и говорит об этом, насколько не гордясь, совсем не придавая этому значения.

чения.— Муж на «МАЗе» работал,— продолжала Марина.— За пьянство уволили. Стал слесарем в гараже. Мельчак на глазах. За свою же работу с подделкой рублей брал. Я ему говорю: сам шоферил, как ты можешь!.. Да он тогда уже все мог. Было б на водку!..

— Как ты с таким мужем на второго ребенка решилась? — изумился Борис.

— Решила уйти от него, а как дальше жизнь сложится, разве угадаешь? Только знала, что ребенок будет, сразу и уехала. Большая любовь — она ведь один раз бывает. Как село, где родился. Как родник, что речку зачал. А мальчик столько на пути встретишь, ну, как травинки на крутом склоне. Все вроде бы нетронутые, нетоптанные, ничими губами не захватанные. Послушаешь, ты для них — дождь. Поверишь — и пропала. Каждую напоить — души не хватит. Потом уже и без души... Будто так и надо. Незаметно и сама, как трава, на выгоне стадом вытопанная, станешь. От мужиков зависеть... Она покрутила головой. — Нет уж, спасибо. Я сама себе мужик. Семья, девчонки растут. А зарабатываю... Ты кандидат, а я в своем деле, может, профессор.

— А он что?.. Борис замылся.— И денег на детей не шлет?

— Уговор у нас: я от алиментов отказываюсь, он — от дочки. Про Аллочку он не знает. Нет, он меня теперь не тревожит, спокойно живу.

— Девчонки у матери?

— Подбородок ее вздернулся.

— Что я, хворая?

— Как же справишься?

— Если против моего дома. Круглосуточные. Каждый день забегает. Мне их день не видеть...— Она снова покрутила головой.

— Покажешь мне?..

Голос Бориса прозвучал не очень искренне, он и сам ощутил это. Марина отвернулась, поманила официантку: можно, мол, принести костицу.

Доели обед молча. Рыженькая положила перед Борисом счет, и Марина, мельком глянув в него, достала из кошелька деньги, половину примерно.

— Да ты что! — Ему даже красна в лицо бросилась.

— Привыкла сама за себя платить. Чужим людям не разрезаю.

— Какие же мы чужие, Марина,— укорил он, заговаривая трещку в ее кошелек.

— Я с тобой деньги за ремонт беру,— сказала она, усмехаясь жестковато. — Разве со своих берут?

Она снова была язвительно колючей и привлекательной, как те дикие розы, что росли у ее дома в Арноншоштах.

Молча спустились по лестнице, молча свернули по узкой тропинке к боковой аллее парка. Борис смотрел под ноги. Трава была жухлая, только спорших не потеряла весенней своей насыщенности и густоты цвета, бежала вдоль тропинки, ложилась под самые подошвы, курчавилась — ей все ничем. Тополя и клены стояли зеленые, как летом, акации — в пропеллинах: то тут, то там сухие и желтые листья. Слабо тянуло мятой — у эфиромасличного завода прели темно-коричневые кучи отработанного сыра, исходили парком. Вблизи запах грубый, тяжелый — в нем уже не угадать мяту, а издали все еще свежий, тонкий.

Борис посмотрел на Марину и встретил ее вопрошающий взгляд. Миновала скляму. Оба оглянулись на нее и вернулись, сели. В парке дышалось легко, от развороченной на газонах земли пахло свежо и остро.

— Сегодня совсем весна,— сказал Борис.

¹ Костица — свиная отбивная с ребрышком (молд.).

— Хлеб давно убрал, — отозвалась Марина.

И снова они замолчали. Над ними шумели верхними недвижные в нижних ветвях тополя, и Борис сказал, что по ночам деревья шумят под окнами уже по-осеннему тревожно, мрачно. Неуютно в такие ночи одиноким людям. И sny снятся странные, беспокойные. Проснешься и лежишь в тревоге, не понимая, откуда она, эта тревога, явилась, каким ветром в открытую форточку занесло.

Марина спросила, отчего он не женился. Он не ответил. Сам не понимал, что тогда произошло с ним на спектакле. Уже готов был жениться на Гали, но там, в театре, что-то переменялось, перазвернулось в нем, и он понял, что они чужие. Может быть, потому, что он сидел в зале, был публикой, а она на сцене, почти обнаженная, какой он ее никогда не видел. А может быть, потому, что ее полюбленного тела бесцеремонно касались чужие мужские руки, и он на мгновение представил себе, что эта захватанная руками партнера женщина — его жена — возвращается после спектакля домой, ложится в одну с ним постель.

Он не ответил Марине, и она заторопилась, сказала, что ей пора. Пошли в гору, к троллейбусной остановке. Борис спросил, где она живет. Оказалось, далеко, на Новых Бульбанах.

— Долго добираться, — сказал Борис. — А на работу куда?

— Нас на разные объекты бросают. Мне на далекие везет. Ну, да я привыкла. Для меня автобус, троллейбус — чистая.

Борис хотел проводить ее домой, но Марина отказалась: завтра должна вернуть журнал, в дороге закончит повесть. Догадалась, что он не поверил, достала из портфеля изрядно потрепанный журнал с закладкой, показала ему. Это был жест ребенка, которого подозревают в обмане, а он, еще не умея обидеться на недоверие, протыгивает свои ладошки в ответ на взрослые: «Не милая». Вот они — чистые, розовые, лапучие — гляди.

Борис полистал журнал. Закладка лежала на предпоследней странице повести Быкова.

— Ты что же, про войну читать любишь? — недоверчиво и чуть снисходительно спросил он.

— Я Быкова всегда в библиотеке спрашиваю. У него ведь не просто про войну. Про непобедимость. В жизни все может быть: и война и холера, всякое горе, самое невообразимое. Быков таких людей показывает, которые себя сильнее. А если душа человека его самого больше... — Она не закончила фразы. Сказала с той самой усмешкой, которая Борису была неприятна в ней: — Забыла, что ты кандидат.

— Что с того?

— Смешно тебе меня слушать.

Как он ее ни убеждал, о литературе она больше не говорила и, кажется, обрадовалась припопозшему наконец переполненному автобусу — троллейбусы не ходили.

Ночью Борис не спал. Сильно пахло краской, и он, надев пальто поверх пижамы, вышел на балкон. В доме напротив тоже кто-то не спал, голубоватым дневным светом вливалось в ночь окно. И луна была голубоватая. Вспомнилось его первое, школьное увлечение. Мартовским вечером он показал этой девочке тонкий-тонкий, еще не набравший желтизны, только что нарождавшийся месяц. Она пошутила: «Бог ногти стриг». Месяц и впрямь был похож на остриженный полукруг ногтя, но влюбленность его в тот же вечер исчезла...

Охно напротив погасло. Борис представил себе, что там, за окном, живут влюбленные, и одиночество стало еще ощутимей. Душное, душащее недо-

вольство собой поднималось в нем. Чего он испугался тогда? Поработал бы еще год на селе, Марина закончила бы школу, вместе уехали бы. Аспирантура от него никак не ушла бы.

Тоска по Марине, по сильному, ладному ее телу томила Бориса. Он увидел ее в своей полосатой рубашке, которая была широка ей в плечах и тесна в груди, с расстегнутой третьей сверху пуговицей, увидел так явно, что сердце рванулось, будто она была сейчас здесь, в его доме. Он видел ее приоткрытые губы с вытуклым розовым треугольничком верхней, ее влажно блестящие зубы, и никаких сомнений больше не существовало. Никаких умствований. Казалось невымыслимым прожить эту долгую ночь и еще долгий день в ожидании Марины и вечером стоять у двери, прислушиваясь к шагам на лестнице, страшишься: вдруг не придет!.. Вдруг с Мариной что-то случится завтра — угодит под стрелу крана, неудачно перебежит дорогу — мало ли что может стрястись с человеком именно тогда, когда его так мучительно ждешь!.. А может быть, случится с ним?.. Говорят, инфаркт помолодел, а двадцать семь лет уже не юность.

Как он мог не узнать ее адреса? Вызвать бы сейчас такси, вбжать к ней, заспанной, горящей, обнять так, чтобы косточки хрустнули, и не разнять рук, не выпустить ее больше.

Он изо всех сил упирался лбом в шершавые от потрескавшейся краски перила балкона, словно хотел свалить их, бодал, как теленок, у которого начали прорезаться рожки. Ему нужна была физическая боль, и руки его мертвой хваткой сжимали холодные железные прутья, и в каждом пальце отчетливо бился пульс — он мог его сосчитать.



До завтрашнего дня он дождал. С Мариной тоже ничего не случилось. Но все было совсем не так... Марина держалась отчужденно, работала, почти не отрываясь, и снова говорила ему «вы». Она, вероятно, сердилась на себя за вчерашнюю откровенность, в чем-то винила Бориса и нынешней своей холодностью пыталась наказать обоих. Полосатая рубашка валялась на полу в ванной, Марина принесла из дому голубую кофточку. В этой, незнакомой Борису застегнутой на все пуговицы кофточке она сейчас стояла к нему спиной, и спина эта была чужая. Давушка-малыш в заляпанных краской шароварах и голубой кофточке. Добросовестный маляр, который спешит скорее завершить работу — и потому, что заказчик об этом просил, и потому, что у нее очередь и надо приниматься за следующую квартиру.

Спальня была закончена. Марина позвала его.

— Вот, глядите: дважды перекрашивала, а ваша темпера все равно в глаза лезет.

Она вздохнула, свела брови. Неприятно ей было, не в ее правилах сдавать плохую работу.

— Во-первых, это моя вина, — сказал Борис. — А во-вторых, так даже оригинально: муаровая стена. Ни у кого нет.

Марина велела ему вытащить крюки, на которых в большой комнате висели книжные полки, и убежала на близкую стройку — попросить цемента.

Он справился со всеми крюками, только один никак не поддавался. Борис взмок, красная полоса, оставленная на правой руке клещами, стала глубокой, как траншея, кожа на пальцах стёрлась. Чертов крюк! Ему еще пришлось бы немало помучиться с ним, если бы не догадался вбить крюк в деревянную пробку. Схватил молоток и с одного удара вогнал крюк в стену. Придет Марина — может шпаклевать.

Марина принялась за разделку швов. Борис сидел на кухне, слушал, как отваливаются куски старой штукатурки, и думал о том, что вот была скользящая, почернелая квартира, моль летала жирная, проедала полиэтиленовые мешочки, добиралась до шерстяных вещей, и нафталин ей был не помеха. Она и в крупу забиралась, нагло плодилась там, пожирала даже сухие плоды шиповника. Муравьи по кухне ползали. Второй этаж — откуда только они здесь берутся, эти настырные мурашки! Запустили квартиру... Но пришла в дом двадцатилетняя женщина и в какую-то неделю разрешила все неразрешимые проблемы. Спальня стала новой, без единой морщинки, как молодое девичье лицо. Проблески не мешают.

Захотелось еще раз взглянуть на возрожденную спальню. Борис крикнул: «Погоди, не рушь» — и прошел туда. Комната светло-желтая, будто солнцем залита, хотя солнца здесь не бывает: окно выходит на север. Великое дело — ремонт, подумал Борис. Он изменил не только квартиру, что-то произошло и в нем, Борисе, сдвинулось, очистилось, проветрилось и осветилось.

Но что это?... Посреди стены, в метре над его кроватью, бугром вспучилась, взорвалась штукатурка.

— Марина! — закричал он, и она тотчас оказалась рядом. — Что это?!

Он тараторил на стену, а Марина выбежала в смежную комнату, крикнула оттуда:

— Эх, ты! Скормил.

Он подошел к ней.

— Я ж тебе сказала крюк вытащить, а ты его вместе с деревяшкой вбил, стену протаранил.

— Он не вытаскивался... пробормотал Борис не сразу.

Марина смотрела на него с жалостью. Борис опустил голову. Она дважды перекарачивала из-за него спальню, теперь новая работа — дыру заделывать, закрывать, подумал он.

— Я сам, — сказал поспешно. — Я сам сделаю, ты не трогай.

Она все с той же жалостливой улыбкой смотрела на него, думала, наверное, что он способен только портить, пробовать брешить, исправлять — ее забота. Неожиданно притянула к себе его голову согнутой в локте рукой, отвернув ладонь, чтобы не испачкать, и крепко поцеловала в губы.



Ремонт длился еще три дня. Про себя Борис уже все решил, и Марина, похоже, решила — была с ним мягкой, ласковой, ни одной колкости. Эти дни она работала с азартом, напевала громче обычного. Склонив голову набок, отходила в сторонку, издала любовалась своей работой. Он наблюдал за ее движениями и думал о том, что Марина должна стать не живописцем, а скульптором, именно скульптором.

В этот последний день ремонта Борис рано ушел с работы. К приходу Марины у него были приготовлены шампанское, торт и душистые розы, громадный букет роз, вероятно, только срезанных, потому что, когда он покупал их, они еще не совсем раскрылись и лепестки были влажны. Борис поставил цветы в вазу, унес в спальню, а спустя час или два обнаружил, что цветы раскрылись до времени, распахнулись, насколько это возможно, и вот-вот начнут ронять лепестки.

Марина в этот вечер возилась особенно долго. Борис нервничал. И мылась она, закончив работу, особенно тщательно. Вышла к нему, как всегда, нарядная, с высокой прической, только лицо было

бледнее обычного, то ли устала очень, то ли волновалась, как он.

— Кажется, все, — неуверенно сказала она.

Она уже не оглядывала стены — смотрела в лицо Бориса строгими, немигающими глазами. Ждала от него каких-то слов, как мать ее в тот прощальный день. А Борис растерял все слова, и только одно пугливо «верно ли?» билось в его мозгу. Верно ли он решил, не поторопился ли, не спорохотался...

— Ну все, — шумно вздохнул, решительно повторила Марина и сообщила ровным, стертым голосом, что ей сейчас нужно зайти еще в одно место, тоже на Ботанике. Люди обменяли квартиру, сидят на нераспакованных вещах, ждут ремонта.

— Да, да, — торопливо проговорил Борис, отводя взгляд от бледного лица Марины, и засуетился, отыскивая, куда накануне ремонта спрятал деньги. Порылся в одном ящике, в другом, метнулся от стола к шкафу, а она стояла посреди комнаты, чуть откинув назад голову, и натруженные ее руки были спокойно опущены, недвижны. Борис нашел деньги, протянул конверт Марине. Пальцы его дрожали. И снова засуетился, принес из спальни цветы и торт. — Это тебе.

Она смотрела на него с грустью, а больше с жалостью, как смотрят на больного человека, зная, что он обречен, видящий его в последний раз и ничем помочь не в состоянии.

— Но ведь мы еще увидимся? — спросил он.

Марина не ответила, и он поспешил за ней в коридор, удержал, заглянул в лицо тоскливыми глазами голодного пса, которому хозяин сказал: «Тубо».

— Но ведь мы еще увидимся? — повторил он жалобно.

Он слышал, как уверенно процокали ее каблуки по лестнице. Вернулся в комнату. Оттянул ворот душистой его рубашки, посмотрел в окно. Марина пересекла улицу. В одной руке несла портфель, в другой — цветы. Держала небрежно, головками вниз, как веник.

Борис зашел в спальню. Здесь сильно пахло краской, и он подумал, что, слава богу, осень стоит теплая, окна распахнуты и к возвращению матери никаких неприятных запахов уже не будет. Дрожащими руками откупорил шампанское. На прикроватной тумбочке стояли два заранее приготовленных бокала. Он налил оба, и пока пил из одного, второй уже не пенился, будто это и не шампанское вовсе, да еще сухое, коллекционное, криковского завода. И вдруг понял: Марина ушла навсегда.



Окна распахнуты настежь. В доме хозяйничают залетные скворцы. Ремонт давно закончен, но запахи краски держится стойко. Немистребиный запах, скорей бы от него избавиться.

Борис доволен ремонтом. Похаживает, поглядывает: новой стала квартира. Вот только дыра в простенке... Заделана аккуратно, шпаклевкой заложена, краска подобрана в тон, а все равно заметно. Да еще эти разводы. Пригласить бы маляра, шустрого парня, в один день перекарсил бы спальню. Кому нужны эти муаровые стены, постоянное напоминание: вот-де не знал, что водозамусьонные белила нельзя смешивать с масляной темперой...

г. Кишинев.

Инара Роя



Перевела
с латышского
С. СОЛОЖЕНКИНА



Янтарь

Погляди, с каким старанием ищет человек
янтарь:
он перебирает камни, водоросли ворошит,
вот ударил он в ладоши, рассмеялся вдруг,
как встарь,
только в детстве так смеются,— и подняты
смолу спешит,
да, смолы кусочек гладкий — вся-то радость,
вся-то грусть,
словно мир себе представить без него я не
возьмусь,
словно без кусочка солнца утро серое вовек
к нам на пир прийти не сможет,— так
смеется человек.

Погляди, как чаши пляшут, брошки ножками
топочут,
как от пуговиц янтарных отшатнулись тени
ночи,
погляди, как волны смыли краски чуждые
с лица
и с домов сорвали маски — только пляски
без конца,
все открыты и промыты здесь, на пляже, где
чуждак
отыскать янтарь стремится и, гляди, нашел,
никак!

Но зачем же он, задумчив, снова бросил
чашу в море,
для чего он бьет в ладоши и дает пинка
волне!
Неужели в янтаре лишь наше счастье, наше
горе,
и на пиршестве природы не найдется
места мне
без слезы людской, янтарной, отшлифованной
навек,
той, что снова в море бросил странный этот
человек!

Свет

Нет, печь здесь ни при чем, и не камин виною,
не ведала свеча, и знать не знал костер,
что двое обнялись — и мир согрели двое,
и от тепла их рук сиянье пролилось.

Свет комнату пронзил, как солнце плод
пронзает,
свет впеллся лесу в бороду, и вот
в гнезде у аистов гнездо себе свивает,
свет спит в гнезде, и утро наступает...

Потух камин, и печь, как еж, в клубок
свернулась,
костер золою стал, доплакала свеча,
и все людским теплом на свете обернулось,
течет смола, и свет течет, лучом леча.

К лавине световой и аисты примкнули,
гнездо свое ветрам внезапно подарив,
птенец долбит яйцо — земля дрожит от гула,
пробил, удрал от тьмы, увидел свет — он жив!

Путешествие на велосипеде

Велосипед, зачем меня
оплакивай средь бела дня!
Я — что, вот колесо мертво,
почти молчанием его!

Смотри, как радуется мир,
что мы с тобою живы:
пастух готовит в чане сыр,
а пахарь варит пиво!

Велосипед мой вороной,
ухабы ты считал со мной,
дубовую листовую
я прежний путь укрою!

Уж больше ты не упадешь...
Придет под вечер молодежь,
получишь сыр и пиво,
о мой скакун ретивый!

Под вечер буду я битком
набита огоньками.
Взорвусь, не вспомнив ни о ком,
над темной речкой, над леском
рассыплюсь светляками.

А ты, а ты, мой верный друг,
велосипед мой милый,
кати в ночи один на луг,
не будь такой унылый!

Там, где сплетаются хвощи,
цвет папоротника отыщи,
на радугу вскочи — и вскачь
лети, и молод и горяч,

чтоб стала огненной роса,
взяв солнце вместо колеса!

Александр Юдахин



Товарищ мой старший
Мне новую книгу прислал.
«Не нервничай, Саша! —
На титуле он написал —
Мы в дружбе с тобою!
А прочее все пустяки!»
За строчкой «С любовью!»
Пошли фронтовые стихи.
В них вечная память.
В них верное сердце стучит.
«Не нервничай, парень!» —
В них каждая строчка кричит.
Друзья твои живы,
И дети здоровы твои!
Исполненный силы,
Во славу России твори!
Тропой самолетной
Над лесом летят журавли.
Живи и работай!
«Не нервничай!» — значит, живи!



Все проходит, любил — не любил.
И, скитаясь по белому свету,
Я и сам в суете позабыл
Быстроглазую девочку Свету.
Помню только сиянье небес,
Рисовальный альбом «для блезирну»,
Измурдно-березовый лес
И залитую солнцем низину.
Был я молод, нескладен, несмел,
Одурманен невидимой мятой,
А над нами повистывал шмель,
Словно маленький вентилятор.



Что Соломоново кольцо!
Когда в Оше, на виадукте,
Забыв любимое лицо,
Он ясно вспомнил день разлуки.
Двух воробышек в январе,
Веселых от овсяной крошки,
И обывателя в окошке,
Как будто муху в янтаре.

Осень

Возьмите билет за целковый
Туда, где осина горит,
Как будто бы купол церковный,
Который давно позабыт.

Где можно на проводах лета
Вдали от заботы мирской
Скупую тоску человека
Сравнить с беспредельной тоской.

Виктор Николенко



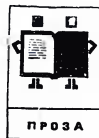
Май на половине. Вербы отцвели...
Посвист соловьиный слышится вдали.
Песенка простая: «Я ли не любил —
Всех, кого оставил, всех, кого забыл!..»
Друг мой неумейный,
Ты ли не к добру!..
Сердце бы твоё мне!
Голос — подберу..



Хорошо над Угрой — высоко и спокойно...
Облака за горой — будто белые кони.
Будто сено везут, незаметно теряя..
Лес и поле внизу — без конца и без края.
Где от века — к добру обозначены тропы.
Где поныне в бору зарастают окопы.
Где стояла война у речной переправы.
Где теперь тишина да холодные травы..
Где от белого дня ночь светла и туманна.
Где любила меня темноокая Анна.

Соль

Неласковая школа артельного труда...
Пошел в накат плашкоут: туда—сюда—туда!
И я дивлюсь нахрапу отчаянных ребят.
И я бегу по трапу, как пьяный акробат!
И я такой веселый — хоть в щепку расколи!
Крутой рыбацкой соли мне плечи мнут кули.
И я взыскую сути! [А кто ее просил!]
К разнузданной посуде швартуется буксир.
Последние разочки. Немыслимые па...
Устало пьет из бочки артельная толпа.
Шальная моя школа, где горе не беда...
Мотается плашкоут: туда — сюда — туда!..



Р Е М З И К

ПОВЕСТЬ

В тот вечер они сидели на теплых ступеньках крыльца, и Ремзик рассказывал про подвиги своего дяди, военного летчика, ночного бомбардировщика.

Дом, на крылечке которого они сидели, принадлежал директору кондитерской фабрики. Из распахнутых окон, оклеенных крест-накрест бумажными полосами, доносились звуки патефонной музыки. Девочки, подружки директорской дочки Вики, учились танцевать. Они приглашали и мальчиков, но Ремзик отказался за всех, и мальчики остались на крыльце.

Им всем было по двенадцать лет, и Ремзик считал, что им рано учиться танцевать. И вообще сейчас не время, сейчас идет война. Кроме того, на нем была обувь из расслоенных старых покрышек, которую многие теперь носили и называли «Мухус-Сочи», имея в виду, что ей нет сносу. Ноги в этих резиновых башмаках прели, и это чувствовалось в помещении, и Ремзик испытывал некоторую неловкость.

Время от времени директорская дочка высовывала голову из окна и рассеянно смотрела на крыльцо, где сидели ребята, стараясь заинтересоваться рассказом Ремзика.

Несмотря на то, что на улицах и в домах не было света из-за светомаскировки, лицо девочки было хорошо видно — на небе стояла большая, яркая луна. В лунном свете лицо девочки казалось более взрослым.

Лицо ее Ремзику было приятно, но он никогда в жизни ни ей, ни кому другому не признался бы в этом. Он считал, что ему, двенадцатилетнему мальчику, девочки вообще не должны нравиться, тем более сейчас, когда идет война.

Не сумев заинтересоваться рассказом Ремзика, девочка уходила в глубину дома, в другую комнату, где горел свет и играла музыка, постыдной сладостью обволакивавшая душу мальчика. Ремзик знал эти пластинки, потому что все они и многие другие были у тети Люси, жены дяди, которую он привез из Москвы.

Да, дядя Баграт ничего на свете не боялся. С самого начала войны он летал в тылы врага, и его ни разу не сбили. Один раз ранили в ногу осколком зенитки, но сбить ни разу не сбили. И тогда ему удалось дотащить самолет до аэродрома. Мало того, что он был замечательным летчиком, он еще был и везунок.

Он летал на «По-2» с хвостовым номером 131! Ни один летчик даже близко не хотел подходить к самолету с таким невезучим номером. А он летал, и хоть бы что! Правда, в самолет попадало множество осколков, и он был весь в латках, но мотор ни разу не был задет.

Вообще ему всегда во всем везло. Ну, хотя бы такой случай. Мальчик задулся, стоит ли рассказывать, потому что его навряд ли можно было назвать

подвигом, но случай этот полностью оправдывал прозвище воззунка.

Кстати, он уже про все подвиги дяди рассказал, а ему хотелось и про этот случай вспомнить.

...Это был такой случай, когда они с фронтowym другом приехали в Москву на кратковременный отдых. У них у обоих были полные, ну, представляете, полные-преполные планшеты денег. И они на радостях так крепко выпили в ресторане, что обо всем забыли. Просто ничего не помнили. А у них были полные-преполные планшеты денег. Они в ресторане угощали не только музыкантов, но и просто кого попало, потому что денег у них было полным-полно. У них просто планшеты попались от денег, потому что они целый год не были в отпуску, а на фронте деньги тратить негде, да к тому же дядя еще был холостой.

А утром они проснулись в гардеробной у швейцара. Оказывается, они там проспали всю ночь, подложив под голову планшеты. И никто у них не вытащил планшеты из-под головы. Они для смеха посчитали деньги в своих планшетах, и оказалось, что никто ничего не взял, кроме того, что они потратили в ресторане—каких-нибудь (для них, конечно) две тысячи.

— Мальчики, может, вы все-таки зайдете? — сказала Вика, через некоторое время опять выглядывая в окно и бесплодно пытаясь заинтересоваться рассказом Ремзика.

— Охота была в жару в комнате сидеть, — за всех сказал Ремзик и посмотрел на нее своими большими глазами.

Девочка снова исчезла в окне.

— А то зайдём, может, угостят! — сказал Чик и ищоска посмотрел на Ремзика.

— Сейчас все на карточки живут, — рассудительно отрезал Ремзик.

— Много ты знаешь, — возразил Чик, — у них бывают бракованные пончики и конфеты еще вкуснее, чем небракованные...

— Чик правду говорит, — сказал Лёсик.

Он жил с Чиком в одном дворе и всегда его поддерижал.

Из окон донеслась веселая музыка «Кукарачи», которую так любила жена дяди тетя Люся.

— Или взять, как он женился, — продолжал Ремзик, нежно улыбаясь неудачества дяди, — опять приехал в Москву на три дня, уже с другим товарищем.

Вдруг увидел на главной улице Москвы красивую девушку с тяжелой сумкой. И вот он говорит товарищу: «Я сейчас помогу этой девушке, и она будет моей женой...» И что же? Он догнал эту девушку, помог донести сумку, и она стала его женой. — Ух ты, — удивился Лёсик, — только из-за этой сумки согласилась?!

— Может, у него опять был полный планшет денег? — с некоторым ехидством заметил Чик.

Ремзик не заметил этого ехидства, он только заметил глупость такого предположения.

— Не в этом дело, — сказал он, — в тот раз у него не было планшета с деньгами. Просто она всю жизнь мечтала встретиться с таким Боввым летчиком. А ему повезло, потому что она мечтала и он именно ее встретил.

— Пацаны, — кивнул Чик на окна, — может, угостят!.. Они однажды угощали горелыми конфетами... Еще мнеее, чем настоящие...

— Кто тебя угостит, если все на карточки живут, — снова заметил Ремзик, — другое дело, если родственники из деревни привозят что-нибудь... Но у них нет в деревне родственников...

— Ну, тогда расскажи что-нибудь интересное, — сказал Чик, — а то «написался», «женился»... Скукота...

— Ты сначала узнай, с кем написался, а потом говори, — ответил Ремзик, обидевшись за дядю. — Он написался, — продолжал Ремзик, оживившись оттого, что вспомнил еще один нерассказанный случай, — с тем летчиком, которому спас жизнь. Это был замечательный случай. Летчика этого подбили над Брянскими лесами, и он успел передать по радио, что не дотягивает до линии фронта. Ясно было, что он пошел на вынужденную посадку, но больше о нем ничего не было известно. Два дня все летчики аэродрома его искали...

Вдруг Ремзик ощутил, что в густой тени дома, на противоположной стороне улицы стоит человек. Неоознанное омерзение и страх пронзили мальчика. Так бывает во сне, когда видишь человека, добродушно разговаривающего с тобой и улыбающегося тебе, но знаешь, что он хочет тебя убить.

В первое мгновение Ремзик подумал, что это шпион какой-то, а потом понял, вернее, угадал, что это тот доктор из госпиталя, где работает тетя Люся. Он иногда к ним заходил. Он заходил даже тогда, когда дядя прилетал на два-три дня с полупутым транспортным самолетом.

Человек почти полностью сливался с чернотой тени каменного дома, у которого он стоял. И все-таки, если приглядеться, силуэт его слегка обозначался, словно оживший и страшный кусок этой черноты. Чуть бледнеющая полотняная кепка увенчивала страшный силуэт.

Он стоял неподвижно в густой черной тени и чего-то ждал. Но чего? Омерзения догадки пронзило мальчика: он ждет, когда мы разойдемся! Так, значит, мама была права!

— Ну, а потом? — донесся до него голос Чика. — Ты что, оглох?..

— Его искали все летчики, — сказал Ремзик, напрыгая волю, чтобы никто ничего не заметил, — но нашел его мой дядя. Он верил в него и потому правильно искал... Он верил...

— Да, знаем, что верил, — перебил его Чик, — но почему именно он нашел его?

— Потому что он верил, — упрямо повторил Ремзик, — он верил, что его друг такой же опытный летчик, как и он сам. К тому времени уже мало оставалось опытных летчиков. На аэродроме только их двое и оставалось, и потому он верил в него. В лесах бываю тысячи всяких полян. Но дядя верил в него и потому искал его по-своему. Он снижался только над теми полянами, на которых сам мог бы приземлиться. А над другими полянами не снижался, потому что друг его был такой же опытный летчик, как и он сам... И учите, — продолжал Ремзик, — дядя рисковал жизнью, потому что немцы могли найти самолет его друга и устроить там засаду. И потому он спешил, чтобы опередить немцев.

— Но ведь товарищ его мог бы махнуть рукой, — сказал Лёсик, — тогда было бы ясно, что там немцев нет...

— Махнуть рукой... с горечью повторил Ремзик и украдкой глянул в тень, где продолжало стоять что-то темное, зловещее. — По-твоему, он сел в тылу врага и зажил в самолете, как в кибитке? Нет, он спрятался в лесу и только по гулу мотора догадался, что это наш самолет кружится над поляной. Он выбежал на поляну, дядя посадил его в свой самолет и вернулся на аэродром. Он был отчаянным храбрецом, он даже предложил командованию сейчас же лететь туда с механиками, починить повреждение и забрать самолет...

— Но почему «было», Ремзик, — спросил Абу, — он ведь жив?

— Конечно, жив, — сказал Ремзик с мстительной силой и снова нащупал глазами ненавистную тень в полотняной кепке.

Он подумал: тот ждет, чтобы мы все разошлись, а потом войдет через парадную дверь и ляжет в комнате, в которой дядя жил со своей женой. Там даже нет второй кровати.

— Пацаны, тише, кажется, «мессершмитт» летит! — сказал Чик.

Ребята замерли, прислушиваясь, но в этот миг в доме заиграли пластинку под названием «Брызги шампанского», и вдруг, словно пластинка сама вдребезги разлетелась на Чернявской горе с кажим-то запоздалым бешенством залялаи зенитки.

Девочки в доме завизжали и выключили патефон. Мальчики вскочили на ноги и, подняв головы, искали в небе одуванчики разрывов. Но их не было видно. Только было слышно, как высоко в небе раздаются еле различимые звуки разрывов, похожие на тот звук, который издают губы человека, когда он пускает изо рта кольца табачного дыма: пух, пух, пух.

Снова загремели зенитки. По небу зашорхались проекторные лучи. К зениткам на Чернявск присоединились зенитки с Мазка. Проекторные лучи то скрещивались, то разбегались, но самолета не было видно, и только позвякивали оклеенные окна домов, отражая залпы зениток.

В промежутках между залпами высоко в небе продолжал зудеть «мессершмитт». Потом залпы совсем замолкли, а по небу все еще бегали проекторные лучи, словно чувствуя свою вину за то, что не смогли остановить или вовремя заметить немецкого летчика.

— Опять ушел, — сказал Чик и сердито сплюнул.

— На Чернявке девчонки-зенитчицы, кого они могут сбить? — сказал Абу презрительно.

— Я и то раньше услышал, — сказал Чик.

— Настоящие зенитчики на фронте, — сказал Ремзик, — кто их будет держать в тылу?

Он очень боялся, что кто-нибудь из мальчиков заметит его волнение. Кажется, никто ничего не заметил.

Он снова взгляделся в тень дома на противоположной стороне тротуара, но там сейчас никого не было. Может, мне тогда показалось, подумал он. Вернее, попытался подумать. Но он знал, что ему ничего не показалось.

Человек этот стоял в тени дома, расположенного рядом с их домом. Если бы он оттуда ушел направо, ему пришлось бы проходить мимо школьного забора, где очень короткая тень и его было бы видно. Если бы он, пройдя дом Ремзика, пошел бы дальше, то его было бы видно в промежутке между их домом и домом Чика, там тоже короткая тень от забора.

Значит, он вошел в их дом через парадный вход, который открывали только, когда приезжал дядя, и раньше, когда еще был папа...

Давняя боль пронизала Ремзика, словно новая боль сорвала кожу со старой раны. Па, а больше никогда, никогда не средейфно! Ведь я все-таки был тогда маленьким! Ты же помнишь! Мне же было тогда восемь лет!

...Он подумал: наверное, когда мы выходили со двора Чика, он как раз подходил к нашему дому и, заметив нас, остановился в тени. А мы, как назло, сели на крыльце директорского дома, и он не мог сдвинуться с места, так как боялся, что я его замечу.

Девочки в доме снова завели патефон. И снова музыка сладостной болью обволокла его душу. Эта пластинка называлась «Приорит».

— Ну, я пошел, — сказал Ремзик и встал с крыльца.

— А как же самолет? — спросил Чик.

— Какой самолет?

— Ну, тот, который сел в брянском лесу, — напомнил Чик.

— Ах, тот, — вспомнил Ремзик, чувствуя, что потерял вкус к рассказу, — им не разрешили спасти его...

— Ремзишу, ты уходишь? — спросила Вика, появляясь в окне.

— Да, — сказал он сухо, — мне завтра рано вставать.

— Спокойной ночи, Ремзик, — сказала она, как бы растворяя сухость его ответа своей доброжелательностью.

— Спокойной ночи, — ответил Ремзик.

— А на море когда? — спросил Чик.

— Часиков в одиннадцать, — ответил Ремзик, не оборачиваясь, — я тебе крикну.

Он подошел к калитке, просунул руку сквозь штакетник и скинул крючок. Калитка, скрипнув, отворилась. Но почему-то его собака не кинулась навстречу. Обычно она лежала у крыльца под огромным столбом магнолии, где между толстыми, уходящими в землю корнями нашла себе уютное место.

С начала войны, когда в городе с продуктами стало очень трудно, мама вместе с тремя детьми, из которых Ремзик был самым младшим, переехала в деревню Анхара, где работала в больнице и жила в доме сестры.

После того, как ее младший брат женился и привез из Москвы жену, Ремзика решили оставить в городе, чтобы тете Люсе не было страшно одной.

С тех пор они жили здесь, и Ремзик ходил на базар, получал по карточкам продукты и присматривал за садом. Вообще с тетей Люсей ему жилось хорошо. Она была добрая, щедрая, красивая, Ремзик это знал точно. На нее посматривали мужчины. Один парень, живший на их улице и приехавший домой после госпитала, однажды, увидев их вместе, крикнул Ремзику:

— Ремзик, родственника не хочешь?

— Ты что, — ответил ему Ремзик, удивившись его неосведомленности, — тетя Люся — жена дяди Багра-та!

— Ну и везет же некоторым, — сказал этот парень и посмотрел на свою вытянутую раненую ногу.

Тетя Люся улыбнулась ему, всем своим видом показывая, что она ценит признание фронтовика.

Да, Ремзику нравилась жена дяди, ее красота казалась ему заслуженным подарком для дяди. Единственное, что огорчало его, — мама явно не любила тетю Люсю. Это его сильно огорчало, но он успокаивал себя тем, что мама сама очень любит младшего брата и ревнует ее к нему. Он знал, что это с женщинами бывает.

Веранда была освещена электрической лампочкой, потому что отсюда свет не виден из улицы. Стол накрыт. На нем стоял чайник, укрытый полотенцем, хлебница с четырьмя кусками хлеба, банка с джемом и бутылка с сиропом.

Не останавливаясь на веранде, он прошел в прихожую, прошел мимо своей комнаты и в столовой увидел тетю Люсю и ее подругу Клаву. Тетя Клава, стоя на четвереньках и выпития зад, шарила веником под кушеткой, пытаясь выгнать оттуда собаку. Но Барс в ответ только рычал. Он почему-то не хотел вылезать из-под кушетки.

Тетя Люся, держа в руке керосиновую лампу и низко склонившись над тахтой, что-то искала на ней. Ремзик понял, что она ищет клещей, которые были на собаке, хотя он часто купал ее в море.

Тетя Люся была очень безразлична и не любила кошек и собак. Ремзика всегда удивляла и огорчала

эта ее черта. Во всем остальном она была очень добрая. Вернее, до сегодняшнего вечера казалась такой.

Сейчас она была в ночной рубашке с большим вырезом на груди. Тяжелый пучок золотистых волос приподнят на затылке. Ладонью прикрывая от окна свет и низко склонившись над тахтой, она внимательно осматривала каждый кусок ковра, озаренный пятном света. Ладонь, прикрывавшая лампу, просеивала розовую кровь.

Обе женщины были так увлечены, что не заметили, как Ремзик вошел в комнату. Дверь в спальню была слегка приоткрыта. И в этой приоткрытой двери он увидел заднюю ножку кровати, простыню, свисающую с края растеленной постели, и на одном из двух шаров, увенчивающих спинку кровати, нахлобченную полотняную кепку. Спальня была освещена светом луны, падавшим из невидимого отсюда окна.

Мальчик сделал еще один шаг так, чтобы в приоткрытую дверь ничего не было видно. Сейчас он был услышан, и тетя Люся осторожно, чтобы не опрокинуть лампу, повернула к нему голову. Теперь ее нежное лицо, озаренное лампой, светилось розовой кровью, так же, как и ладонь.

— Помогите нам выгнать Барса, — сказала она, — мешаю мути от его блох.

— На нем клещи бьют, — ответил Ремзик, — блохастым он никогда не бывал.

— Тем хуже, — сказала она, нахмурившись, и опять склонилась над кушеткой, — я, по-моему, видела эту мерзость... но никак не могу найти.

Ремзику показалось, что она нахмурилась из-за того, что дверь в спальню была приоткрыта, и он мог что-нибудь увидеть.

— Барс, ко мне, — сказал Ремзик, и собака, не выходя из-под кушетки, радостно застучала по полу хвостом.

Тетя Клава продолжала стоять на четвереньках, выпятив зад.

— Барс, ко мне, говорят!

И собака вылезла из-под кушетки и, виновато виляя хвостом, подошла к мальчику.

— Ужик на столе, — сказала тетя Люся, — можешь весь хлеб съесть...

Когда он вместе с собакой вышел в переднюю, то услышал из столовой голос тети Люси, вернее, угадал значение слов, произнесенных тихим раздраженным голосом: «Дверь прикрой...»

Ремзик вышел на веранду и остановился, не зная, что делать. Он посмотрел на Барса, собака тоже посмотрела на него, словно спрашивая: «Ну, что теперь будем делать?»

И эта полотняная кепка, нахлобнутая на шар и упирающаяся в приоткрытую дверь, и упорные поиски клещей на кушетке, и розовеющая кровь в свете лампы, и оттопыренный зад тети Клавы, и попытки выгнать упирающегося Барса — все это слилось в его душе в картину невыносимой гнусности.

Все-таки он вспомнил, что с обеда голоден, и сел к столу. Он налил себе остывшего кипятка, закресил его сиропом и, доставая ложкой из банки мандариновый джем, мазал его на хлеб и ел, заливая теплым чаем. Джем был, как всегда, прогорклый, и третий кусок хлеба Ремзик ел без джема, хотя в банке его еще было много. Последний кусок хлеба он бросил собаке.

Выпив чаю, он продолжал сидеть за столом, не зная, что делать. По возне в столовой чувствовалось, что там продолжают искать клещей. Он подумал: они ищут клещей, а Эгот притягивает в спальню и ждет, когда она придет к нему и ляжет вместе с ним.

Временами с моря доносился ночной ветерок, и листья виноградных плетей, вьющихся под карнизом веранды, тихо полопали. Гроздь недозрелой «изабеллы» темнела в зеленых гирляндах листьев. Он дотянулся рукой до ближайшей грозди и машинально отщипнул несколько ягод. Кислая мякоть сочилась на горло. Он сплюнул шкурки на пол. Барс тотчас же слизнул их.

Ремзик подумал: оказывается, она предательница, а я ей еще магнолии рвал.

Примерно в неделю раз он влезал на дерево и срывал тяжелую, пахучую чашу цветка.

— Божеество, — говорила она, окуная лицо в белоснежные лепестки.

Может, она для Эгота украшала цветами магнолии свою спальню? Он подумал и честно откинул такую возможность. Она Эгота еще не знала, она еще даже не работала, когда просила сорвать ей цветок магнолии. А ведь первый раз сорвал ей этот цветок дядя, когда они только что вместе приехали из Москвы.

Он с грустью вспомнил тогдашнюю радость. Сколько было праздничного народу в доме, сколько стояло на полу небрежно полураскрытых чемоданов, откуда, как ему казалось, вываливались несметные сокровища ее одежды, какой она была радостной хохотушкой, как бесконечно чмокала дядю, как с Ремзиком бегала по саду, удивляясь южной пышности цветов, фруктовым деревьям и даже всяким сорнякам, которые здесь, оказывается, вымахивают до размеров, неслыханных в Москве! Как он тогда любовался ими обоими, как он с тайной щедростью позволял ей любить его!

На следующий день после приезда дяди в доме было много гостей, все радовалось его приезду и женитьбе, и все крепко выпили, а потом, когда гости вышли на веранду, тетя Люся показала на огромный цветок магнолии на вершине дерева, и дядя полез сорвать его, а гости, стоя на веранде и на лестнице, сами крепко выпившие, смеялись его чудачеству и подзадоривали дядю. И только мама, побледнев, стояла на крыльце, повторяя одно и то же: — Баграг, ты же выпивший... Баграг, ты же выпивший...

— Чуб ночной бомбардировщик рухнул с экой-то паршивой магнолии!.. — рычал он, карабкаясь с ветки на ветку, и наконец дотянулся до цветка, обломал его и стал спускаться вниз.

Ремзик навсегда запомнил, как он висел на последней ветке с огромным белым цветком, зажатым в зубах, слегка покачиваясь и косясь из земли, чтобы прыгнуть, переложив тяжесть на здоровую ногу, наконец под смех и гром рукоплесканий спрыгнул и, не удержавшись на здоровой ноге, упал на землю, но тут же сделал вид, что он нарочно повалился, а она вместе с Барсом подбежала к нему, целуя его и подымая с земли. Гости продолжали смеяться и хлопать в ладоши, и только мама, скрывая радость, сказала:

— Людуй постыдитесь...

...громко разговаривая, по улице прошли мальчики, с которыми он сидел на ступеньках крыльца.

— Я же говорил, угостят, — сказал Чик.

— Ты всегда угадываешь, — воскликнул Лёсик.

— У меня нюх, — сказал Чик.

— Но ты же не знал, что будет арбуз, — заметил Абу.

— Я знал, что-то будет, — это главное, — ответил Чик.

— Пацаны, значит, завтра на море? — раздался голос Абу уже издалека, и было ясно, что Чик и Лёсик свернули к своему дому, а Абу пошел дальше, к себе, и уже оттуда крикнул.

— Да,— ответил Чик,— ко мне Ремзик зайдет, и мы тебе крикнем.

— Собак возьмете?

— Там видно будет,— важно сказал Чик, и Ремзик услышал, как хлопнула калитка в соседнем доме. Грустная зависть к их беззаботности охватила Ремзика. Неужели и я до сегодняшнего дня был такой же, как они, подумал он. Он почувствовал, что больше никогда, никогда не сможет быть таким.

Дверь прихожей открылась, и тетя Люся вышла на веранду.

— Ты еще не спишь?— спросила она, пожевывая от ночной прохлады, скрепящая и с любовью поглаживая свои тонкие, голые руки.— Клава остается у нас...

— Знаю,— с невольной прозорливостью ответил он.

— Знаешь?— переспросила она и посмотрела ему прямо в глаза.

Он не выдержал ее взгляда и опустил свой. У него были огромные наивные глаза, из-за которых дядя шутил называл его «Птица Феникс».

— Ну да,— сама ответила она за него,— уже ведь поздно... Ложись и ты...

— Мне неохота,— сказал он и неожиданно для себя добавил:— Я буду спать здесь...

Это было неосознанным желанием отделиться от них. Он подумал: тетя Клава остается здесь, потому что Этод остается здесь. Он подумал: так они решили на случай, если приедет кто-нибудь из родственников или дядя.

За этот год дядя трижды прилетал с попутным транспортным самолетом и всегда ночью. Ремзика будили, и устраивался замечательный ужин с жареными бататами, с американской свиной тушенкой, с каким-то чудесным, белым, как снег, хлебом. Консервы и хлеб всегда привозил дядя.

Однажды он приехал с тем самым летчиком, которого спас. Они были чем-то похожи друг на друга: оба коренастые, небольшого роста, и у обоих грудь, как в панцире, в медалях и орденах. Какое счастье было прогуливаться с ними по набережной и видеть, как девушки так и стрелют в них глазами, а пацаны с уважительной завистью смотрят на Ремзика.

В такие минуты Ремзик в глубине души надеялся, а иногда даже был уверен, что за ними тайно наблюдает кто-нибудь из тех людей, которые должны разбираться в деле отца с этой распродажей ртутью. Он думал, что этот тайный наблюдатель приздается, глядя на дядю, и скажет себе: не может быть, чтобы в одной и той же семье был и вредитель и такой бравый летчик, весь в орденах. Надо как следует изучить историю с этой ртутью, найденной в горах, может, отец Ремзика и в самом деле ни в чем не виноват...

К сожалению, дядя во время этих неожиданных прилетов бывал дома не больше двух-трех дней, а в последний раз сказал, что теперь не скоро прилетит, потому что фронт ушел вперед и аэродром перебазировался.

...Она снова вышла на веранду, держа в руках две простыни и подушку.

— Что это ты киснешь, «Птица Феникс»?— спросила она, взметнув простыню и постелив ее на топчане.— Сейчас я тебе взвою подушку...

Все это она делала и говорила, как ему сейчас казалось, с невыносимой фальшью. Особенно фальшивым ему казалось, что она осмелилась его называть так, как называл дядя. Она и раньше иногда его так называла, но сейчас это было невыносимо.

— Ложись,— сказала она.

Он сдвинулся с места. Он подумал: она хочет,

чтобы все в доме успокоилось, и она бы спокойно ушла к Этому.

— Мне еще ноги надо вымыть,— все же добился он, смягчая свое упрямство.

Она в это время стояла у раковины и долго чистила зубы, потом так же долго мыла лицо и руки с мылом, а потом так же невыносимо долго вытирала их полотенцем.

Она пожелала ему спокойной ночи, выключила свет и вошла в дом, закрыв изнутри дверь на цепочку. Он слушал ее шаги. Вот она вошла в столовую, что-то сказала тете Клаве, которую почему-то фальшиво называла компаньонкой (раньше казалось смешно), потом вошла в спальню и прикрыла за собой дверь.

Мерзость! Мерзость! Мерзость!

Он встал со стула, снова зажег свет и, сняв свои «Мухус-Соии», вынул их под краном и вынес на лестницу сушить. Потом он вымыл ноги и сел на постель, дожидаясь, чтобы они высохли. Ноги приятно холодило после обуви, горящей и саднящей ступни.

«Оказывается, я был дурак,— подумал он,— оказывается, мама была права». После первого отъезда дяди тетя Люся устроилась работать в бухгалтерию военного госпиталя. У нее было неплохое высшее образование, и мать Ремзика, которая сама там раньше работала, помогла ей устроиться.

В госпитале был кружок пения, которым он руководил этот доктор и в котором сам он пел. Кружок посещала тетя Люся, и там они познакомились. Ремзика несколько раз провозжал ее туда и слышал, как они поют. И вот что удивительно: тогда Ремзику показалось, что тетя Люся очень плохо поет, а этот доктор ее востро расхваливал. Он подумал, что, наверное, он, Ремзик, ничего не понимает в этом деле, или доктор слишком добрый.

Вернее, в глубине души он был уверен, что она и в самом деле плохо поет, хотя во всем остальном прекрасна. В конце концов он решил: или доктор слишком добрый, или его кружок чересчур плохо посещают другие сотрудники госпиталя. Он знал по школе, что такие вещи случаются. Теперь он понимал, как был прав. Оказывается, доктор подхалимничал перед ней, чтобы склонить ее к предательству.



Жена Баграта любила своего мужа так, как она могла любить и как, по ее разумению, любили другие молодые женщины в ее окружении. Она заранее не думала, что изменит своему мужу, но соблазн, существующий для всех людей, а для красивой женщины в особенности, не был огражден той силой нравственного воображения, которая за долго до реальной опасности подает сигналы тревоги и за долго до нее заставляет женщину достаточно тонкого душевного склада мучиться угрызениями совести так, как будто уже все случилось, и тем удерживает ее от соблазна.

И когда все случилось, она сначала погрустила, а потом решила, что во всем виновата война, да и он, Баграт, писавший ей, чтобы она не скучала, а развлекалась и веселилась, как могла.



Да,— думал Ремзик, вспоминая этот кружок пения,— я был прав, но больше всех была права мама.

Мама раз или два в месяц приезжала в город и привозила из деревни фрукты, зелень, кукурузную муку, иногда курицу.

Первая стычка мамы с тетей Люсей произошла из-за тети Клавы. Тетя Клава работала в том же гос-

питале фельдшерницей. Она там работала еще тогда, когда госпиталь был обыкновенной больницей и мама тоже там работала. Поэтому она ее знала.

Мама сказала про тетю Клаву, что она нечистоплотная женщина. И Ремзик тогда решил, что мама неправда, а права тетя Люся, которая говорила, что сй скучно одной и ей нужна компаньонка.

Ну, ладно, думал он, пусть это и глуповатое слово, но при чем же здесь нечистоплотность? Правда, тетя Клава у них часто бывала и иногда даже готовила, но никакой особой нечистоплотности он за ней не заметил. Очень даже вкусно она готовила, особенно пирожки, когда собирались гости.

Теперь он понял, что взрослые это слово могут употребляют совсем в другом смысле. Оказывается, это слово может означать предательство женщиной мужнины или мужниной женщиной. Но ведь тетя Клава не замужем, подумал он, кого же она предала? Наверное, у нее был жених, решил он, и она его предала.

Он вспомнил последний приезд матери и неприятности, связанные с этим приездом.

Тетя Люся была на работе, и Ремзик остался дома один. Мать обошла все комнаты и, вернувшись на веранду, грустно уселась на топчане. Она некоторое время молчала, а потом посмотрела на Ремзика, сидевшего напротив за столом. Он ел вареную кукурузу, привезенную матерью из деревни, намазывая початок аджикой.

— Ремзик, — сказала она, — по-моему, этот доктор ухаживает за Люсей.

— Какая глупость, — ответил ей Ремзик, продолжая жевать кукурузу. — У него есть жена.

— Ты ничего не понимаешь, — вздохнула мать и с неприятной задумчивостью уставилась в какую-то точку.

Ремзик страшно не любил, когда она вот так устывает в одну точку и словно проваливается куда-то. Ему всегда было жалко ее в такие минуты, но не сейчас. Это было оскорбительно, что она подозревает в предательстве жену дяди.

— Я же лучше знаю, — сказал он раздраженно, — у него есть жена и двое детей... Они живут в военном городке...

Он заметил, что она его не слушает. Уставилась в пространство и думает о своем.

— Господи, — сказала она, — какой доверчивый дурак... Женился на девушке, встреченной на улице...

Мама заплакала, а он продолжал есть кукурузу, хотя есть ее уже не хотелось. Ему было и жалко маму и неловко, что она оскорбляет тетю Люсю, и он чувствовал раздражение за мамину какую-то неосервенность. Ведь это раньше так было, что, если муж уходит на войну, жена только и делает, что нянчит детей и смотрит на дорогу. Сейчас совсем другое время, сейчас ничего плохого нет, если муж на войне, а жена иногда повеселится. Дядя сам ей в письмах писал, чтобы она не скучала.

— И что это за сборище... продолжала мать сквозь слезы. — Такая ужасная война... Здесь не так заметно, а в деревне каждый день оплакивают кого-нибудь. А они только и знают, что крутят патефон...

Ему совсем расхотелось есть кукурузу, но жалко было выбрасывать наполовину съеденный початок. Он гуще намазал аджику оставшуюся часть початка, чтобы легче шло.

По субботам и воскресеньям в их доме собирались молодые женщины и мужчины, среди которых всегда бывал и доктор. Ему было лет сорок, и Ремзик считал его пожилым человеком. Он даже не понимал, почему они его терпят. Но потом он сообщил, что мужчин и так всегда меньше, чем жен-

щин. К тому же доктор частенько пел и приносил из госпиталя спирт, который мужчины пили, разбавляя водой, а женщины — водой с сиропом.

Ремзик любил эти вечеринки потому, что на них бывало сытно и весело. На столе стояла американская тушенка, масло, галеты и жареные бататы, которые в те времена стали развозить на Кавказе. Играл патефон, и можно было есть, что хочешь, а не тот мандариновый джем, от которого у него всегда бывала изжога.

Мама посмотрела на часы и стала как-то быстро и суеливо вытирать платком лицо. Он подумал: скоро должна прийти тетя Люся, и мама не хочет, чтобы тетя Люся увидела ее такой. Ему стало очень жалко маму.

— Что бы ни случилось, Ремзик, — сказала она, пряча платок, — помни: Баграт ничего не должен знать... Он каждую минуту рискует жизнью...

— Глупости, — сказал Ремзик сурово, — она обо всем ему пишет... Я же лучше знаю...

— Обо всем... — вздохнула она и спросила: — Где ключ от парадной двери? Почему он не висит на месте?

В самом деле, вдруг подумал он, и что-то ёкнуло у него в груди, ключ не висит на месте. Он и раньше это заметил, но не придавал значения. В следующее мгновение он вспомнил, до чего рассеянная бывает тетя Люся и как много вещей она забывает, где положила.

— Через парадную дверь никто не ходит, — сказал он твердо, — мало ли куда она могла положить ключ...

Вечно у мамы какие-то глупости в голове! Он снова почувствовал аппетит и стал грызть кукурузу.

Мама опять устала в одну точку. Ремзик быстро доел початок, боясь, что она новым вопросом испортит ему настроение.

— Во всяком случае, ты на этих сборищах не сиди, — сказала она, выходя из задумчивости, — иди к соседям или читай у себя в комнате.

— Хорошо, — сказал он, чтобы успокоить ее, и выбросил голую кочерыжку во двор.

Барс вскочил из-под магнолии, где он сидел, и, подбежав к кочерыжке, стал выкусывать из нее остатки кукурузных зерен.

— Только бы окончилась война, — сказала вдруг мама, и лицо ее приняло неприятное, жесткое выражение, — духу ее здесь не будет...

...Потом пришла тетя Люся, и мама как ни в чем не бывало разговаривала с ней, спрашивала про работу, про письма от Баграта, и они вдвоем приготовили обед, и Ремзику показалось, что мама забыла свои подозрения, потому что они мирно втроем пообедали и она даже не вспомнила про ключ.

Мама уезжала вечерним автобусом, и Ремзик провожал ее до станции. Она села в автобус, и он стоял возле нее у открытого окна и ждал, когда тронется машина.

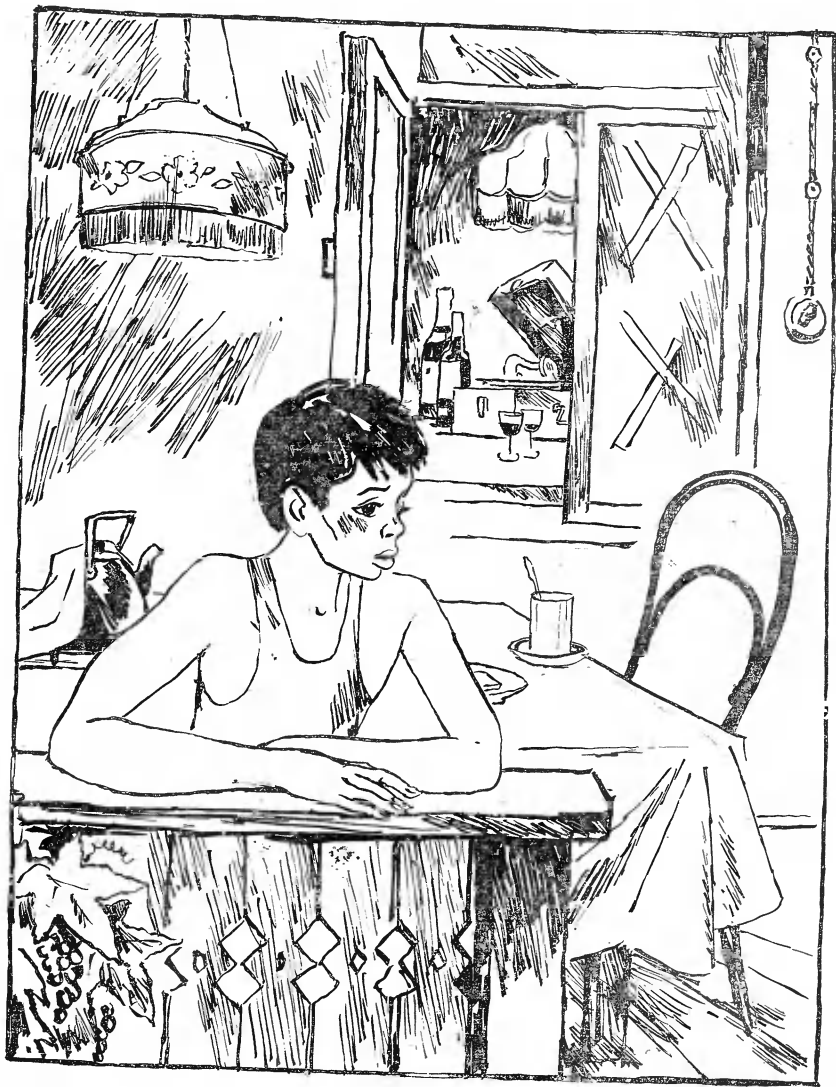
— Следи, — вдруг сказала ему мама из автобуса, — если это подлец будет приходить.

— Отстань, — сказал он раздраженно, а мать, вздохнув, печально замкнулась.

Он с нетерпением ждал, когда отойдет автобус. Он понял тогда, что ничего не забылось, а затаялось еще глубже. Главное, мама никак не могла понять, что своими подозрениями она унижает не только тетю Люсю, но и своего любимого брата.

И вот оказалось, что все правда! Стыд и мерзость! Стыд и мерзость!

Сейчас Ремзик с особенным омерзением вспоминал, что однажды на вечеринке этот доктор, которого долго просили спеть, наконец согласился и, встав возле тети Люси, большой, как памятник, вдруг



рухнул на колени и пропел арию из «Евгения Онегина»:

Любви все возрасты покорны,
Ее порывы благотворны...

Ремзик тогда хохотал до слез! Было так смешно, что он сам несколько раз просил его повторить этот номер, но доктор не соглашался. С какой-то режущей душу гадливостью теперь он вспоминал странную многозначительность на лицах некоторых гостей. Тогда это казалось ему особенно смешным, потому что они как бы подыгрывали ему, делая вид, что всерьез верят его признанию. Значит, они все знали, знали!

Но, главное, она! Как она сидела, потупившись, и слушала его, а он-то думал, и она подыгрывает! Порыв ночного ветерка задумчиво прошелестел в саду. Тени виноградных плетей, свисающих под карнизом, качнулись на веранде. В саду упала груша, прошелестела в траве. Барс, сидевший возле топчана, сонно зарычал.

Ремзик разделся и, оставшись в одних трусах, лег и укрывшись простыней.

Она предала дядю. Это так же точно, как то, что сейчас ночь, как то, что он лежит на топчане и Барс лежит возле него на полу, а они лежат в бывшей маминской комнате.

Надо закричать, надо прогнать их из дому! Но ведь тогда дядя все узнает, а мама сказала, что ему ничего нельзя говорить, он же на фронте. Но Ремзик понимал не только это, он знал, что ему было бы стыдно сказать им что-нибудь. Он подумал: ведь если не сказать, значит, и я предатель, ведь я остался здесь за мужикну.

Но он знал, что ему будет стыдно сказать это. Это было так гадостно, как съестъ живую змею.

Он подумал: раз я это знаю и ничего не делаю, значит, я тоже предаю. Он никогда бы не поверил, что такое случается в наши дни. По книгам он знал, что такие вещи случались в далекие доореволюционные времена. Но он не знал, что такие вещи случаются и в наши дни. Тем более с женой его дяди.

Но как же он сможет любить дядю, когда дядя придет? Ремзик с полной ясностью понял, что теперь не имеет права даже подходить к нему, а не то чтобы гордиться им. Ведь получается, что и он предает, раз знает и ничего не делает.

«Ты уже предал папу, а теперь предаешь дядю!» — пронзился его страшная догадка, и он застонал от боли.

Барс встал, и, цокая когтями, подошел к его изголовью, и ткнулся носом в подушку. Не дождав-шись ответного внимания, собака улеглась рядом с ним.



То было еще до войны. Ни одному человеку в мире он не признался бы в этом. Ни один человек в мире, только он один знал, что это так.

Ночью он внезапно проснулся от страха. Еще ничего не зная, он уже знал, что случилось страшное. В доме горел свет, и по дому ходили чужие люди.

— Сейчас, — услышал он голос отца, открывшего дверь в комнату, где спали дети.

Это слово он услышал, уже проснувшись, и, словно откинув кусок сна, он услышал предыдущую фразу одного из этих людей, которому ответил отец.

— Мы и так задерживаемся, — сказал тот.

— Сейчас, — сказал отец и открыл дверь в комнату, где спали дети.

Отец вошел в комнату и стал над его кроватью. Один из чужих вошел в комнату за отцом и остановился в дверях.

И Ремзика сковал ужас. Он продолжал лежать с закрытыми глазами, делая вид, что спит. Он чувствовал запах отца — смесь запаха табака и еще чего-то, связанного с навьюченными лошадьми, ночными кострами, палатками, землей. Отец был геологом, и запах отца был не только запахом отца, он был запахом семьи, семейного праздника, потому что отец надолго уезжал в экспедиции. Во время одной из них в горном селе Чегем, откуда мама была родом и где, только окончив институт, работала врачом, они познакомились и поженились.

Видно, отец не решился разбудить Ремзика. Ведь он лежал с закрытыми глазами, а свет, проникавший в комнату из открытых дверей, был достаточно сильный, чтобы разглядеть его лицо. Ремзик это чувствовал.

— Может, в самом деле не стоит, — тихо сказала мама, входя в комнату, — зачем пугать...

Отец постоял еще несколько мгновений над его кроватью, и они все вышли из комнаты, но запах отца продолжал стоять над ним с такой же отчетливостью, как если бы отец еще был здесь.

— Обязательно сходи в управление, — услышал он голос отца уже с веранды, — я хочу, чтобы все было ясно, чтобы там разобрались как следует.

— Конечно, — ответила мама, и голос ее сорвался, — помни... сколько бы... сколько бы... я всегда...

Он почувствовал всю силу ее отчаяния, он почувствовал ее желание уверить отца в беспредельной прочности того, что остается за ним, и даже попытку в последний миг назвать отца по имени, но она так и не решилась. Хотя отец был русский, мать по абхазскому обычаю никогда не называла его по имени.

Мама все еще стояла на веранде. Ремзик лежал с закрытыми глазами, чувствуя запах отца и неосознанно боясь, что этот запах исчезнет, как только он откроет глаза. Запах отца постоял немного, а потом тихо-тихо улетучился.

Да, он тогда испугался и не открыл глаза, и отец не решился разбудить его. С тех пор прошло много месяцев, и чувство вины перед отцом все реже и реже приходило, но иногда восстанавливалось с первоначальной силой.

Он знал, что отец его геолог и во время одной экспедиции нашел в горах руту. Но потом оказалось, что допущена какая-то ошибка.

Так говорили маме. Но Ремзик ничего не мог понять. Он никак не мог понять, почему отец один отвечает за эту ошибку. Вспоминала следующее утро после ухода отца, разбросанные книги, выдвинутые ящики комода и шкафов, он решил, что они в ту ночь искали карту, чтобы обнаружить ошибку. Он понимал, что все это глупо, но почему взрослые мужчины, которые занимаются этим делом, не видят этого, он не понимал.

От отца пришло несколько бодрых (слишком бодрых, Ремзик это почувствовал) писем из Воркуты. Отец писал, что работает в шахте, чувствует себя великолепно, но очень просил прислать теплых вещей и чеснока.

Иногда мама говорила, что казнит себя за то, что не разрешила отцу попрощаться с детьми. И каждый раз, когда она это говорила, Ремзик чувствовал, что он! он! он! виноват в том, что отец не попрощался с детьми.

Отец его, как самого маленького, больше всех любил и потому первым делом подшел к его кро-

вати. Он столько раз об этом думал, что пришел к выводу, что именно его (неспящего!!!), как самого маленького, он не решился разбудить и потом уже, исчерпав время, отлученное на прощание с детьми, не стал подходить к остальным. Может, он даже решил, что если попорочится с остальными, не разбудив Ремзика, то Ремзик утром обидится на его отца.

И вот теперь с дядей случилось такое. Но что же он должен сделать? Ужасная тоска охватила Ремзика. Он вытятил руку из-под простыни и нашарил в полутьме собачью голову. Он стал гладить собаку и почувствовал, что ему лучше. Но потом рука у него устала, и он перестал гладить собаку. Рука безвольно опустилась вниз. Барс дотянулся до его руки и стал лизать ее. Ему опять стало немного легче.

Луна уже скрылась, и в саду было темно. Черные гирлянды виноградных плетей покачивались над верандой, то открывая, то закрывая кусок звездного неба. В саду опять упала груша.

Он подумал: надо будет завтра подобрать эти груши. Он решил больше не есть в этом доме. Надо завтра уехать к маме. А если она рассердится на его отъезд и обо всем напишет дяде? Он опять почувствовал тоску безысходности. Но все-таки решение завтра с утра уехать немного успокоило его, и он уснул.

Он проснулся рано, быстро оделся, вышел на крыльцо и натянул на ноги свои «Мухус-Сочия». Они еще были влажные, и шершавая резина неприятно щемила ступни ног. Он знал, что это через некоторое время пройдет, обувь разосхнет.

Он поел винограду, прямо с ветки отщипывая спелые ягоды, чтобы не портить всю гроздь. Виноград был прохладный и очень вкусно сохлещивал в горло. Барсу Ремзик тоже бросал спелые ягоды, отщипывая их от тугих прохладных гроздей.

Он знал, что никогда сюда не вернется. Во всяком случае, не скоро, во всяком случае, винограда тогда уже не будет. И все-таки отщипывал от гроздей только спелые ягоды. Он не знал, зачем так делает, только знал, что это правильно.

На веранде он нашел огрызок карандаша, нашел в старой тетради, лежавшей в ящике стола, полстраницы чистой бумаги, на которой кончалось сочинение с отметкой «хорошо», выведенной красивым почерком Александры Ивановны, его учительницы. Это было всего несколько месяцев тому назад, а кажется, так давно, как будто в другой жизни. Он оторвал ту часть страницы, которая была чистой, так, чтобы не задеть подписи Александры Ивановны и отметку.

Он подумал, подумал и написал: «Я навсегда, навсегда уезжаю к маме. Ремзик». Он прочитал написанное и решил, что два раза повторять одно и то же не стоило. Он подумал, что это звучит так, как будто он собирает ее разжалобить. Ремзик замарал карандашом одно из двух повторенных слов.

Он положил записку под банку с джемом, чтобы ее не дуло ветром.

Он опять открыл ящик стола, вложил туда свою тетрадь и выбросил огрызок карандаша. Закрыв ящик, стараясь не шуметь, но потом вспомнил, что поводок тоже лежит в ящике, и, стараясь не шуметь, вынул его, снова открыл и закрыл ящик.

Он надел на собаку поводок, вышел в сад и пошел к подножию старой груши. Ноги его сразу промокли в густой росистой траве, но он, держа собаку на поводке, развигзал ногой траву и искал спелые груши, которые ночью упали с дерева. Это

была груша, поспевающая осенью, но самые спелые плоды уже падали с дерева. Первую грушу он нашел сразу и положил ее в карман брюк. Вторую искал гораздо дольше, она долго не находилась, но он точно знал, что с дерева упали по крайней мере две спелые груши. Поэтому он искал. Наконец он ее нашел. Груша закатилась в заросли буйрыя, и, пока он ее искал, у него по колено промокли брюки.

Держа Барса на поводке, он вышел на улицу; проснувшись руку сквозь штакетник, закрыл калитку и пошел направо от дома. Проходя мимо парадной двери своего дома, он ускорил шаг, потому что ему было стыдно, если бы Этот как раз сейчас выходил из дому.

Он решил идти не на станцию, а на Эндурскую дорогу, где бывало много полутных машин. У него совсем не было денег, но он знал, что там выезжают военные машины, которые вывозят паз за селом Анкара, и военные шоферы не берут денег, во всяком случае, с ребят.

Он уже дошел почти до конца квартала, когда вспомнил, что обещал Чики пойти с ними на море. Он подумал, что ребята его будут дожидаться, и им не у кого будет спросить, потому что тэтэ Люся уйдет на работу. Он повернул обратно, и Барс стал упираться, но Ремзик прикинул на него, и собака пошла свободной. Она сначала подумала, что они идут на море, а потом решила, что Ремзик почему-то расхотел идти. Барс, в отличие от некоторых собак, например, собаки Чика, любил купаться в море.

Он опять очень быстро прошел мимо своего обещанного дома, подошел к дому Чика и, выткнув руку, слегка постучал по открытому окну.

Никто не отозвался. Он еще раз постучал, на этот раз громче и дольше.

— Эй, кто? — отозвался сонный голос Чика.

— Это я, — сказал Ремзик.

— Чего тебе? — спросил Чик, и его взлохмаченная голова появилась между прутьями оконной решетки.

— Я уезжаю в деревню, — сказал Ремзик, — я на море с вами не пойду.

— Ты что, маляхольный? — ответил Чик сердито. — Что мы без тебя дорогу не найдем, что ли?

— Я ведь обещал, — сказал Ремзик.

— А Барса зачем берешь? — спросил Чик, окончательно просыпаясь. — Оставь мне, я его вместе с Белкой поведу на море.

— Нет, — сказал Ремзик, — я должен ехать с Барсом...

— Ну, пока, — сказал Чик, и по лицу его было видно, что он раздумывает, стоит ему идти досыпать или не стоит.

— Пока, — сказал Ремзик и пошел на этот раз в противоположную от своего дома сторону. Он не хотел в третий раз рисковать встретиться с Этим.

Завернувшись за угол, он вынул из кармана грушу и стал ее есть. Груша была водянистая и не очень вкусная. Скороспелки всегда бывают такими водянистыми и не очень вкусными. Он прошел весь город, перешел Красный мост и остановился в самом начале Эндурской дороги.

В это время подруга жены дяди вышла на веранду и обнаружила, что Ремзика нет в постели. Ей надо было узнать, где он, чтобы доктор мог незамеченным выйти из дому. Она окликнула Ремзика, думая, что он в саду, но никто не отозвался. Она открыла калитку и вышла на улицу, но улица в этот еще довольно ранний час была пустой. Она обратила внимание, что собаки тоже нет.

Она вернулась в дом, постучала в двери спальни и сказала, что мальчик с собакой куда-то ушел.

Жена Баграта сначала встревожилась, но потом вспомнила, что мальчик и прежде иногда рано утром уходил на рыбалку, всегда бэрэ с собой собаку. Правда, он раньше с вечера предупреждал, что уходит, хотя вчера он был какой-то рассеянный, вспомнила она, не удивительно, что забыл.

— Он ушел на рыбалку, — ответила она подруге, — будем завтракать на веранде.

— Хорошо, — ответила та и, выйдя на веранду, зажала примус, убрала со стола, не заметив записки, которая, пока она готовила завтрак, слетела со стола под топчан, где ее через три года обнаружила мать Ремзика.

Они спокойно позавтракали на веранде, потому что веранда была хорошо защищена от улицы деревьями сада. Доктор и Клава вышли из дома вместе, а через некоторое время ушла на работу и жена Баграта, прикрыв полотенцем чайник и оставив на столе хлеб и сковородку с остатками жареных бататов.



У края дороги стоял «студебеккер». Машина была совсем пустая. Ремзик решил, что шофер зашел на базар за какими-то покупками, и стал его дожидаться.

Направо от дороги, на той стороне улицы, был расположен базар. У входа в него сидел инвалид и показывал картонный фокус, на который часто попадались крестьяне, приезжавшие продавать фрукты и овощи.

Инвалид вынимал из колоды валета, даму и короля, показывал их всем и, сбросив эти три карты картинками вниз на мешковину, растеленную перед ним, переставлял их местами, якобы для того, чтобы запутать партнера, а потом предлагал угадать, где валет. Но было совершенно ясно, где должен лежать валет. И вот, когда кто-нибудь из зевак не выдерживал — до того ясно было, где лежит валет, — и начинал играть, оказывалось, что валет совсем в другом месте.

Ремзик, бывало, когда его посылали на базар, подолгу следил за этой игрой. Иногда инвалид нарочно проигрывал некоторое время, чтобы завлечь партнера. Ремзику бывало жалко туговатого на расплату крестьянина, который осторожно вступал в игру, сначала немного выигрывал, а потом подряд проигрывал все деньги, ошалевшими глазами следя за неуловимо исчезающим валамом.

Сейчас тоже возле инвалида стояла небольшая толпа зевак, в которой выделялся высокий парень с неприятным худым лицом, он почти всегда стоял в толпе и время от времени садился играть с инвалидом, часто выигрывал у него и, как подозревал Ремзик, был в тайном сговоре с этим инвалидом. Своими выигрывашами он подзадоривал остальных. Все-таки Ремзик, сколько ни следил за этой игрой, никак не мог понять, почему валет оказывается в другом месте, а не там, где он должен быть.

— На той стороне улицы из ларька выглядывала молодая женщина. Если не было покупателей, она большим половником вытаскивала из бочки с компотом мелкие груши (Ремзик знал, что они самые вкусные в этом компоте), ела их и незаметно выбрасывала огрызки. Ремзик отвернулся.

Звезд бойцов, пропахших могучим солдатским паром, с песней прошел по улице.

Украина золотая, Белоруссия родная,
Наше счастье мо-ло-до-е!
Мы стальными штками отстоим!

Продавщица, как и Ремзик, залюбовалась бойцами, но потом очнулась и, снова достав из бочки пару мелких груш, съела их и, вдруг встретившись глазами с Ремзиком, удивилась его вниманию, словно говоря: «Подумешь, большое дело...»

С базара вышло человек десять матросов, очень веселых и бодрых. Похаживая и подтрунивая друг над другом, они перешли дорогу и стали влезать на «студебеккер». Ремзик сначала заволановался, он хотел попроситься в машину, но потом почувствовал, что от матросов сильно разит чаем и они все здорово выпили.

— Давай, пацан, подвезем! — крикнул один из них, взглянув с кузова на Ремзика и его собаку. — Спасибо, мне не в ту сторону, — сказал Ремзик. Ему неохота было ехать с пьяными матросами. Он не боялся за себя, он боялся за Барса. Пьяные любят поиграть с собаками и не знают меры, и мало ли что может быть.

— Все на месте? — спросил шофер, высунувшись из кабины.

— Полундра! — крикнул кто-то с кузова, и машина рванулась, хотя один из матросов только успел ухватиться за задний борт кузова.

Ремзику стало страшно за него, но матросы в кузове весело загалдели, и несколько человек, выткнув руки, схватили опоздавшего товарища и с небрежной дружелюбностью втащили наконец его в кузов, когда машина уже пылила далеко впереди. У Ремзика отлегло на душе. Несмотря на то, что матросы были очень пьяные, он все-таки невольно любовался ими, пока они влезали в машину, такие они все были brave, здоровые, красивые!

Он терпеливо стоял на тротуаре и продолжал голосовать, но машины или были переполнены или не останавливались.

Было уже около десяти часов утра, и на солнце сильно пекло.

Он стоял в тени камфорного дерева, на каждый раз, когда на мосту показывался более или менее подходящая машина, он выходил из тени и вытягивал руку.

Его брюки из чертовой кожи, промокшие утром в росе, давно высохли и как-то неприятно топорщились.

Проклятые «Мухус-Соичи» тоже сильно пересохли и давили ступни ног.

Он почувствовал голод и, вынув из кармана вторую грушу, съел ее. Несмотря на голод, груша оказалась невкусной, водянистой. От этих скороспелок, подумал он, никогда толку не бывает.

От голода и от долгого ожидания Барс стал капризничать. Он перестал верить, что их может взять попутная машина, и, когда Ремзик выходил из тени, собака упиралась, и иногда приходилось выволакивать ее оттуда.

Возле ларька появилась цыганка с огромным выводком цыганят, то рассыпавшихся, то сбивающихся возле маминной юбки.

Цыганка, прислонившись к прилавку и как-то удобно переломившись, явно уговаривала продавщицу погадать. Та, видно, сначала отказывалась, но потом они сторговались, потому что продавщица наполнила один за другим шесть стаканов компотом, и цыганята все разом потянулись за ними, а некоторые из них были такие маленькие, что едва дотягивались рукой до прилавка.

— Стаканы не разбейте, чертенята, — услышал Ремзик голос продавщицы, и детишки наконец, разобрав стаканы, уgomонились и замерли, кто где стоял, воссеявшись в стаканы.

Продавщица легла грудью на прилавок и поджала ладонь гадалке.

Стоя в жидкой тени камфорного дерева и бесполезно пытаясь обратить на себя внимание проезжающих шоферов, Ремзик вдруг вспомнил, как после дядиной свадьбы, которую справляли в деревне, они большой компанией возвращались домой и долго голосовали на дороге, но ни одна машина не останавливалась.

— Вы не так голосуете, — сказал дядя и, вынув из кармана две красные тридцатки, помчал им перед первым же грузовиком, и тот, как зачарованный, остановился. Да, за что дядя ни брался, у него все получалось...

Наконец, проехав «студбеккер», и Ремзик довольно неуверенно поднял руку, другой рукой подгибая поводок с Барсом. Машина проехала, но потом вдруг остановилась метрах в пятидесяти от него. Шофер выглянул и махнул рукой. Ремзик подбежал к нему, продолжая дергать собаку на поводке.

— Тебе куда, малец? — спросил шофер, выглядывая из кабины.

— Нам до Анхары, — сказал Ремзик и посмотрел на собаку, как бы извиняясь за нее.

— Влезайте, — сказал шофер и показал глазами, чтобы они обошли машину.

— В кабину? — удивился Ремзик.

— А куда же, — сказал шофер, — побыстрей.

Ремзик с собакой бежали машину, и красноармеец, сидевший рядом с шофером, открыл ему дверь. Ремзик уселся на мягкое сиденье, стараясь как можно меньше занимать места, хотя там было достаточно свободно. Он загорлосил ногами собаку, чтобы боец, сидевший рядом с ним, не чувствовал опасности, хотя тому и в голову не приходило, что этой маленькой дворняжке надо опасаться.

Они поехали. В кабине было жарко и пахло бензином. Обычно Ремзик любил этот запах, но не сейчас, когда сказывался недосып, голод и долгое состояние на жарком, пыльном тротуаре.

Сквозь гул мотора однообразным жужжанием доносились голоса шофера и его друга.

— А она что? — спрашивал шофер, не переставая смотреть на дорогу.

— А она ничего, — отвечал дружок.

— А ты что?

— А я свое долдоню...

— А она что?

— Она, грит, приходи завтра...

— А ты что?

— А я, грю, что ж мне в самоволку идти...

— А она что?

— Сегодня, грит, не могу, сегодня, грит, мать не дежурит...

Ремзик задремал под гул мотора и однообразное жужжание голосов.

Машина внезапно остановилась у въезда на Которский мост. Направо от дороги лежал перевернутый «студбеккер», возле которого толпились зеваки и несколько милиционеров, один из которых что-то записывал, расписавшая штатского человека, стоявшего рядом с ним.

Вдруг откуда-то из-за машины выскочил матрос в одной тельняшке, с головой, перевязанной ослепительно-белой марлей. Даже издали было видно, что у него обездвижены глаза, и он, махая руками на дорогу, то на машину, стал что-то объяснять милиционеру, по-видимому, противоречащее рассказу штатского человека.

Ремзик сразу узнал этого матроса. Он был из тех, и, конечно, это их машина перевернулась. Ремзик подумал, что он мог сесть в эту машину, и удивился, что не испытывает никакой радости от этого, что все-таки не сел в нее. Конечно, он не

хотел бы оказаться в той перевернутой машине, но радости никакой от этого не было.

Шофер собрался выйти из машины, чтобы узнать, что случилось с тем «студбеккером», но тут к нему подошла молодая женщина с сумкой и попросила подбросить ее до поселка, где она живет.

Шофер и его дружок стали сажать ее в кабину, а Ремзик постеснялся оставаться и сказал, что он с удовольствием поедет в кузове.

— Ничего, — сказал дружок шофера, — в тесноте, да не в обиде.

— А собака не укусит? — спросила она, осторожно усаживаясь между Ремзиком и красноармейцем. Она была в легком креплешинном платье, и от нее пахло духами, пудрой и тем жаром летней женщины, который, как теперь чувствовал Ремзик, располагает к предательству.

— Нет, — сказал Ремзик, — она не кусается.

— Вот кто кусается, — кивнул шофер на своего друга, и они оба рассмеялись.

Женщина замкнулась, давая знать, что не принимает шутку.

Шофер снова сделал попытку выйти из машины и посмотреть на перевернутый «студбеккер» поближе, но тут стали раздаваться гудки затормозивших сзади машин, и один из милиционеров, стоявших впереди, выскочил на дорогу и стал показывать рукой, чтобы все ехали, а не стояли здесь. Впереди тоже было несколько машин.

— Я видел эту машину, — сказал Ремзик, — там было много пьяных матросов.

— А-а-а, — кивнул шофер и, подумав, добавил: — Не... Я за рулем ни-ни...

Когда въехали на Которский мост, Ремзик заметил, что по реке плывет вниз по течению белесый поток дохлой рыбы. Машина по мосту шла медленно, и, пока она шла к нему, было видно, как много дохлой рыбы идет вниз по течению.

Он подумал, что где-то в верховьях Котора гушили рыбу или травили тем химическим средством, которым лечат чайные кусты. Скорее всего травили, догадался он, потому что от гуления так много рыбы не может погибнуть.

Ему было жалко ни в чем не повинную рыбку и жалко матросов, хотя он не знал, погиб там кто-нибудь из них или нет.

Он снова вспомнил матроса, выскочившего из-за машины в одной тельняшке, с белоснежной повязкой на голове и безумными глазами.

Матрос этот напомнил ему один случай, когда дядя первый раз приехал с женой.

...В тот день они втроем пошли в гастроном покупать продукты по карточкам. В гастрономе была довольно большая очередь. Одна очередь стояла в кассу, а другая — к прилавку. Дядя стал в одну очередь, тетя Люся — в другую, а Ремзик вышел с корзиной на улицу, потому что в гастрономе было очень жарко.

На тротуаре напротив стоял известный в городе бандит Альберт. Голова его была повязана грязной марлей, один рукав пиджака задрнут по локоть, а глаза блещали синцовым безумием. Он был очень пьян. Тротуар напротив гастронома мигом опустел, а Альберт приставал к редким прохожим, явно чтобы подражаться с кем-нибудь из них, но они были или слишком старыми для него, или настолько уступчивыми, что он никак не мог ни к одному из них придраться.

— Моя рука... почти плача, с каким-то странным умилением говорил он, время от времени поднося к носу огромный кулак, нюхая его и как бы опьяняясь его запахом.

Ремзик сразу почувствовал, что Альберт пристанет к дяде, как только тот выйдет из гастронома. Так и получилось. Как только дядя вышел из гастронома рядом с нарядной, красивой тетей Люсей, тот ринулся прямо на него.

— А-а-а, летун! — сказал он таким голосом, словно наконец-таки ему попался человек, с которым он давно собирался свести счеты.

Дядя сделал несколько шагов в сторону Альберта, но не потому, что хотел с ним встретиться, а потому, что им надо было идти в ту сторону. У Ремзика, стоявшего на газоне между тротуаром и улицей, рот пересох от волнения. Он просто слова не мог выговорить. Он до этого заметил, что у Альберта из внутреннего кармана пиджака торчал большой нож.

Он не успел предупредить дядю. Через несколько секунд Альберт стоял против дяди, загромождавая ему дорогу. Дядя держал в обеих руках по кульку и в таком странном виде стоял против бандита.

— Ну, что скажешь? — грозно спросил Альберт и еще ближе придвинулся к дяде.

Дядя продолжал молча стоять со своими кулками, а тетя Люся слегка потянула его за рукав, чтобы обойти Альберта. Но дядя словно врос в землю, продолжал стоять, сжимая в своих руках по большому кульку и не сводя взгляда с бандита.

— Моя рука, — снова сказал Альберт и поднес к самому лицу дяди свой огромный кулак.

Дядя молча продолжал смотреть на него, спокойной прижимая к груди свои большие кульки.

О страшной силе Альберта ходили легенды. Говорили, что он однажды сбегал из кпз, приподняв одну из десятипудовых бетонных плит потолка камеры.

— Жена? — вдруг спросил Альберт, кивнув на тетю Люсю.

Что-то неуловимое появилось в голосе Альберта, Ремзику показалось, что он дал еле заметный задний ход. Но дядя молча продолжал смотреть на Альберта, по-прежнему прижимая к груди такие неуместные сейчас кульки. Тетя Люся слегка прижалась к дяде, давая знать бандиту, что он не ошибся, что она и в самом деле его жена.

— Тогда поцелуй ее, — вдруг сказал Альберт и кивнул на тетю Люсю.

Дядя, не двигаясь с места, молча продолжал смотреть на Альберта.

И вдруг бандит, сделав шутливый полупоклон в сторону дяди, уступил им дорогу, говоря:

— Орденоносцам почет и слава...

Дядя молча прошел мимо него и, сделав несколько шагов, посмотрел по сторонам, ища глазами Ремзика. Ремзик подбежал к дяде, и тот переложил в корзину свои кульки.

Вся эта сцена с бандитом длилась, может быть, не больше минуты, но уже многие люди с безопасного расстояния восхищались дядей. Как бодро шагал тогда Ремзик рядом с ним, как он был счастлив! Ему чудилось, что кто-то из людей, занятых выяснением дела отца, обязательно узнает об этом и снова призадумается, могут ли быть в одной и той же семье таксы храбрец и вредитель одновременно. Каждый раз, гуляя с дядей, он тайно показывал им его: пусть призадумаются, это им пойдет только на пользу.

Дядя тогда сказал про Альберта, что тот просто трус, что они, фронтовики, за километр узнают таких трусов.

Что-то, а трусом Ремзик этого Альберта никак не мог считать, о его драках рассказывали всякие чудеса. И что же! Даже в этом дядя оказался прав. Оказывается, у бандитов была своя малина, и ми-

лиция там устроила засаду, ждала, когда они все соберутся. И когда милиция ворвалась в дом, бандиты пытались бежать, а некоторые даже отстреливались, и только Альберт поднял руки. Оказавшись, им руки подымать нельзя, оказывается, у них тоже есть свои законы чести. Альберт, подняв руки, опозорился, и через полгода один из тех, кому удалось тогда сбежать, поймал Альберта в ресторане и в наказание разбил о его голову одну за другой три бутылки с вином, а тот стоял не шелохнувшись, по стойке «смирно». Ну и голова же у этого Альберта, надо сказать!

...Вдруг Ремзик заметил, что женщина, косясь на Барса, слегка ворочит нос. Учуяла, подумал он, внутренне замирая, учуяла запах моих ног. Ему стало ужасно неприятно.

Вообще ничего особенного в этом запахе не было. Чик даже говорил, что этот запах напоминает ему запах одного довоенного сыра, который продавали тогда в магазинах. Этот сыр назывался не то нидерландский, не то голландский. Ремзик помнил этот сыр, он был такой дырчатый и вкусный. Но не станешь всем говорить, что точно так пахнул довоенный, дырчатый сыр.

Женщина время от времени неприязненно поглядывала на Барса и морщила свой нос, хотя запах был вполне терпимый, и красноармейцы его не замечали. Ремзик это чувствовал.

Все-таки Ремзику было ужасно неприятно, когда она так морщила нос и неприязненно смотрела на него в чем не повинного Барса. Эти проклятые «Мух-ху-Сочи», которым сноса не было, хотя он их носил уже второй год, летом страшно раскаляются.

Он старелся сидеть, не шевеля ногами, но, как назло, очень хотелось пошевелить пальцами внутри обуви. Он знал, что если не шевелить ступней, и особенно пальцами, то запаха почти не бывает. Но он также знал, что из дырки на правом башмаке запах сам по себе подымается, как пар из носика чайника. Он подумал, что если заткнуть чем-нибудь эту дырку, то, пожалуй, старый запах постепенно выветрится из кабины и женщина перестанет так нечестно морщить нос.

Ремзик по себе знал, что иногда у некоторых знакомых в доме царит неприятный запах. Но сами они, хозяева дома, этого запаха не замечают. Потому что они привыкли к нему.

Ремзик все-таки решил чем-нибудь заткнуть свой резиновый башмак. Но заткнуть было нечем. Он знал, что у него в карманах ничего нет. В руке у него был только поводок, больше у него ничего не было.

Он нагнулся, прикрывшись спиной от женщины, и, делая вид, что возится с ошейником, вдавил часть поводка в дырку и снова выпрямился. Барс очень удивился, что Ремзик так странно использовал поводок, и, подняв уши, уставился на башмак так, как, бывало, уставился в подвальный люк, учуяв там кошку и ожидая, что она оттуда выскочит.

Ремзик почувствовал, что лицо его краснеет от предчувствия разоблачения. Сейчас она все поймет, глупый Барс его выдаст.

— Эта собака, — вдруг сказала женщина, — очень неприятно пахнет... Вы ее не купаете?

— Почти каждый день в море купаемся, — сказал Ремзик. Он понял, что женщина ничего не заметила.

— А по-моему, хорошая псина, — сказал красноармеец, сидевший рядом с ней.

Молодец красноармеец! Он с ней ни в чем не соглашался. Как только она села, он попробовал с нею шутить, как взрослые шутят с молодыми женщинами, но она не захотела слушать его шутки,

намекнув, что ее муж лейтенант-пограничник. Все-таки это было довольно грубо — дать знать рядовому красноармейцу, что ее муж — лейтенант. Вот он и обиделся. Могла бы потерпеть. Другие и не такое терпят.

Воспоминание о случившемся режущей болью отдалось во всем его теле, он больше не думал, что ему неприятно и стыдно перед этой женщиной из-за своих проклятых «Муухс-Сочи».

Он снова вспомнил то первое лето, когда дядя приехал из Москвы с женой. Он вспомнил, что в то лето в их доме после долгого перерыва запахло праздником, как при папе.

Да, все лето, пока дядя не уехал на фронт, в доме пахло праздником. Не то чтобы дядя никогда не ссорился со своей юной женой, но это были очень короткие ссоры, и запах праздника никуда не уходил.

Да, в то лето в их доме снова заработала парадная дверь и снова появился запах праздника! После того, как четыре года назад арестовали отца, в доме появился унылый запах, и этот запах почти не проходил до прошлогоднего лета. За эти четыре года запаха праздника иногда снова приходил в их дом, но теперь он приходил в грустном облаке воспоминаний. Это было тогда, когда кто-нибудь из родственников или знакомых, а чаще всего мама, вспоминали об отце.

— Ваш отец... — говорила она и рассказывала какой-нибудь случай из их жизни.

Особенно Ремзик любил рассказ о том, как он был совсем маленьким и заболел каким-то желудочным заболеванием, и долго-долго болел, и никто не мог его вылечить, а папа был в экспедиции.

Наконец, врач, уставший лечить его, сказал маме: «Я больше ничего не могу... Попробуйте сменить климат...»

Мама дала телеграмму отцу, и через два дня он был в городе. Они решили Ремзика вывезти в Чегем, в дом дедушки. По словам мамы, он был уже так слаб, что не мог поднять голову, а не то чтобы говорить или ходить...

Они поехали в машине до села Анастасовка, и отец его все время держал на руках, а мать время от времени заглядывала ему в лицо и дала в глаза, чтобы посмотреть, жив он или уже умер.

И вот, когда они вышли из машины и дошли до Кодора, и стали ждать парома с того берега, а паром долго не приходил, и, наконец, когда паром уперся в берег и отец с ребенком на руках вошел на паром и сел у борта, ребенок вдруг ожил. Маленький Ремзик стал тянуться к воде, что-то мыча и показывая на что-то рукой.

Сначала никто ничего не мог понять, а потом отец посмотрел на воду и увидел, что в воде, прижатый течением к борту парома, покачивается его карандаш, выпавший из кармана, когда он садился. Ремзик обращался к отцу и именно ему показывал на его потерю!

Это было, по словам мамы, первое да еще осмысленное оживление ребенка после многих месяцев. Мама говорила, что именно в ту минуту она поверила, что Ремзик все-таки выживет!

Самое смешное заключается в том, что Ремзику кажется, будто он отчетливо помнит этот случай, хотя вроде бы он не должен был его помнить: Ремзику было тогда полтора года.

Но ему казалось, что он помнит, как они ждали парома и как промчались, пока они ждали, вниз по течению плоты с плотогонами, стоящими с шестами на плотах, отчетливо помнит мускулистые, мокрые, в закатанных штанах икры их ног, помнит, как один из плотогонов что-то им крик-

нул, но голос его со страшной быстротой умчался вниз вместе с плотами, и, главное, помнит этот карандаш, болтавшийся на воде, и тоненькую перламутровую струйку, отходящую от его остро заточенного конца.

— Мама, — спрашивал Ремзик каждый раз, когда она об этом рассказывала, — а ты все-таки не помнишь, карандаш был химический или простой?

— Ну, откуда, Ремзик, — отвечала она ему каждый раз, — мне тогда было не до этого.

Наверное, отец мог вспомнить, какой у него был карандаш, но теперь у отца невозможно было спросить об этом. Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, Ремзик уверился бы в том, что все это он вспомнил, а не выдумал уже после того, как мама об этом рассказала. Он много раз думал об этом и пришел к выводу, что, скорее всего, у отца был химический карандаш. Ведь отец был геологом, а геологам приходится и в горной реке мочиться и на лошадей трагисты, поэтому им надо свои записи делать более стойким химическим карандашом. Ремзик так думал, но не был уверен в этом.

От той поездки он еще помнит огромного орла, пойманного дядей, тогда еще юношей, и привязанного на веревке к веранде дедушкиного дома. Когда он вспоминал про орла, ему говорили, что орел и в самом деле был пойман, но был не такой большой. А некоторые вообще не помнили про орла.

Дядя про орла помнил. Но он тоже, всегда почему-то смеясь, говорил ему, что орел не был таким большим. Но Ремзик помнил, что орел был большой, просто невероятный, особенно когда расправлял крылья!

Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, получалось бы, что орел был именно таким, каким его запомнил Ремзик. Взрослые часто забывают про многое... Нет, лучше не думать про некоторые вещи, о которых забывают взрослые.

У поворота с Эндрурского шоссе на село Анхара машина остановилась, и женщина стала сходить. Ремзик открыл дверцу и сам вышел вместе с собакой. Женщина вытасила из сумки кошелек, открыла его и протянула шоферу мятую пятерку. Тот посмотрел на своего дружка.

— Не будем разорять лейтенанта? — спросил красноармеец у шофера. Он это сказал серьезно, но Ремзик сразу понял, что он шутит, вернее, даже дерзит этой женщине.

— Не будем, — немного подумав, еще серьезней ответил ему шофер.

— Как хотите, — сказала женщина, но лицо у нее покраснело от возмущения.

Она взяла свою сумку и, ни на кого не глядя, вышла из машины и, перейдя улицу, пошла в сторону берега.

Ремзик снова сел в кабину вместе с Барсом. В кабине стало как-то очень просторно. Машина повернула на Анхру.

— То у нее собака не так пахнет, — подмигнул красноармеец Ремзику, — то у нее муж лейтенант...

— Некоторые люди шуток не понимают, — ответил Ремзик.

— Пацан точно сечет, — сказал красноармеец шоферу и кивнул на Ремзика.

— Пацан милокот, — ответил шофер, объезжая большую выбоину на дороге.

Они проехали армянское село и въехали в деревню Анхара. Когда слева от дороги появился сарай для хранения собранного чая, Ремзик сказал:

— Мне тут...

Шофер затормозил, и, когда Ремзик открыл дверь,

цу, Барс, которому, видно, машина здорово надое- ла, с такой быстротой выскочил из нее, что Ремзик чуть не слетел с подножки.

— Спасибо,— сказал он, смущаясь не столько от- того, что у него не было денег, сколько оттого, что должен был показать готовность заплатить, если бы они у него были.

— Кушай на здоровье,— сказал шофер, и маши- на запылила дальше.

Барс слегка ошалел оттого, что они, наконец, приехали. Он все время рвался с поводка, но Рем- зик его притормаживал, потому что собака хорошо знала дорогу и она явно прибегала бы в дом к дедушке раньше него. Почему-то Ремзику было не- удобно, если бы собака пришла раньше него. Он шел по деревенской улице, как всегда смущаясь в предчувствии первой встречи со знакомыми ребя- тами. Но, слева бог, был жаркий полдень, и все попрыгали в тени, никого не было видно.

Он подошел к воротам и со скрипом отворил их. Рыжука, собака дедушки Шаабана, прозванного Колчеруком, выскочила из-под дома и помчалась на них, но уже на полпути, узнав Ремзика, сделала вид, что она не лаяла, а просто так пошутила, чтобы на- пугать их. Несколько секунд Рыжука и Барс чопор- но обнюхивали друг друга, а потом Рыжука стала прыгать возле Ремзика, стараясь лизнуть его в ли- цо.

Ремзик снял поводок с Барса, и тот помчался в сторону кухни, откуда вышел дедушка посмотреть, на кого лаяла собака. Сначала он узнал подбе- жавшего Барса, а потом и Ремзика.

— А-а! — крикнул он по своему обыкновению.— Наш русачок прибыл, русачок! Мало того, что сам дармоед, так он еще и соблаз с собой привел!

За ним из кухни выскочила жена дедушки, тетя Софичка.

— Что-нибудь случилось? — спросила тетушка из-далека, глядя на Ремзика из-под руки, чтобы заго- родиться от солнца.

— Чего там могло случиться! — заорал на нее дедушка. — Соскучился по маме! Вот и приехал!

Ничего не случилось, — сказал Ремзик, и, ког- да они подошли друг к другу, она, улыбаясь, по- вертела рукой вокруг его головы, это должно было означать, что она берет на себя все его болезни и горести.

— Что с тобой должно случиться, пусть случится со мной, — сказала она, улыбаясь своим морщини-стым лицом и целуя его в лоб. От нее приятно пахло запахом очажного дыма, уютом деревен-ской кухни, добротой старой женщины, которая вышла из того возраста, когда можно стать пред-ательницей.

— А где Яшка? — спросил он про своего двою-родного брата, озяравшись.

— Он с твоим братом пошел рыбу ловить на Ко-дор, — ответила тетушка, — они теперь не скоро придут...

Тетушка и Ремзик вошли на кухонную веранду. Из кухни выскочила сестра.

— Ремзик, — сказала сестра и бросилась его цело-вать.

Он, стараясь не обидеть ее, все-таки достаточно сурово отстранился. Сестре было пятнадцать лет, и она как-то здорово изменилась за последние не-сколько месяцев. Она уже становилась девушкой, ст-ь есь входила в тот возраст, когда можно стать пред-ательницей.

— С чего это ты вдруг? — спросила она у него по-русски.

— Я приехал навсегда, — неожиданно сказал Ремзик и сам почувствовал: сказал что-то лишнее.

— Как навсегда? — удивилась сестра. — А как же Люся?

— Посмотрим, — сказал он неопределенно, — там видно будет.

У него снова испортилось настроение, а он-то ду-мал, когда открывал ворота и входил во двор, что все осталось позади. Надо ведь как-то объяснить своей приезд. Но потом он подумал: если уж объ-яснять, то только маме, а мама раньше вечера до-мой не придет. Он не знал, как рассказать обо всем этом маме, но он решил, что мама раньше вечера все равно домой не придет, а до этого можно бу-дет все выкинуть из головы. Он подумал: до вече-ра еще долго, долго... До вечера еще что-нибудь может случиться... Вдруг радио сообщит, что Гитлер сдался и война окончилась... Тогда все будет про-сто...

Ему стало как-то веселее и проще. Он с удоволь-ствием оглядел большой зеленый двор с яблоневы-ми деревьями с одного края, с ореховым деревом и персиковым деревцем с другого края, чистый зе-леный двор. Во дворе паслись два теленка и ку-рар-ца лошадей, которая с какой-то странной яростью щипала траву.

С той стороны плетня, отгораживающего двор, у подножия яблони лежало много падающих. Во дво-ре тоже валялось несколько яблок, и одно из них теленок смешно катал по траве, пытаясь укусить и никак не хватывая его зубами.

— У дедушки новая пошадь? — спросил Ремзик.

— А что ему больше делать, — ответила тетушка Софичка, сворачивая цигарку, — только и знает, что менять лошадей... Уже сбросила его рез... Думаю, в следующий он его прикончит...

— Чем болтать всякую чушь, — крикнул дедушка с веранды, где он подшивал к седлу подругу, — ты бы лучше курицу зарезала да угостила нашего ру-сачка... Глядишь, и нам чего-нибудь перепадет... Все это он сказал, не подымая головы и орудуя ши-лом и большой иглой.

— За курицей дело не станет, — ответила тетуш-ка Софичка, и они все втроем вошли в кухню.

В очаге горел огонь. В придвинутом к огню ко-телке варилась фасоль. Ремзик сел на скамью у ог-ня. Чувствовать огонь лицом и смотреть на него было приятно.

В это время одно за другим несколько яблок шлепнулись под яблоней во дворе и на огороде.

— Деньги падают и гниют, — крикнул дедушка с веранды, — некому подобрать.

— Чем причитать здесь, повез бы в город и про-дал! — в ответ ему крикнула тетушка Софичка и поставила рядом с Ремзиком тарелку с вареной тыквой и ножом. — Подкрепишься до обеда, — сказала она.

— Совсем выжила, — крикнул дедушка в ответ, — где же у меня время возиться с яблоками!!

Барс, который вместе с ними вошел в кухню, по-смотрел на тарелку, потом на Ремзика, и как бы показал на себя. Ремзик вырезал ножом мякоть из одного куса тыквы и бросил ее Барсу. Барс пони-мал тыкву, осторожно попробовал, а потом стал быстро уплетать ее, как бы вспомнив вкус полуза-бытой еды.

Ремзик тоже стал есть холодную вкусную тыкву. Он чувствовал, что тыква вкусная, но почему-то она плохо лезла в горло. Он не знал, что случилось с его горлом, но понимал, что это связано с тем, что он узнал вчера. Горло стало как-то плохо работать. Все же он съел два куса холодной вкусной тыквы, и, хотя горло плохо работало, он заставлял себя глотать приятную мякоть тыквы.

Еще один кусок он бросил Барсу, и Барс с удо-

вольствием съел второй кусок. Интересно, подумал он, у собаки, когда она узнает о чем-то неприятном, может горло плохо работать или нет?

— Ну, как там Люся, не скучает? — спросила сестра.

— А чего ей скучать, — ответил Ремзик, — у нее ведь компаньонка.

— Пора бы ей хоть котенка выродить, — крикнул дедушка с веранды. Оказывается, он все слышал оттуда. — Слава богу, больше года замужем...

— Не твоё дело! — крикнула ему тетушка Софичка и подвела над огнем очага мамалыжный котел и засыпала туда муки для варки. Потом она вошла в кладовку и вынесла оттуда в подоле кукурузные зерна. Пыхтя цигаркой, она вышла из кухни, высокая, костистая, худая.

— Тетя Софичка еще сильнее похудела, — сказал Ремзик, глядя ей вслед.

— Еще бы, — ответила сестра, размешивая мамалыжной ложкой варку в котле, — она ведь два дня в неделю ничего не ест.

— Почему? — удивился Ремзик.

— Она дала обет, — сказала сестра, — на каждого из наших близких, чтобы вернулись живыми с фронта. Сегодня как раз день Баграты... В такие дни только воду пьют и курят... Конечно, глупость...

Сестра положила мамалыжную лопату на котел и присела рядом с Ремзиком на скамью.

Раньше Ремзик и сам считал, что такие вещи просто глупость. Но сейчас он вдруг почувствовал, что это не глупость. Он подумал: если кого-то любишь, то ты ради этой любви должен что-то трудное сделать, и тогда будет ясно, настоящая это любовь или не настоящая.

Он подумал: а что же сделал я ради любви к дяде? Мне было стыдно сказать ей, ответил он сам себе. Надо было одолеть стыд и сразу же все сказать, подумал он. Но ведь она могла пожаловаться дяде, а мама говорила, что он ничего не должен знать. Ремзик снова почувствовал тоску безысходности. Еще прошло немного времени, подумал он, еще есть время что-то сделать.

— Снял бы свои «Мухом-Сочи», — сказала сестра.

— Ага, — сказал Ремзик и вышел во двор. Он снял свою обувь и выставил ее на солнце посреди двора. Теплая мягкая трава приятно щекотала подошвы ног. Он с удовольствием потер потные ноги о траву.

— Ремзик, согреть тебе воду, может, ноги вымоешь? — спросила сестра, появляясь в дверях кухни. — Зачем ему ноги мыть, — крикнул дедушка, — я сейчас пойду купать лошадей, там он и вымоется весь. Пойдешь со мной?

— Конечно, — обрадовался Ремзик.

За домом раздавался голос тети Софички, сзывающей кур. Куры со всего двора бежали на ее голос. Два петуха, один рыжий, а другой белый, тоже бежали на голос тети Софички, но все время делали вид, что они не слишком торопятся. Поглядывая друг на друга, они то бежали, то приостанавливались. Вдруг рыжий петух гневно закокотал, услышав кукуденье, как понял Ремзик, пойманной курицы. Расправив крылья, он изо всех сил побежал за дом, а белый остался, осторожно прислушиваясь к тому, что происходит за домом.

— А тебе-то какое дело, — слышался голос тетушки Софички, отгоняющей петуха, — чтоб тебя ястреб унес!

Через несколько минут она вышла из-за дома, неся за ножки курицу с перерезанным горлом.

— Я давно ее подозревала, — сказала она, неизвестно к кому обращаясь, — что она поворовы-

вает кукурузу в амбаре... Так оно и есть — один жир.

— Помоги мне лошадь поймать, — сказал дедушка и, гремя уздечкой, сошел с веранды.

В это время с яблони снова шлепнулось несколько яблок.

— Денги гниют, — сказал дедушка, и они стали медленно подходить к лошади.

Лошадь вздернула голову, посмотрела на дедушку и, сердито фыркнув, побежала в глубину двора. Там остановилась и стала яростно щипать траву.

— Заходи с той стороны, а я с этой, — сказал дедушка.

Они стали приближаться к лошади. Ступать босыми ногами по мягкой, теплой траве было приятно. Когда они подошли к лошади поближе, она снова вздернула голову, посмотрела на обоих и побежала в сторону Ремзика, словно поняв, что ей незачем его бояться. В нескольких шагах от него она остановилась и стала яростно щипать траву. Когда Ремзик приблизился к ней, она, никуда не уходя, быстро повернулась к нему спиной, словно направила на него орудия задних копýt. Он попытался ее обойти, но она опять, не сходя с места и продолжая яростно щипать траву, направила на него орудия своих задних копýt. Ремзику стало немного не по себе.

В это время тетушка Софичка вынесла курицу, обданную кипятком, и стала выщипывать из нее перья.

— Нечего ребенка к своей бешеной собаке подпускать, — сказала она ворчливо, — мог бы и сам взвзудать...

Наконец, они загнали лошадь в угол двора. Она злобно озиралась на Ремзика, который стоял за ней в нескольких шагах и помахивал палкой, чтобы она боялась побежать в его сторону. Ремзик не знал, боится ли она его, но то, что он ее боится, это он чувствовал. Дедушка подходил к ней сбоку, и теперь ей некогда было деться — справа забор, впереди забор, сзади Ремзик с палкой. Она сделала попытку перемахнуть через забор, но не решилась, а дедушка уже стоял рядом с ней, и когда он поднес к ее губам удила, она вскинула гривастую голову, но он успел вложить ей в рот железо, и она сразу притихла.

— Хочешь поехать верхом? — спросил дедушка.

— Да, — сказал Ремзик отчаянно.

Ощипав и выпотрошив курицу, тетя Софичка бросила неодобрительный взгляд на Колчерукого, который, окорота уздечку, чтобы лошадь не укусила Ремзика, помогал ему взобраться на нее.

— Чтò я эту лошадь на упокой твоей души, — ругнула она дедушку и вошла в кухню.

Обе собаки съели выброшенные внутренности курицы и сейчас приножились к перьям.

Ремзик уже сидел на лошади, и дедушка открывал ему ворота, когда снова шлеп! шлеп! шлеп! с яблони слетело несколько яблок.

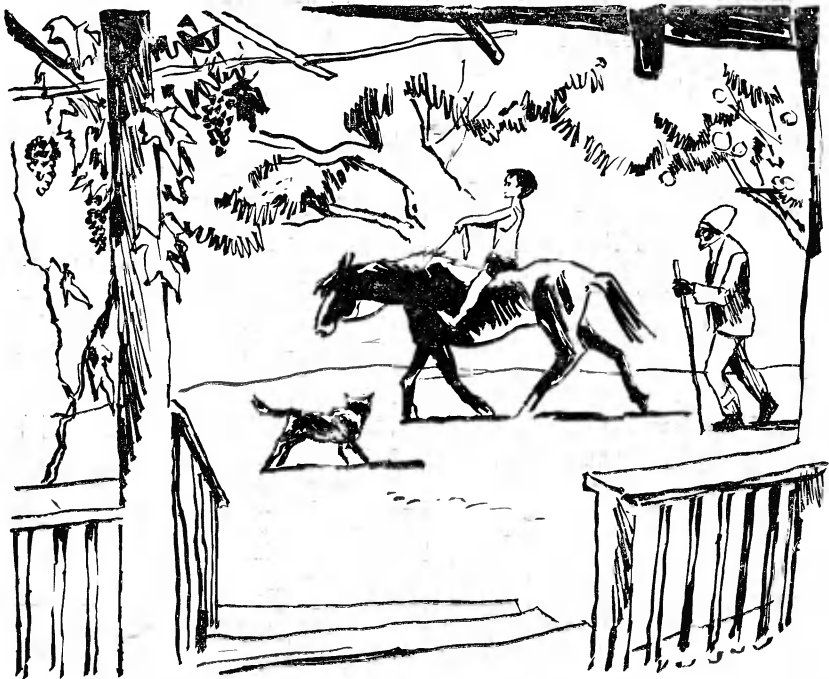
— С ума сойти, — снова пробормотал дедушка, скрипя воротами, — денги под ногами гниют, а подобрать некому.

Ремзик чувствовал голыми ступнями горячий живот лошади и немного боялся, что она его укусит. Несколько раз она мотала головой, чтобы схватить его за ногу, но он успевал отдернуть ее.

— Да не бойся же ты, — крикнул дедушка, как бы вкладывая в свой крик и раздражение по поводу гниющих денег, — крепче поводья держи!

— Я не боюсь, — сказал Ремзик и крепче сжал поводья.

Услышав скрип ворот, Барс поднял голову и, увидев, что Ремзик выезжает со двора, бросился



вслед. Собака выскочила на улицу первой, следом Ремзик на лошади, а сзади дедушка, захлопнув ворота, замкнул шествие.

Теперь они двигались по проселочной дороге. Лошадь все время косилась на Барса, который, чувствуя неприязнь лошади, держался на безопасном расстоянии. Лошадь все время косилась на Барса и словно забыла о Ремзике. Барс время от времени поглядывал на Ремзика, словно хотел спросить: «Что ей от меня надо? Иду себе в сторонке, а она все недовольна».

Ремзик уже привык к ней и чувствовал себя легко. Он ощущал голыми ступнями ее странно горячий живот, как будто у нее была температура.

Надо было проехать еще метров сто проселочной дороги, потом пересечь небольшую поляну и въехать в лесок, где протекал ручей, образовавшийся в этом месте довольно глубокою заводью.

Ремзик знал это место. Он не раз там ловил рыбу и купался. У самого выхода проселочной дороги на поляну навстречу им показался бригадир соседней бригады. Он подозрительно покосился, как показалось Ремзику, на него, на самом деле он оглядывал лошадь.

Дело в том, что бригадир поймал сегодня утром на колхозном кукурузном поле чью-то лошадь и

теперь искал хозяина. Он знал, что Колчерукий совсем недавно приобрел себе новую лошадь и сильно подозревал, что поймал именно ее.

— Это твоя лошадь? — кивнул он на нее.

— А то чья? — спросил Колчерукий.

— Да сегодня на потраве поймал одну лошадь, волк ее задерил, — сплюнул бригадир, — не могу найти хозяина.

— А какая она с виду? — спросил Колчерукий.

Они стояли в тени ореха, а Ремзик уже выехал на поляну. Он остановил лошадь, дожидаясь дедушки. Лошадь, клацая железом удила, стала яростно щипать траву.

— Гнедая, волк ее задерил, — снова сплюнул бригадир.

— У наших нет гнедой, — сказал Колчерукий, — никак армянская.

Ремзик оглядел поляну. На ней паслись коровы и свиньи, державшиеся поблизости от трех яблонь, росших посередине поляны, с которых время от времени слетали перезревшие плоды.

Бригадир и Колчерукий закурили, стоя у подножия ореха, и стали прикидывать, какому армянину могла принадлежать эта лошадь, пойманная на траве.

— Ты езжай, она сама доведет, — сказал Колчерукий Ремзику.



Он не мог спокойно говорить о лошадях, даже если они пойманы на потраве.

— Чоу! — крикнул Ремзик на лошадей, стараясь придать голосу мужественную грубость.

Но лошади никак не отозвались на его голос и продолжала яростно щипать траву. Ремзику стало стыдно, что он не может никому ничего приказать. Он ударил ее пятаком по животу и изо всех сил потянул поводья. С трудом заставив лошадей приподнять голову, он еще раз сильно ударил ее пятаком, и она крупной рысью пошла через поляну.

Лошадь шла крупной рысью, и собака трусила поблизости, слегка поджав хвост и как бы стараясь придать своему облику неприязнительную скромность и тем самым заставить лошадь забыть о ее существовании. Но лошадь ни на минуту не забывала о собаке и время от времени гневно косилась на нее.

Болтаться на спине лошади, идущей рысью, было неудобно и даже немного больно, но все-таки Ремзик был доволен, что подчинил ее своей воле.

Тропа вошла в прохладный и сырой ольшаник. Черный дрозд вылетел из кустов ежевики и, треща, пролетел сквозь заросли дикого ореха. Лошадь перешла на шаг.

Они вышли к ручью, на глинистом берегу которого было множество следов животных, приходящих сюда на водопой.

Огромная разлапистая коряга, лежавшая поперек течения ручья, образовывала в этом месте довольно глубокую запруду. На той стороне ее шесть буйволов лежали в воде, высунув свои рогатые головы. Увидев всадника, подъехавшего к ручью, буйволы перестали жевать жвачку, но, убедившись, что им ничего не грозит, снова задвигали могучими, ленивыми челюстями.

Ремзик слегка разгорячился от верховой езды. Он попытался въехать в ручей с разгону, но лошадь, как он ни стучал ее своими пятаками, не шла. Тогда он повернул ее, въехал на небольшой откос, дотронулся до зарослей ольхового молодняка, выломал ветку, сдернул с нее листья и, спустившись с откоса, снова подошел к запруде.

Он только взмахнул своим хлыстом, и лошадь, почувствовав, что он и в самом деле может ее ударить, вошла в воду. Он попытался было закатить брюки, но не успел и решил, что потом высушит их на берегу. Лошадь вошла в воду по шею и, остановившись, стала медленно и долго пить.

Она пила воду так долго, что запруда успела успокоиться, и мальчик смотрел в прозрачную воду ручья, видел волнистую песчаную поверхность дна в середине ручья с дрожащими бликами солнца, стаи мальков, мелькающие в воде, темную глубину воды слева под откосом, где дно едва-едва

просматривалось и где на глазах его медленно и осторожно проплыла большая крапчатая форель. Она была величиной до кукурузный почтонок.

Буйеслы возле того берега, когда всадник вошел в воду, опять выжидательно перестали жевать жвачку, но, заметив, что всадник не собирается переходить на тот берег, снова заработали могучими, ленивыми челюстями.

Голову и плечи пекло солнце, а от мокрых по колено ног подымалась прохлада. Он почувствовал какую-то легкость, какое-то прояснение, какого не чувствовал со вчерашнего дня. Он почувствовал, что он многое может.

Он подумал: «я буду жить здесь, покамест мама здесь работает, а когда окончится война, дядя обо всем узнает, и тогда взрослые сами решат, как им быть». «Но ведь это нечестно,— подумал он,— предательство будет продолжаться, и я, зная о нем и имея не делая, буду тоже предателем».

Ему опять стало как-то не по себе. Голову и плечи пекло солнце, а от мокрых ног щекоющим ознобом подымалась прохлада, и это было теперь неприятно.

Он оглянулся на Барса, одиноко сидевшего на берегу. Ему стало жалко собаку, словно он ее тоже предал из-за лошади.

— Барсик, ко мне,— сказал Ремзик.

Собака завилась хвостом, обрадованная вниманием мальчика, и радостно полезла в воду. Она немного попила воды, словно желая убедиться в свойствах среды, в которой ей придется плыть, и, убедившись, что эти свойства вполне подходящие, поплыла. Она плыла, приподняв голову и смешно выставив из воды кончик хвоста. Сейчас ей лошади не была страшна, потому что та была наполовину погружена в воду, и собака понимала, что лошади ее не сможет дернуть копытом.

Она подплыла к Ремзику, и Ремзик, нагнувшись, несколько раз погладил ее по голове. Лошадь покосилась на собаку. Собаке это не понравилось, и она посмотрела на Ремзика, словно говоря: если у тебя нет ко мне какого-то дела, я лучше все-таки буду подальше от этой недружелюбной лошади.

Она поплыла назад, сначала прямо, а потом зигзагами, и мальчик сначала удивился, а потом понял, что это она погналась за каким-то скользким по воде насекомым.

Лошадь приподняла голову, по губам ее стекала вода. Ремзик оглянулся на то место, где проплыла форель, но сейчас в темной глубине ничего не было видно. Откос, обрывистым берегом высотой метра в два, уходил в глубокую заводь. В прошлое лето он с другими деревенскими ребятами прыгал отсюда в воду, а иногда и рыбу ловил. Он решил попробовать прыгнуть с обрыва на лошади.

Он вышел на берег, поднялся на откос, отъехал метров на десять и, ударив лошадь своей веткой, погнал ее к обрыву. Лошадь рысью подбжала к обрыву, но у самого края притормозила и остановилась.

Ремзик посмотрел вниз в глубокую заводь с высоты лошади. Ему стало страшновато. Когда он смотрел на обрыв из воды, он не казался ему страшным. Сейчас, с высоты, глубокая заводь была прозрачной, и он снова увидел большую крапчатую форель, которая осторожно проплывала по самому дну. Наверное, это была та же самая форель. Он подумал: чем крупнее рыба, тем она осторожней... Интересно, именно те рыбы становятся большими, которые осторожны, или рыба, став большой и понимая, что ее хорошо видно, делается осторожной?

Форель доплыла до тени головы лошади, падавшей на воду, и каким-то образом почувствовала ее там, на дне, постояла немного и осторожно повернула и выплыла под самый берег в самую глубину заводя.

Он так и не понял, рыба становится большой от того, что она осторожна, или, сделавшись большой, становится осторожной. Он подумал: почему, интересно, я об этом подумал? Потому что я боюсь прыгать и нарочно отвлекаюсь, ответил он себе.

И вдруг всплыла режущего стыда соединила невыносимой болью три точки его жизни: я струсил в ту ночь, когда отец подождал прощаться, я предал дядю, ничего не сделав для него, я срефил прыгать и отвлекаюсь на какую-то чепуху с большой рыбой!

И больше не давая себе ни о чем думать, он хлестнул лошадь и, отъехав метров на двадцать, повернул ее и, снова хлестнув, галопом помчался к обрыву. У самого края лошадь снова притормозила, и он снова хлестнул ее своим ольховым прутом, и она, почувствовав власть всадника, сделала тяжелый прыжок в воду.

Холод воды с размаху оценил его тело, и, когда он выдернул из нее голову, то увидел вокруг себя еще оседающие после падения брызги, и слева от него на мгновение засветился мягкий, нежный кусок радуги.

Еще через мгновение голова лошади, вымахнувшая из воды, хлестнув его по левой щеке мокрой гривой, отдернула ее назад.

Нащупав ногами дно, лошадь быстро вышла на берег и, фыркнув, отряхнулась. Он тронул рукой горящую щеку и оглянулся на запруду. Волны от их прыжка все еще расходились по воде, и буйеслы, перестав жевать, приподнимали головы, пропуская волны. Казалось, они мерно покачиваются в воде.

Бедный Барс, которому этот шумный прыжок совсем не понравился, отошел подальше вверх по течению и уселся на безопасном расстоянии.

Ремзик был счастлив. Весь мокрый, но не чувствуя холода, наоборот, чувствуя только бодрость и необыкновенную легкость во всем теле, он понял, что теперь ему ничего не страшно и все будет, как надо. И отец вернется и поймет, что Ремзик был слишком маленьким тогда и потому испугался, и дядя вернется с фронта, когда окончится война, и от предательницы, как говорила мама, духу не останется здесь, и никто не подумает, что он в чем-то виноват.

Ему снова захотелось прыгнуть в воду, но свой ольховый прут он выпустил из рук, когда погрузился в воду. Он снова погнал лошадь на откос и, добравшись до зарослей ольшаника, выломал новую ветку, сдернул с нее листья и, отогнав лошадь, ударил ее и пустил в галоп.

У края обрыва лошадь опять затормозила, но он, едва удерживаясь и сползая на шею, снова огрел ее веткой, и она снова тяжело плюхнулась в воду.

Он снова с головой погрузился в воду, почувствовал, как перехватило дыхание, и на мгновение раньше, чем лошадь, успел высунуть голову. Лошадь тоже выметнула голову из воды, и грива ее на этот раз хлестнула его в правую щеку. По струе воздуха, ударившей его по лицу, он почувствовал, с какой силой голова лошади выметнулась из воды. И на этот раз в брызгах налето на себя он увидел нежную полоску радуги, растворившуюся в воздухе. Он никогда не думал, что можно так близко увидеть радугу. Он смутно подумал, что надо опасаться головы лошади, но тут же отогнал эту мысль, словно она его возвращала на то тоск-

ливое состояние, в котором он был со вчерашнего вечера. Нет, нет, подумал он, этого никогда не будет теперь. Второй прыжок был еще лучше, чем первый. На этот раз, горделиво подумал он, я даже свой хлыст не потерял.

Он снова ударил лошадей, отряхивавшуюся на берегу, и отогнал ее для третьего прыжка.

Волны, вызванные вторым падением, снова заставили буйволов перестать жевать жвачку, и они, покачивая рогатыми головами, пропустили волны, чтобы не замочить голову. Хотя прыжки всадника в воду им не нравились, они их беспокоили не настолько, чтобы покинуть уютную прохладу ручья.

Когда Ремзик отогнал лошадей и повернул ее для третьего заезда, он увидел, что поверхность запруды почти успокоилась, и буйволы снова заработали чужими челюстями, лениво жуя свою жвачку.

В это время Колчерукий с бригадиром уже сидел в тени ореха, и Колчерукий, зная всех армянских лошадиников, рассказывал бригадиру, где кто живет. Если бы бригадир с Колчерукиным встретились минутой позже, когда Ремзик и дед проходили бы по полю, где головы палило полуденное солнце, они не стали бы так долго разговаривать.

Из леса выскочил Барс и, миновав поляну, не оставившаяся возле сидящих в тени, побежал прямо к дому Колчерукого. Колчерукий даже не заметил его. Добежав до ворот, он стал отчаянно скрестись, чтобы открыть их, а потом откинул голову и завыл.

— Ша! — сказала тетя Софичка, услышав вой собаки.

Она вышла на кухонную веранду, чтобы точнее определить, чья это собака. Судя по близости воя, это могла быть собака соседей, живущих напротив, у которых сын был на фронте.

— Кажется, это собака Датико, — сказала она грустно, — несчастная его мать! Да ведь кто его знает, может, рзано, а может, собаки вообще ничего не понимают.

Она снова вошла в кухню, где у очага сидела сестра Ремзика и жарила на вертеле курицу, с которой то и дело капал жир, вспыхивающий голубоватыми огоньками на раскаленных углях. Лицо девушки раздумывалось от сильного жара.

— Уже готова, — сказала она, стараясь отвернуться от огня.

— Снимай, — сказала тетушка Софичка, — мамалыга тоже уже высыхает... Этот мой балеболка, наверное, с кем-то там встретился и теперь будет до самого вечера бар-бар-бар-бар...

В это время Барс снова завыл, и стало ясно, что какая-то собака воеет у самых ворот. Рыкуха из-под дома виновато скулила в ответ.

— Ша! — Старуха вышла из кухни.

На этот раз она дошла до самых ворот и увидела Барса. Сердце ее сканьло от боли, но она заставила себя подумать, что все-таки, наверное, была какая-нибудь другая собака. Но Барс посмотрел ей прямо в глаза и снова завыл со страшной силой.

— Неужто с Багратом что случилось? — сказала она вслух и открыла собаке ворота. Потом она вдруг подумала: что-то могло случиться с ребятами, ушедшими на Кодор ловить рыбу.

Собака вбежала во двор и беспокойно оглянулась на старуху, словно хотела ей что-то сказать. Потом она добежала до середины двора и внезапно затормозила, увидев «Мухус-Сочи» Ремзика. Она взяла в зубы резиновый башмак мальчика, потрепала его в зубах, выпустила и снова завывала со страшной силой.

В это время сестра Ремзика уже стояла на кухонной веранде. У тетушки Софички и сестры одновременно вырвался из груди вопль страшной догадки:

— Ремзик!

Собака, больше не глядя ни на кого, выбежала со двора, а тетушка Софичка так и замерла у открытых ворот.

Со страшной быстротой, клубком отчаяния собака промчалась мимо все еще сидевших в тени ореха дедушки и бригадира.

— Эта собака, — кивнул бригадир на Барса, — что-то страшное видела, только что она промчалась туда, а теперь бежит обратно.

— Так это ж нашего русачка собака, — сказал Колчерукий и встал.

— Уж не она ли только что выла! — сказал бригадир.

— А чего ей выть, волк ее задержит, — сказал Колчерукий и затормозился через поляну.

Он уже был на краю поляны, когда увидел свою лошадь, которая волоча поводья, мокрая, выходя из леса, яростно щипая траву.



Ремзик третий раз разогнался, и лошадь опять притормозила у обрыва, и он снова хлестнул ее, и она тяжело булькнулась в воду. У него снова перехватило дыхание, и он из всех сил скинул голову и схватил ртом живительный глоток воздуха. Брызги, вызванные взрывом падения, еще оседали в воду, и Ремзик увидел на этот раз впереди себя нежно тающий на глазах полукруг радуги и прямо из-под нее выметнувшуюся из воды и летящую на него голову лошади.

Он успел откинуть собственную голову, но голова лошади ударила его в грудь, и, уже падая в воду, в последний миг, он успел удивиться нелепой, незаслуженной жестокости случившегося.

Лошадь вышла из воды и пошла через ольшаник, по дороге яростно щипая ключья травы, попадавшейся по сторонам от лесной тропы.

Барс, которому сразу не понравились эти прыжки, слишком шумные и слишком резкие, сначала обрадовался, что лошадь ушла, а мальчик нырнул. Собака привыкла к его ныряниям на море и терпеливо ждала. Потом она забеспокоилась и подошла к воде, быстро поворачивая голову то вверх, то вниз по течению. Она знала, что, когда она купалась в море, Ремзик иногда заныривал за какую-нибудь скалу, а она беспокоилась и искала его.

Вдруг он вынырнул, но не как обычно, шумно фыркая, а как-то тихо, тихо поплыл по течению и, зацепившись за корягу запруды, остановился.

Собака слегка заскулила и попылка к нему. Она подплыла к нему и стала лизать его лицо, чувствуя, что это его лицо, его тело, его рубашка, вздувавшаяся от застрявшего в ней воздуха, и в то же время, что его нет, из него ушло то, что она так любила и что было им, Ремзиком.

Она подумала, что другие люди, тоже любившие его, смогут помочь, если то, что было им в его теле, еще было не слишком далеко, и она быстро поплыла назад и, выплыв из ручья, не отряхиваясь, изо всех сил побежала к дому.

У запруды снова стало тихо. Но буйволы почему-то вылезли из воды и, отражая солнце черными, лоснящимися тушами, медленно пошли от ручья. Они почувствовали что-то.

Юрий Михайлик



И небо, и море ночное,
и гулкий прибрежный накат
еще от полдневного зноя
очнуться не могут никак.
И странно поверить и трудно
не спутать над черной водой
огонь проходящего судна
с падушей плавучей звездой.
И трудно на катере этом
заметить в созвездье ином
бессонный глазок сигареты
на темном обрыве ночном.
Но кто-нибудь там, на борту,
молчит и глядит в темноту.



Итак, создается тройная уха.
Сначала берется шпана, чепуха,
нахальная злая рыбешка.
Ее поперчи, посоли, отварь
и вылови ложкой и в кучку свали.
И насухо выложи ложку.
Потом добавляй понемногу огня,
чтоб крупная рыба, весь дух сохраня,
сварилась, но не развалилась.
А чтобы светилась уха изнутри,
моркови добавь и чеснок разотри,
смотри, чтоб неярко светилась.
Готово! Сварилась. Но все-таки ты
обязан быть выше голодной тщеты,
жратвы, суеты, нетерпенья.
Ведь дело не в том, чтобы скоро поесть,
тройная уха — это высшая честь,
искусство на уровне пенья.
И нужен особый жестокий талант,
когда уже миски стоят на столах
и солнце стекает по склону,
вторую уху из котла отцедить,
огня приубавить и уголь разбить,
и третью варить непреклонно.
Итак, запевай, мой веселый солист!
Последняя рыба, в охотку солись,
варись, шевелись и усердствуй!
А красного перца каменный стручок
до самого сердца тебя пропечет,
прогреет до самого сердца.
Вот так создается тройная уха.
Вот ложка берется, чиста и суха.
Вот хлеба краюха такая.

Вот лодка у берега молча стоит.
Вот небо далекую тучу таит.
Вот море к ногам подступает.



Летом сорок седьмого года
нас кормили сметаной и медом.
Нас собрали из разных мест,
нас одели, обули получше.
Если кто-то сметану не съест,
значит, меду вообще не получит.
Тетя Клаша водила на речку,
не сводила карающих глаз.
И сидела потом на крыльчке,
горевала, глядела на нас.
Горевала она, горевала,
кружки доверху наливала.
А сметану возили полуторкой —
пять бидонов на сто огульцов.
— Мне от этой сметаны мутно! —
говорил Огурец — Огурцов.
Тетя Клаша тогда вставала
и своей беспощадной рукой
подзатыльники ему давала.
— Пей! — кричала. — Изверг такой!
Летом сорок седьмого года
нас кормили сметаной и медом.
Мы в деревне на Волге жили
летом сорок седьмого года.
Те, которые пережили
зиму голодного года.

Григорий Корин



Синевы не омрачу.
Облака не поколеблю.
Дань пожизненно плачу
Успокоенному небу.
В жестком шлеме, мслодым
В небо поднятый войною,
Над балтийскую войною
Я вплетал в огонь и дым.
И за мною в этот ад
Над палящим жаращим судном
С интервалом двухсекундным
На смерть «Илы» шли подряд.
И в сожженных обшлагах
Встал я у родного дома,

Словно ангел, в небесах
Уцелевший от разгрома.
Только моря я страшусь,
Там, в необозримой бездне,
Много ангелов небесных,
На которых я молюсь.



Это явь или сон мой краткий,
Жеребенок на брусчатке.
Не видались сорок лет,
Двигается за мною вслед.
Золотистый, лучезарный,
Той же площадью базарной,
Уцелевшей на войне,
Вновь со мной наедине.
Он такой же длинноногий,
И подтянутый, и строгий,
В светлых венчиках копыт
Мокрым солнышком звенит.
Тот же самый, тот же самый,
Для которого у мамы
Я выпрашивал мальцом
Ожерелье с бубенцом.
И повадка точно та же:
Не дает и слова даже
Рядом вслух произнести,
Тут же норовит уйти.
Через сорок лет откуда
Прискакало это чудо!
Не забыло обо мне,
Бьет копытом в тишине.
И себе представить даже
Я не смог бы встречи нашей.
Ты исчез на той войне
В первом же тревожном сне.
Ты не трусь, мой жеребенок.
Это в детстве я, спrosoнок,
Норовил тебя обнять,
Колокольчик твой достать.
Ты иди, иди брусчаткой,
На меня гляди укрядкой,
И не бойся, это я,
И не оставляй меня.

Глеб Горбовский



Все некогда осмыслить бег времен:
крушение эр, эпох звездопаденье,
мерцанье душ в коробочках имен,
стремленье тел — за собственную тенью...

Больничным коридором узок путь.
В конце — дыра: общение с родными.
Так в чем же суть! В падении на груди!
Но кто спасет, но кто тебя примет!

Кто не прогонит с собственной груди,
кто на тебя прольет молитву взгляда!
Любовь людей! Иного нет пути...
Она в тебе. И звать ее не надо.

Перед полетом

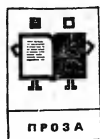
Легчайшая, промчавшаяся пухом,
на склоне неба выдохлась звезда.
Душа ждала...
Ворочал космос брюхом.
Над головой трещали провода.
Опомнившись, отброшенная телом,
душа ждала...
Дышал аэродром.
И отлетали в свете пожелтелом
тепла людей, спокойные, как бром.
Стотонная, как крупная надежда,
тень лайнера покинула бетон.
Душа ждала...
Хлестала щеки нежность.
В стоячих буквах дергался неон.
Бескрылые чирикали созданыя
меж водорослей гнутых фонарей.
Душа ждала...
И опускалась стая
очередных стальных нетопырей.



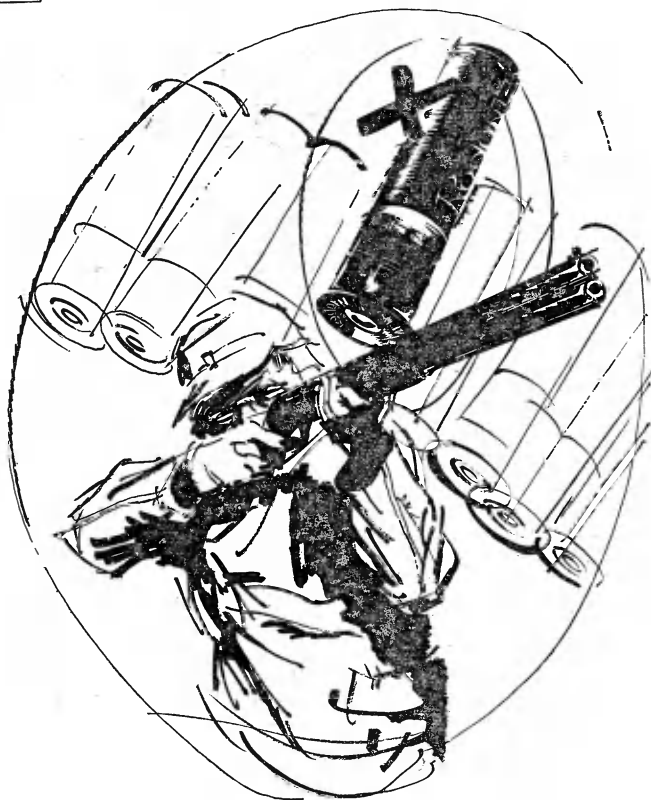
Меня ворона вдохновляет!
Ударил розовый мороз.
Восток алеет.
Поезд лает.
В дым заводской вошел наркоз:
окаменел, почил дымокочек...
Ворона — скок!
И тяжело,
как бы клочок прошедшей ночи,
парит,
разинув злые очи!
Но солнце терпит это зло...



Они гнездо с любовью вили,
вбивали нежно каждый гвоздь.
А после жили в этой «вилле»
вдвоем — счастливые насквозь.
Изда возникла возле речки,
в объятьях сосен и берез.
По вечерам журчала речь их
у камелька, коли мороз.
Весной пристроили курятник,
цветы и пару юных груш.
И стала их судьба нарядней,
и даже смех коснулся душ...
Под черепичной чешуею
ковчег их плыл сквозь сенокос.
И Млечный Путь над головою
весь изогнулся, точно мост.
Но захотелось людям в Киев.
Заколотили дом — и в путь...
...А что за люди, кто такие!
Не в этом соль, не в этом суть.



Анатолий
ГОЛУБЕВ



Рисунки
Г. НОВОЖИЛОВА

ЧУЖОЙ

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



Наспех перекусив, Алексей выскочил из дому. По привычке завернул к газетному киоску. Не раскрывая «Советский спорт», нырнул в двери метро. Только в вагоне, прижатый к задней стенке прибывающими на каждой станции пассажирами, он ухитрился развернуть газету. Его толкали в бок, в спину, но он упорно пробежал глазами по страницам. В конце четвертой Алексей увидел маленький черный квадратик некролога. «...с прискорбием сообщают о трагической гибели заслуженного мастера спорта, выдающегося советского стрелка, обладателя олимпийской серебряной медали, девятикратного чемпиона страны Александра Васильевича Мамлеева...»

Алексея этот некролог поразил. Еще два дня назад он читал, что Мамлеев — наша самая большая надежда на предстоящих Олимпийских играх, верная золотая медаль... Что же произошло с Мамлеевым?

Алексей продолжал машинально просматривать газету, но мысли его вновь и вновь возвращались к некрологу.

«Нет, Алешенька, — обратился он к самому себе, — с такими нервами, как у тебя, надо, конечно, искать более спокойную работенку. Сказать кому-нибудь — не поверят: инспектор МУРа, как сентиментальная барышня, расстроился, прочитав некролог о совершенно в общем-то ему неизвестном человеке...»

Когда он подходил к управлению, стрелки больших уличных часов показывали пять минут десятого. «Опять опоздал», — огорчился Алексей.

Он солидно, словно опоздание на работу было дозволено ему начальством, предъявил дежурному

1

удостоверение и прошел в свою комнату. Здесь стояло четыре больших стола, к каждому, словно для устойчивости, притулились коричневые негормонные шкафы.

И хотя в комнате работало четверо, Алексей не помнил, чтобы за год его работы они собирались вместе больше чем на час. Командировки, задания, срочные вызовы...

Вошел старший следователь Петр Петрович Стуков, чей кабинет находился напротив.

«Интересно, — подумал Алексей, — этот Стуков хоть когда-нибудь в жизни опаздывал на работу или вот так всегда — минута в минуту на месте?..»

А Стуков, словно угадав, о чем думает Алексей, сказал ему с усмешкой:

— Начальник отдела тебя разыскивал. Уже дважды звонили из приемной...

— Он что, специально меня выслеживает? Прямо особое чутье у нашего шефа на опоздания инспектора Алексея Воронова! Как задержался на минуту или вышел, тут же вызывает...

— А ты объявление над столом вывешивай: «Ушел на обед, если не вернусь, то и на ужин», — ехидно посоветовал Стуков. — Или задерживайся на час, на два. Тогда опоздание будет выглядеть не опозданием, а задержкой на объекте! Как у всех других...

Воронов хотел было ответить, но сдержался и пошел к двери. Уже на пороге обернулся и спросил Стукова миролюбиво:

— А не знаешь, зачем вызывал?

— Не знаю, товарищ Воронов, не знаю. Наверно, ответственное дело поручить хочет, — сказал Стуков и состроил страшную рожу.

— Ну и яzza ты, Петр Петрович! — покачал головой Воронов. — Ты же прекрасно знаешь, что таким бездарностям да еще разгильдяям ответственных дел не поручают.

ПАТРОН

— Ну, почему же? По ошибке все могут... Начальник отдела был занят. Секретарша продержала Воронова в приемной почти полчаса. «Это не случайно. Не иначе, как в отместку, что не явился вовремя».

Но когда открылась дверь кабинета и оттуда торпильно высочили четверо следователей, Воронов понял, что его подозрительность насчет мести была, пожалуй, излишней. У него даже улучшилось настроение, и он, войдя в кабинет начальника отдела, лихо отрапортовал:

— Товарищ полковник, инспектор Воронов по вашему вызову...

— Садитесь, Воронов...— довольно сухо сказал начальник отдела, и Воронов вновь почувствовал угрозу выговора.— У меня к вам поручение. Оно касается одного дела, которое...— Он хотел, очевидно, дать свою оценку делу, но передумал и вдруг спросил:— Вы, кажется, занимались стрельбой?

— Да,— удивленный таким неожиданным вопросом, неуверенно ответил Воронов.— Уж не касается ли дело трагической гибели Мамлеева?

— О! Похвально, что инспектор МУРА начинает свой рабочий день с просмотра газет, в их числе и спортивной. Если только по этой причине вы иногда задерживаетесь с приходом на работу, то можете считать, что я вам простил все ваши опоздания. Заранее... Авансом!

Полковник Жигулев повернулся в кресле и взял с самого дальнего конца стола тощую, почти пустую папку. На ней даже не было поставлено порядкового номера.

— Произошел несчастный случай во время отборочных соревнований. У стрелка Мамлеева разорвало патронник. Штука довольно редкая. И на этот раз, к сожалению, трагическая. Обычно, вы знаете, что бывает?

— Да— Алексей утвердительно кивнул головой.— Отбивает плечо, скрупула набьет, если попался старый или неудачный заряд. Иногда чеку так раскрасит, будто свеклой натерли. И уж тогда не до стрельбы...Если врач вообще от соревнований не отстранит...

— Вот-вот,— сказал полковник,— на этот раз последствия куда хуже: погиб человек... Выезд на место происшествия, осмотр оружия, выводы экспертизы позволяют считать произошедшее несчастным случаем. Это по крайней мере утверждают многие специалисты. Но не все...

Полковник Жигулев замолчал, словно раздумывая, надо ли сообщать Воронову, что ему еще известно о смерти Мамлеева.

— Отправитесь на стенд «Локомотива», найдите Николая Николаевича Прокофьева. Это бывший старший тренер сборной страны. Потом, кажется, начал пить и сейчас работает не то просто тренером, не то методистом. Он мне звонил...— Полковник опять задумался.— Утверждает, что история с Мамлеевым не случайная. Поскольку погиб человек, да еще есть такое предположение, следует проверить. Попробуйте присмотреться к нему... Только, пожалуйста, без натяжек. Если убедитесь, что несчастный случай, так и запишем. Не нравятся мне звонки этого Прокофьева...

Начальник отдела передал Алексею тощую папку.

— Здесь заключение федерации стрельбы и данные вскрытия. Не густо... А вы, кстати, занимались какой стрельбой?— стендовой или пулевой?

— Пулевой, товарищ полковник,— как бы извиняясь, ответил Воронов.— А здесь, насколько я понимаю, речь идет о круглом стенде.

— Тогда не стесняйтесь тревожить специалистов.

Где стенд «Локомотива» находится, вы знаете? Думая, пяти дней на исполнение хватит.

Только в коридоре до Алексея дошло, насколько бесцветным и неинтересным— даже трудно назвать «делом»— было новое поручение.

Пока Воронов шagal от кабинета начальника до своей комнаты, он мучительно думал, как сообщить о полученном задании Стукову, чтобы вновь не вызывать на его противном лице злорадную улыбку.

— Можно поздравить?— спросил Стуков, расположившись за столом Алексея.

Иронический взгляд старшего следователя заставил Воронова оторваться. Стараясь держаться как можно непринужденнее, Алексей повел плечами и сказал:

— Судя по всему, самое обыкновенное убийство.

— Убийство или несчастный случай?— переспросил Стуков.

И Воронов понял, что Стукову давно известна и причина вызова к начальнику отдела и суть нового задания.

— Уж не твоих ли это, Петр Петрович, рук дел?— настороженно спросил Воронов.

— Моих,— удивительно просто, будто своим старанием он осчастливил Воронова, признался Стуков.

— Послушай, Петр Петрович, откуда ты все знаешь?— Алексей пропустил признание Стукова мимо ушей, сочтя его очередной шуткой.— Так ведь нельзя жить. Неинтересно существовать, когда лишней радости познания!

— Видишь ли, дорогой Алекс,— изменив имя Воронова, Стуков явно хотел его подразнить,— суть нашей работы — знать как можно больше. Причем девяносто девять процентов знаний, сидящих вот здесь,— он постукал пальцем по своему высокому, открытому лбу,— могут никогда не понадобиться. Носледователь должен знать все. И даже больше, чем все. Знать даже то, что ему совершенно не надо знать при работе над порученным делом.

Страсть Стукова к афоризмам известна была давно. У Воронова она вызывала неприязнь. Алексею всегда казалось, что таким мудрствованием Стуков хотел подчеркнуть свое превосходство над ним, инспектором, к тому же начинающим.

— Ява ты, Петр Петрович!— Алексей осуждающе посмотрел на Стукова и хлопнул пустой папкой по столу.

— Да, что есть, то есть!— С показным удовольствием Стуков ударил себя в грудь кулаком.— А ты не расстраивайся, товарищ Воронов. И ты скоро таким станешь. Наша работа тому очень способствует.

Воронов ничего не ответил и демонстративно погрузился в изучение трех листочков, лежавших в папке.

2

Вычурный забор стенда «Локомотив» тянулся почти на полкилометра. Его решетка утопала в желтоватой предосенней листве тополей. От них тянуло ночной прохладой, хотя взошедшее солнце уже придало воздуху терпкий запах предстоящего жаркого дня.

Чем ближе подходил Воронов к арке главного входа, тем явственнее различал он звуки выстрелов. Башни с металлическими машинами выросли внезапно. Стреляли лишь на двух соседних площадках. На первой пожилой, полный человек с большими очками на круглом лице отдавал команды слишком громко, как это обычно делают новички. Да и стрелял он не лучше зеленого салазанка. После каждого промаха зло переламывал ружье и зачем-то зляг-

дывал в стволы, словно виновник его неудачи прятался в черных вороненых трубах. На второй площадке, наоборот, царило спокойствие, хотя выстрелы звучали здесь гораздо чаще. Стреляли четверо. И по тому, как они готовились к очередному выстрелу, как произносили — не то приказывали, не то просили — «Дай!», и по тому, как еще не успевало отзвучать долгое «а-а-а», а навстречу черным дискам, вылетавшим из окошка то левой, то правой башни, уже вскидывались стволы, было видно, что стреляют мастера.

Воронов подошел к ним, насколько позволял маленький барьерчик, отделявший стрелков от зрителей. Двое, почти юности, в цветастых рубашках, с лихо заброшенными на плечи переломленными «боками»¹, выходили, в свою очередь, к номерам и старательно, методично отстреливали то одиночку, то дублет. Высокий melancholicкий мужчина, лет на десять старше юностей — так показалось Воронову на первый взгляд, — стрелял безукоризненно. При помахивании своих конкурентов громко произносил смешные слова «Пудель!». И тихо хихикал. Четвертый стрелок — жилистый, маленького роста, с длинным телом на коротких кривых ногах — казался абсолютной противоположностью сдержанным соперникам. Он стрелял картинно, ни одного шага, ни одного движения не сделал без заботы о том, какое впечатление произведет это на зрителей. Однако результаты показывал приличные. После каждого его выстрела даже черный дымок, вспыхивавший в воздухе от разбитой тарелочки, казалось, был замысловатей и красивее.

— Дай!

Два выстрела почти слились воедино, но одна из тарелочек, описав длинную правильную дугу, немешиво рухнула в траву невредимой. Маленький даже подпрыгнул от досады. Другие стрелки захохотали. А высокий насмешливо сказал:

— Ну, Игорек, насмешил! Давно не видел у тебя такого пуделя.

— И на старуху бывает проруха... — огрызнулся маленький и крикнул: — Дай!

Двумя выстрелами он элегантно разбил обе тарелочки.

— Как на скрилке играет... почему-то вслух произнес Воронов и вздрогнул, когда рядом с ним откликнулся хрипловатый голос:

— Не скрипач он, а лижон старый. Никак ума-разу за столько лет набраться не может...

Воронов повернул голову — перед ним с метлой в руке стоял старичок, точь-в-точь из детской сказки: со сморщенным кукольным личиком и маленькими глазками, скорее бесцветными, чем серыми. Единственное, что можно было назвать крупным в его облике, был толстый, расплюснутый нос.

— А вы чей будете? — как-то по-деревенски спросил дед, пристально осматривая Воронова. — Спартаковский аль динамовский?

Воронов подумал, стоит ли отвечать деду вообще, но решил, что разговор с ним может быть полезен.

— Скорее, пожалуй, динамовский, чем спартаковский...

— И новенький, небось?

— И это, пожалуй...

— То-то прежде на глаза не попадался... Так ваши, динамовских, сегодня никого нет. Беда у них — лучшего стрелка не уберечь. Слышал, небось? — Дед решил, что разница в годах вполне позволяет ему перейти на «ты». — Мамлеев-то Сашка слыхом-вал на оборочных... На днях хоронить будут...

Дед снизу вверх посмотрел на Воронова, чтобы определить, какое впечатление произвели на новичка его слова.

— Слышал, дедуся, слышал, — ответил Воронов и понял, что это признание отнюдь не доставило удовольствия говорливому деду. Но долгий — лет в семьдесят — жизненный опыт, видно, приучил старика к разным, куда более неприятным неожиданностям, и дед со свойственными старости умением во всем найти утешение согласно закивал головой.

— Вот и хорошо, коль слышал. — А то тут всякие вокруг бродят, а даже фамилии Мамлеева произнести правильно не могут. Ты, может, и знал его, покойника, царство ему небесное? — сказал дед, но перекреститься забыл — то ли метла мешала, то ли в бога верил лишь в присказках.

— Нет, не довелось. — Говорливость деду начала раздражать Воронова. Он снова повернулся к стрелкам и, не оборачиваясь, спросил: — А это кто сейчас на номере?

— Это-то? Наш, локомотивовский. Дублет пропуделял который — Игорюша Мельников, несерьезный стрелок, хотя иногда и с удачей. Ниже десятки в чемпионстве страны не опускается. А рядом с ним, — голос деду стал сразу ласковым, как у матери, говорящей о любимом ребенке, — высокий который, с волосиками зализанными, это и есть сам Вишняк... Валерий Михайлович. — Стреляя подчеркнуть свою уважительность, дед приблизил к фамилии имя и отчество. — После смерти Мамлеева во всей нашей стране лучше его стрелка нету. Жадный до побед был покойник. Никакого пути при нем Вишняку не было. И не любили они за это друг друга... Первый в нем соперника всегда чуял, а второму первого за что любить? — то ли спросил, то ли констатировал дед.

Слова деду о взаимоотношениях Вишняка и Мамлеева заинтересовали Алексея.

— Прокофьев — это тренер Вишняка? — осторожно спросил Воронов.

— Был тренер. А сейчас какой там тренер — за булдыга, и только!

— Что-то я смотрю, дедуся, у вас все люди плохие. Кроме Вишняка, вы вроде никого и не любите?

— Не тебе судить, мил-человек! Я здесь почти тридцать лет работаю. Всехких перевидал. И кого за что любить, сам знаю!

— Неужели тридцать лет? — деланно удивился Воронов. — Ну, раз так, мне с вами, дедуся, поговорить как следует надо. Пойдемте где-нибудь присядем и потолкуем.

— Некогда толковать. — Глаза деду впервые колоча блеснули. — Вам что — патроны пожар да и гуляя, а тут всю какую территорию убирать!

— Дедуся, я из уголовного розыска. — Алексей достал свое удостоверение и показал деду. Воронов почтительно, что старик отпрянул от него слишком испуганно. — Хотелось бы порасспросить вас о Мамлееве...

— Вот как! — Дед на минуту о чем-то задумался. — По брехне Прокофьева, небось, пришли? Наболтал спьяну, что не беда это, а убийство?

Воронов вздрогнул. Впервые, пожалуй, слово «убийство» в связи с делом, если его можно было так называть, Мамлеева прозвучало столь грубо в своей безжалостности.

— Почему вы думаете, что Прокофьев? — переспросил Алексей больше для того, чтобы выиграть время на размышление.

— Он на всех углах об этом трезвонит. Будто сам никогда с оружием дела не имел. Знает ведь, что даже незаряженное единожды в жизни само стреляет...

¹ Ружье с вертикальной постановкой стволов.

Они прошли к длинному, желтого кирпича зданию бани и сели возле глухой боковой стены. Место оказалось удобным: видно было, как продолжали стрелять четверо на второй площадке. Время приближалось к полудню, солнце начало припекать. Дед, двигаясь по скамейке, забился в тень и спросил:

— Подозреваете что аль просто?... В вопросе старика Воронову почудилась какая-то особая заинтересованность.

— Пока просто...

— Угу... Дед мрачно согласился. — Так вот, молодой человек, поверьте моему опыту и слушайте: обычное несчастье. Бывает, от долгого лежания заряд как бомба становится. И тогда жди беды. Может, еще по какой нелепости. Но только услышу злому здесь быть не можно. Да и что кому от Мамлеева надо?

— Ну, а, скажем, Вишняку? Ведь ему Мамлеев мешал? Может, тот пошутить хотел или еще что... А получилось...

Дед не ответил и тем самым еще больше насторожил Воронова.

— Я тебе, мил-человек, случай расскажу. Старый. Из того еще времени. Отец мой, мастер-краснодеревщик, большой охотник до ружья был. Пошел однажды по утям. И не вернулся. Нас, между прочим, в хате тринадцать ртов было — один другого младше. Только на другой день утром нашли его — лежал, бедолага, в ста шагах от большака, по которому каждую минуту телеги ползли. А крикнуть сил не осталось. Из болота почти два километра то на четвереньках, то ползком выбирался. А приключилось непонятное — разорвало замок у ружья. Оно курковое было. Курок пробил толстый кожаный козырек на батиной кеки и лоб рассек. Так кровью и вышел. Помер сам, по нерадивости... Дурным патроном пользовался...

История, рассказанная дедом, никакого отношения к делу не имела. Алексей уже собирался спросить, что думает тот о Мамлееве как о человеке, но дед опередил его.

— А покойник не спрашивай! Я его плохо знал. Не наш он. Вон Прокофьев шагает. — Старик кивнул на арку главного входа, от которой шел человек в застиранных тренировочных брюках и рубаше на выпуск. — Он когда-то Мамлеева тренировал. Лучшее моего, гражданин начальник, все расскажет.

— Что, дедуся, не всегда с законом дружили?

— Уж было... По глупости своей да подлости чужой... — тихо проговорил дед, и Воронов увидел в его маленьких глазках нескрываемую неприязнь.

Не прощаясь, дед встал и начал тут же махать метлой без особой на то нужды. Он исполдobia бросал редкие взгляды в сторону приближающегося Прокофьева. Но Воронов твердо решил, что к Прокофьеву подходить, не выяснив хотя бы общей раскладки сил в этих далеко, очевидно, не простых отношениях, нет смысла. Алексей пошел к выходу со стрельбища, лишь смирив Прокофьева внимательным взглядом. Когда у ворот Воронов оглянулся, оба — и Прокофьев и дед — смотрели в его сторону.

3

Со стэнда Алексей отправился в научно-исследовательский институт мер и весов, в котором работал Мамлеев.

Здание института высилось на стрелке двух проспектов. Стекло, алюминий и окна, окна, словно весь дом держался на одних оконных переплетах.

Кроме благодарностей и похвальных отзывов от деле кадров да портрета в траурной рамке, выстав-

ленного внизу, в холле, Воронов ничего не нашел. Поначалу показалось, что Мамлеев был человеком, лишенным даже маленьких слабостей. Члмпион, как единодушно утверждали все, с кем Алексей переговаривал, не курил, не пил, увлекался только наукой и спортом. И еще — об этом упоминали лишь намеками — дружил с сослуживцей Галиной Глушко, но ее вот уже второй день на работе не было. Воронов записал фамилию и адрес на случай, если она понадобится раньше понедельника, когда должна выйти на работу.

«Галина Глушко... Галина Глушко... Кстати, Мамлеев женат. У него дочь. И «подруга» на службе... Пожалуй, женатому человеку лучше искать себе друзей среди мужчин... Воронов усмехнулся. — Холостякам, как я, еще можно себе позволить дружить с молодой женщиной. И то язва Стуков сразу же придаст знакомству такую огласку, что в пору и в загс идти».

В понедельник утром Воронов, едва он успел сесть за стол, отчек телефонный звонок.

— Кто это? — грубовато прозвучало в трубке.

Такая манера обращения бесила Воронова еще со студенческой скамьи.

— А это кто? — Он почувствовал, что на другом конце провода смущились.

— Мне бы товарища Воронова...

— Я вас слушаю. Здравствуйте, — любезно произнес Алексей.

— Здравствуйте, — буркнуло в трубке, — Прокофьев говорит.

Последние слова были произнесены таким тоном, словно ася планета должна была знать Прокофьева и угадывать его голос сразу. Воронов не смог отказать себе в удовольствии подразнить говорившего.

— Простите, который Прокофьев?

И Алексей увидел, как вошедший Стуков насмешливо покачал головой: мол, вот и ты язвой становишься!

— Тренер Прокофьев. Из «Локомотива». Я относительно Мамлеева хотел с вами поговорить.

— Очень хорошо. Как раз сегодня собирался побывать на «Локомотиве». Давайте условимся о встрече.

— Я тут случайно оказался рядом... Может быть, лучше к вам зайти? Готов сейчас, если дел у вас нет!

Последнее замечание обидело Воронова.

— Дел у нас всегда хватает, как вы знаете. Но копь случайно оказались рядом — заходите! — И Воронов назвал номер комнаты. — Пропуск я вам скажу.

— Настоящий товарищ. — Стуков покачал головой. — Любопытно. Я тебе мешать не буду, если присутствовать!

— Напротив. Даже интересно, какое впечатление он произведет на тебя здесь, в управлении. Говоришь, во время оперативного выезда на стэнд держался скромно и замкнуто? Потом сраним.

Алексей узнал Прокофьева сразу, хотя сегодня он был в приличном костюме, а не в старых тренировочных брюках и рубашке на выпуск, как в прошлый раз.

«Вот тебе и случайно! Вранье — плохое начало для откровенного разговора...»

Белая рубашка с ярким галстуком, повязанным крупным узлом, отглаженные брюки и начищенные ботинки — все говорило о том, что человек заранее и тщательно готовился к встрече.

— Товарищ Прокофьев, прошу! — Воронов указал на стул. И от него не укрилось промелькнувшее в глазах Прокофьева явное разочарование, что инспектор слишком молод.



Алексей с любопытством смотрел на Прокофьева. Странно, но на его лице не видно было зримых следов тех пороков, которые приписывали ему. Живое, с такими же живыми глазами. Маленькие усики смешно дергались под носом, словно он все время что-то вынюхивал. Пожалуй, только землистый цвет лица говорил о неформальном образе жизни.

Усаживаясь, Прокофьев сказал:

— Жаль, не знал, что ты вчера у нас были. Остановил бы, поговорили...

— У вас хорошая память на лица, — попытался сделать комплимент Воронов, но Прокофьев его не принял.

— У стрелков это профессиональное. Глаз — как оптический прибор. Иначе на стенде и делать нечего.

Прокофьев внимательно огляделся, и снова тень разочарования пробежала по его лицу, когда он понял, что Стуков не собирается уходить.

Воронов объяснил:

— Это наш товарищ. Надеюсь, он разговору не помешает?

— У меня нет особых секретов. — Прокофьев глубоко вздохнул, словно собираясь нырнуть, и спросил: — Вы когда-нибудь ружье в руках держали?

— Положим, держал, — смущенно признался Воронов.

— И ладно. Тогда знать должны, что современное ружье, да еще такое, как «Меркель», от «здравствуйте, пожалуйста» не разорвется. С патронами начудить что-нибудь — не такой Мамлеев человек. Бреглив он был до патронов. «Звездочкой» только в очень хорошем настроении стрелял. Обычно родо-овский патрон предпочитал. Сколько бы ни стоило.

Воронов хотел задать какой-то вопрос, но Прокофьев остановил его грубоватым жестом. Маленькие усики под носом неестественно задрожали:

— Вы меня не перебивайте. Потом, если что, спросите. Хочу изложить все, что думаю. Уж там сами рассудите! — Прокофьев помолчал, как бы вспоминая непроявленную часть заученной роли. — Я говорить о Мамлееве могу долго, потому как он на моих руках в стрелка превратился. Прокофьев — это вам все скажут — и до сборной его довел. Потом он меня, правда, обидел... Очень. За две недели до поездки на игры другого тренера потребовал. Ну, да ладно! Вам об этом дед не мог не рассказать... — Прокофьев искоса взглянул на Воронова.

«Итак, Прокофьев и дед действительно недолго любил друг друга. Дед об этом лишь мимоходом обмолвился, а Николай Николаевич уже считает, что все косточки его перемять».

Прокофьев достал сигареты.

— Закурить у вас можно?

— Пожалуйста.

— И вы угощайтесь.

— Спасибо, не курю...

— Это по молодости. С годами пройдет. Лучшие сигареты ничего души не отведают. Даже добрая чарка водки.

— Неужто?

— Намакете на то, что пью? Случается. На это тоже годы нужны, чтобы понять.

Прокофьев давил на молодость собеседника, прекрасно понимая, что это должно по меньшей мере раздражать Воронова. И Алексей не мог взять в толк, зачем Прокофьев нарочито вызывает к себе антипатию. А Прокофьев вел себя именно так.

— Должен вам сказать, что Мамлеев не умел жить с людьми, не умел и не хотел быть им благодарным за что-либо... Хотя о покойниках и не принято говорить плохо... Что касается спорта, то стрелял знаменито. Не раз отмечали знатоки его школу, —

не без гордости произнес Прокофьев, сделав нажим на слово «школа». — Не было ему равных на стенде. Потому и завистников — хоть отбавляй! Странный был парень, этот Александр Мамлеев. Я его за долгие годы так толком и не смог понять. Но одно скажу: не случайно происшествие на отборочных. Умысел здесь явный. Вот только чей? Это уже скорее по вашей части. Но во имя Шашкиной памяти... — Прокофьев вдруг пустил настоящую слезу.

Воронов ошел. Никак не вязалась эта sentimentalность с грубоватым обликом Прокофьева.

«Неужели играет? — подумал Воронов. — Действительно, думает, что перед собой мальчишку видит, мол, все проглоти!»

— Николай Николаевич, а вы знаете, что «Меркель» Мамлеева был в ремонте незадолго до отборочных?

По тому, как сник Прокофьев, как опустились его плечи и нервно задергались правый ус, Воронов понял, что он не мог нанести более сильного удара. Но вот только вовремя ли?

— Да, знаю, — глухо ответил Прокофьев.

— И имя мастера назвать можете?

— Могу. — Николай Николаевич помолчал. Потом поднял глаза на Воронова. В них было тупое безразличие. — «Меркель» Мамлеева чинил я...

4

Разговор с Прокофьевым затянулся. Николай Николаевич злился все больше. При его словах «набрали мальчишек» Воронов едва не сорвался. Чем бы закончился этот разговор, сказать трудно, если бы в ту минуту Алексей не взглянул на Стукова. Петр Петрович едва заметно успокаивающе кивал головой.

— Да, неприятный человек! — только и сказал Алексей, когда за тренером из «Локомотива» закрылась дверь.

Стуков с наслаждением откинулся от стола, словно давно ждал подходящей минуты.

— У нас профессия такая — чаще с неприятными приходится сталкиваться! А вообще, инспектор Воронов, ты молодец. Что давить на него не стал — верно поступил. Только в руках себя держать надо...

— Ну, спасибо. Пожалуй, первые добрые слова в мой адрес от тебя слышу, — расчувствовался Воронов.

— Ну и язва ты...

— Что есть, то есть, — по-стуковски ткнул себя в грудь Воронов и рассмеялся, поддерживая игру. — А теперь, Петр Петрович, серьезно. Как?

— Ничего говорить не буду. Начинаешь правильно. Мягко. Не хочу своим мнением сковывать. Одно замечу: Прокофьев однажды, когда еще сам выступал, лежал в больнице после подобного случая. Приятель пошутил! Хорошо, все обошлось. Легким сотрясением мозга отделался.

— Откуда это известно?

Стуков развел руками:

— Секрет фирмы. Ну, уж ладно, открою... Знакомый случайно рассказал. Есть такой спортивный журналист Сергей Бочаров. Года два назад я это слышал, сейчас припомнилось. Правда, обязательно проверить нужно...

— Да, память у тебя, Петр Петрович!..

— Что есть, то есть. Отнесись к делу как можно серьезнее. Опыта у тебя стало больше, вкус к работе появился, а это — главное. Если дело не такое, как мне кажется, все равно урок зря не пропадет. Начальство особых претензий иметь не будет — так несчастным случаем и останется.

Воронов открыл папку и вновь принялся просматривать собранные документы. Прежде всего попалась справка о precedenteх. Подобных происшествий зарегистрировано три, и все во время охоты.

«Впрочем, статистические данные не являются доказательством в судебном разбирательстве», — вспомнил Воронов слова своего любимого профессора-правоведа.

Далее шла характеристика оружия, силовые динамометрические измерения, параметры деталей. Воронов пробежал колонки цифр беглым взглядом. В первую очередь его интересовал ответ на вопрос: как казался ремонт «Меркеля» на безопасность оружия? Вывод экспертизы разочаровывал: никак. Во время ремонта была произведена только регулировка бойка. Сборка ружья выполнена профессионально и очень тщательно.

Но следующая фраза в акте настораживала: «Разрыв произошел по старому исходу медного винта, удаленного, судя по следам, незадолго до происшествия. Предполагаем, что винт держал у локтя какой-то специальный предмет прямоугольной формы. Возможно, пластину с деревянной надписью».

Неопределенность основного вывода экспертизы огорчала еще больше:

«Как показало обследование, в самом оружии следы одного или нескольких дефектов, которые бы могли послужить причиной, приведшей к разрыву, не обнаружены. Хотя невозможность восстановления первоначальной формы патронника и замковой части не исключает наличия конструктивного дефекта — заводского или внесенного позднее, — приведшего к летальному исходу».

Воронов отложил заключение, которое практически ничего не давало. Правда, если поразмыслить, оно в какой-то мере реабилитировало Прокофьева, и появлялись «некто», державший оружие в руках позже тренера из «Локомотива». Этот «некто» (по словам Прокофьева, Глушко) даже удалял с оружия пластину.

Воронов накал несколько вопросов, ответы на которые следовало найти как у Прокофьева, так и у специалистов по стендовой стрельбе. Он решил позвонить в федерацию стрельбы.

— Пойдем-ка лучше пообедаем, — предложил Стуков, заглядывая в комнату. — Так и до голодного обморока доработаться можно.

— Что-то есть не хочется. Посижу. Авось, что дадут.

— Может случиться и такое. А я пойду. У меня от голода головные боли...

Когда Петр Петрович ушел, Воронов еще несколько минут сидел в раздумье. «Что дал ослот места происшествия и оружия? Почти ничего. Да и кто мог предположить, что Мамлеев погибнет! А оружие...»

Черные воронены столбы вертикальной посадки выглядели так, словно лишь вчера вышли из цехов завода. Только на месте патронника зияло равное рыжее вздутие. Ложке хранило также бумажные пятна крови. Их не удаляли, поскольку они помогали сориентировать положение оружия в момент разрыва. Причиной смерти Мамлеева был продолговатый осколок. Он попал в глаз и прошел в мозговую полость. Именно поэтому все попытки спасти Мамлеева ни к чему не привели. Две долгие операции подряд делал главный хирург городской больницы Андрей Семенович Савельев...

Алексей вспомнил прошлогодно охоту в одном из подмосковных охотхозяйств, когда ему довелось впервые взять в руки «Меркель». Ружье «сидело», словно влитое. Воронов, несмотря на непреложное

правило не играть с оружием в помещении, даже сделал несколько вскидок.

Это воспоминание о «Меркеле» заставило Воронова под-ознательно уверовать, что дело не в оружии. Предубеждение всегда плохо. Воронов понимал это, но ничего с собой поделать не мог.

5

Алексей терпеливо дождался конца тренировок Вишняка. Приняв душ, тот вышел разгоряченный, в приподнятом настроении, но совсем растерялся, когда Воронов представился ему.

— Скажите, товарищ Воронов, я еще не арестован? — спросил он, шуткой стараясь скрыть смущение.

— Пока нет, иначе вам пришлось бы называть меня «гражданин Воронов»...

— Отлично. Не сможете ли вы меня тогда утешить? Давайте поедем ко мне домой, там обо всем спокойно и поговорим. Жена должна быть сегодня дома — может, что-нибудь соорудит на скорую руку.

Когда они вдвоем выходили со стрельбища, им навстречу попался Прокофьев. Воронов перехватил настороженный взгляд Вишняка — как инспектор прореагирует на встречу с Прокофьевым? Эта деталь показалась Воронову интересной, но он не подал вида, и Вишняк как-то успокоенно зашагал дальше. Они подошли к зеленой «Волге».

— Старенькая уже: двести тысяч скоро накатают. Сыплется помаленьку. Надо бы новую, да пороку не хватает, — поплакался Вишняк, открывая дверцу.

— Стрелять меньше надо, вот порох и останется, — сострил Воронов.

— В нашем деле как раз наоборот, — отпаривал Вишняк.

Пока они ехали, Воронов наблюдал за Вишняком. Тот вел машину спокойно и решительно. Чувствовался не только водительский опыт, но и точный профессиональный глаз. Вишняк почти не пользовался тормозами. Находя лазейки в потоке машин, он про-скальзывал по инерции к перекрестку именно в тот момент, когда давали зеленый свет.

Жены дома не оказалось. И по тому, как недовольно передернулось лицо Вишняка, Алексей сделал вывод, что в этом доме далеко не мирная супружеская жизнь. Вишняк нервно ходил по комнате, не зная, за что взяться, чем-то долго гремел на кухне и наконец появился с открытой бутылкой сухого вина и двумя стаканами.

— Предлагаю смочить разговор. Или, согласен... — Он хотел, видно, что-то сказать о службе Воронова, но Алексей перебил его:

— Ради первого знакомства даже нужно. Если есть опасение, что «сухой» разговор получится.

Алексей испытующе посмотрел на хозяина, но тот спокойно выдержал взгляд и миролюбиво сказал:

— Опасений никаких нет.

Он не успел наполнить стаканы, как входная дверь с шумом хлопнула, и в комнату вошла маленькая, хрупкая женщина с большими, казалась, во все лицо, важными карими глазами. Они недобро вскинулись на Воронова, но слова были обращены как к нему, так и к мужу.

— Пьете? Прямо с утра?

Вишняк смущенно потер руки. И не нашел ничего лучшего, как сказать:

— Выпьем с нами, Светлана? Это, познакомься, — спохватился он и закончил какой-то странной, неук-

людей фразой: — Следователь по истории с Александром...

Слово «следователь» произвело на Светлану впечатление какой-то нависающей опасности. Она даже шарахнулась к мужу.

— Солнышко, сооруди что-нибудь из закуски. — Вишняк назвал Светлану ласковым, очевидно, принятым в этом доме прозвищем, по мнению Воронова, плохо вставшимся с отношениями супругов.

Светлана, извинившись, ушла на кухню и через минуту принесла две тарелки с крупно нарезанным сыром и колбасой, которые она, очевидно, только что принесла из магазина. Сочтя миссию гостеприимной хозяйки выполненной, она с ногами забралась на диван.

Присутствие жены Вишняка при разговоре совершенно не устраивало Воронова, но он считал не тактичным дать это понять, хотя весь смысл приезда домой для открытого, доверительного разговора сразу терялся.

— Что вы думаете обо всем этом? — Вишняк упорно не хотел произносить слово «смерть».

Воронов неопределенно пожал плечами.

— Не знаю. Я мало знаком с сопутствующими обстоятельствами, если таковые имеются и связаны с делом...

— А уже есть «дело» или это только вака терминология? — опять первым спросил Вишняк.

— Если все время будете спрашивать вы, — засмеялся Воронов, — то я так ничего нового и не узнаю.

Вишняк смущенно пробормотал:

— Да, да, конечно. Извините. Я готов ответить на все ваши вопросы.

— А вот первый... Что вы лично думаете обо всем этом? — Воронов воспользовался формулировкой Вишняка.

— Откровенно говоря, — Вишняк поднял свой стакан, но снова поставил на столик, — я тоже не могу ничего понять. С одной стороны, спортсмен такого класса, как Мамлеев, не может сделать глупости. Тем более Александр был осторожен до подозрительности. Стреляя он из «Меркеля», хорошо знакомого и обстрелянного. Думаю, сама фирма — достаточная гарантия, что брак в производстве оружия исключен. Да и почему именно в этот раз? — несколько наивно спросил самого себя Вишняк. — Может быть, чужой патрон? — Вишняк испытующе взглянул на Воронова.

Алексей как бы мимоходом спросил:

— А вы хорошо знаете мамлеевское ружье?

— Я знаю эту систему. У меня у самого два «бока» — Он хотел встать, очевидно, затем, чтобы принести оружие, но Воронов остановил его.

— Вам никогда не приходилось держать в руках мамлеевский «Меркель»?

Вишняк обменялся с женой быстрым испуганным взглядом и, слегка покраснев, поспешно ответил:

— Нет, нет... Мы с ним были не в лучших отношениях. Хотя когда-то...

Светлана мягко перебила мужа:

— Ну, это, наверное, к делу не относится.

Вишняк потупился. Воронов с огорчением подумал, что жена еще не так испитна разговорами.

— Остается одно: чужой патрон, — повторил Вишняк. — Но Мамлеев ни с кем практически не дружил. И, как я уже говорил, был человеком осторожным, подозревающим, что все ему страшно завидуют и только думают, как бы насолить. Он никого не подпускал к зарядам и никому не давал своих патронов. Даже в долг. А патроны, которыми он стрелял, первейшего качества и свежие...

— Откуда вы знаете? — быстро спросил Воронов. Вишняк смутился.

— Дело в том, что мы оба стреляли патронами одной и той же фирмы «Родони»...

Воронов посмотрел на Вишняка.

— Он же не может не понимать, что такое признание делает его человеком, на которого в первую очередь должно пасть подозрение. Или это опять-таки стремление увести разговор от оружия? Рискованный способ отвращения...»

Вишняк как бы угадал мысли Воронова.

— Я понимаю, мне придется теперь многое объяснить. Но я был уверен, что рано или поздно вы узнаете об этом. И тогда будет хуже...

— А что может быть хуже?

Вишняк неопределенно пожал плечами.

Его жена протянула руку и взяла с маленького столика пачку сигарет. Никому не предлагая, она резким щелчком ловко выбила сигарету из пачки и торопливо закурила.

— У вас случайно не осталось патронов из той серии? — спросил Воронов.

— Сегодня я дострелял последние... Все, кроме одного. Не знаю, почему, но один оставил.

Он полез в задний карман брюк и достал сверкающий зеленый цилиндр. Воронов взял патрон, а Вишняк как-то облегченно вздохнул.

Это была красивая штучка с высоким ярко-медным цоколем и сверкающей пластиковой рубашкой. По ней шли цветные кольца олимпийской эмблемы и витиеватая, но разборчивая надпись «Родони». Воронову никогда не приходилось видеть подобные патроны. Несколько раз он брал на охоту нашу стеновую «звездочку», которую ему доставали приятели, и помнил, какое получал удовольствие от стрельбы стеновыми патронами. «Звездочка» была сильнее, суше, чем охотничьи патроны обычной заготовки.

— Откуда вы берете боеприпасы? — Воронов поставил патрон на стол, слегка подвинул его, как шахматную фигуру, в сторону Вишняка.

— Когда как... В основном снабжает общество. Это чаще всего наша «звездочка». На сборы патроны дает Спорткомитет. Нередко зарубежные фирмы присылают большие рекламные партии боеприпасов. Вот как эти. Родони — хитрый, деловой человек. Он знает: тот, кто стреляет его патронами, привыкает к ним и другими стрелять уже не может. У него очень сухой патрон со специальным пластмассовым пыжом. Странно, что в этот раз он прислал патроны с глухими гильзами. Обычно приходили с прозрачными. Любопытно посмотреть, сколько чего набито в гильзу.

— А какой путь проходят патроны, прежде чем попадают в ваши руки?

— Обычный. Комитет получает письмо и посылку. Иногда привозит некто Карди, дальний родственник и поверенный Родони. В письме указаны фамилии наших известных стрелков. Моя и Мамлеева, как правило, всегда в списке. Родони — первоклассный стрелок, номер один в Италии. На прошлой олимпиаде Родони был третьим. За американцем и Мамлеевым. Американец перестал выступать, а Александр... Вишняк запнулся. — Так что по старой раскладке Родони уже выиграл олимпийские игры. Хотя еще посмотрим... — Вишняк упрямо поджал губы. — Он хорошо знает, на сколько хватает такой партии, и редко опаздывает с очередной. Как-то он признался, что мечтает о времени, когда на играх будут стрелять только его патронами. И он этого добьется.

— Кто же теперь поедет в нашей сборной? — спросил Воронов, прекрасно понимая, каков будет ответ.

Вишняк покосился на него; вопрос показался по меньшей мере наивным.

— Точно пока только я. Кто номером вторым и в запасе, федерация решит. В первенстве страны прилично отстрелял Мельников, но на отборочных выступил плохо. Подумали, что болел. Жалко Александр — он и в этом году был бы выше всех.

— Скажите, Валерий Михайлович, а можно практически перезарядить патрон, чтобы внимательный стрелок, скажем, каким был Мамлеев, не заметил?

— Никогда не пробовал... — Вишняк опять смутился. — Но думаю, что опытный стрелок всегда отличит заводскую закатку от ручной. Мы чувствуем патрон нервами. Кажется, ощущаем на твердость. Обычно перед стрельбой патроны так внимательно осматриваешь, что... Нет, пожалуй, исключено. Впрочем, ведь когда-то, говорят, подобную шутку сыграли с Прокофьевым. Тот даже лежал в больнице. Можете спросить у асек, кто выступал с Прокофьевым в одной команде. Шумное было дело. С двоих сняли звание мастеров спорта. Потом, правда, когда все обошлось, простили.

— А что произошло между Мамлеевым и Прокофьевым?

— Мамлеев перед самыми играми потребовал себе нового тренера. Когда уже было ясно, что он и, естественно, его тренер едут на игры. Это по-человечески нечистоплотно. Но, если рассуждать по деловому, поступил Александр правильно. Прокофьев перестал работать, только похвалялся да пил. И пил запойно. Мамлеев — фанатик, человек крутой и аскетичный. Ему надоело терпеть...

Пока они говорили, по лицу Светланы было видно, что мыслыма она сейчас далеко. Воронову очень хотелось узнать, о чем она думает.

— Вы исключаете участие самого Мамлеева в подготовке инцидента? Не самоубийство, потому как форма, прямо скажем, довольно странная, а желание сотворить что-то — не получилось и закончилось вот так трагически?

Вишняк задумался.

— Не представляю себе, зачем ему могли бы понадобиться какие-то шуточки. Он не был охот до развлечений. Да и отборочные соревнования — неподходящее время.

— Ну, а что мог пошутить так же, как когда-то с Прокофьевым?

— Сложный вопрос. Ответ слишком дорого стоит. Так ведь невинного человека под монастырь подвести можно.

— Зачем же невинного? Затем и разбираемся, чтобы наказать виноватого.

— Не представляю. Одно знаю твердо — не я!

— Твердо? — попытался пошутить Воронов.

Вишняк насупился.

— Твердо. Тверже некуда.

— Не обижайтесь, Валерий Михайлович, я пошутил...

— В вашем положении шутить легче...

Алексей уже пожалел, что сорвался на ничемную шутку, и, чтобы хоть как-то загладить неловкость, спросил:

— Кто еще стрелял в тот день такими патронами? Прежде чем ответить, Вишняк потянулся к жене, взял у нее изо рта сигарету и, затаившись, сказал:

— Только он и я. Во всяком случае, патроны были переданы мне и Мамлееву лично.

— Кем?

— Иосиком. Есть у нас на «Локомотиве» такой жуличок. «Интеллигентом» его еще кличут. Фамилии, по правде говоря, не знаю. А увидеть его можно часто. Он патронами промышляет.

— Как промышляет?

— Обыкновенно. У кого-нибудь купит, или выпросят пачку, или еще что... Вишняк опять смутился.

Потом любителям, чаще всего именитым охотникам, проедет втридорога. У таких деньги есть, почему бы и не заплатить?!

Воронов записал имя и кличку Иосика.

— Как бы с ним встретиться?

— На «Локомотиве» придет, могу познакомиться...

— Да, пожалуйста. Кстати, а как патроны попали к Иосику?

— Он знаком с Карди. И тот просил его передать. За комиссией, конечно, по пачке он с нас взял. А может, что и присвоил. Проверить негде.

— Значит, такие патроны могли оказаться еще только у Иосика?

— Да. Но он человек от стрельбы далекий. Коммерсант! Не думаю, чтобы имел какое-то касательство. К тому же он с Мамлеевым был в добрых отношениях.

Светлана встала.

— Вы меня простите, но мне надо в училище. Валерий, я возьму машину!

— Ключи в прихожей на серванте...

Воронов вдруг встал и начал прощаться.

— Пожалуй, и я пойду. Спасибо за вино и беседу. Думаю, мы еще поговорим.

— Очевидно, — без всякого энтузиазма согласился Вишняк. — Может, Светлана вас побросит? Солнышко, у тебя найдется свободная минутка?

Светлана переодевалась в соседней комнате и ответила не сразу:

— А куда надо?

Воронов назвал улицу.

— Конечно, от рядом с моим училищем.

Прощаясь с Вишняком, Алексей договорился встретиться на «Локомотиве». Вишняк обещал позвонить сразу, как только появится Иосик, и свести его с Вороновым как с новым клиентом.

Светлана вела машину более нервно, чем муж. Если кто-то из водителей других машин, по ее мнению, ехал недостаточно быстро, она ворчала: «У, участник проклятый! Насажали за руль черепаш!»

Она неожиданно затормозила у большой стоянки возле универсама и, поставив машину на свободное место, на недоуменный вопрос Воронова: «Приехали?» — ответила:

— В каком-то смысле, да. Вы меня простите, но я решила поговорить с вами без Валерия. Мне показалось, что у вас сложилось несколько превратное мнение о нашей семье. Мне бы этого не хотелось. — Последние слова она произнесла механически, словно для проформы.

— Вы же опаздываете в училище?

— Не совсем. Первый урок у меня свободен — просто нужен был повод выйти из дому.

Она достала сигареты и закурила.

Только сейчас Алексей рассмотрел ее как следует. Дома присутствие Светланы настолько раздражало Воронова, что он старался не обращать на нее внимания, чтобы не отвлекаться от разговора с Вишняком. А теперь он увидел красивую женщину лет тридцати с правильными чертами лица и с огромными кариными глазами, придававшими лицу необычайную прелесть. Одетая она была в дорогой модный костюм, который носила с подчеркнутой небрежностью.

— Мы же-а-ты уже восемь лет, — сказала Светлана. — Пусть вас не удивляет, что я начала так изда-

лека. Тому своя причина. Еще в институте Валерий и Александр считались друзьями. Разлад в их дружбе начался с меня. — Она взглянула на Воронова, как бы проверяя, достаточно ли внимательно он ее слушает и какое впечатление произвело столь сенсационное сообщение. — Сложился, увы, пресловутый треугольник... Сами понимаете, мне выбрать оказалось нелегко. Да я, честно говоря, и сейчас не знаю, почему я с Валерием. Знаю только одно — это не было ошибкой. Жить с Валерием трудно, но с Мамлеевым, по моему, было бы еще хуже. А что касается нашего сегодняшнего положения в семье, так это на другой почве. Может быть, я просто устала... Вы музыкой интересуетесь? — вдруг спросила Светлана.

— Как сказать? Постольку-поскольку. Ходил иногда в филармонию... Но меломаном не был никогда. — Имя Светланы Бездомной вам ничего не говорит?

— Кажется, скрипачка была такая. Но как-то быстро сгорела...

— Вот именно. И это сгорела я. Потому как Бездомная — моя девичья фамилия. Говорили, у меня талант. Я действительно выиграла два международных конкурса. Но потом замужество... Все вокруг твердили, что таланты в нашей семье только Валерий, что место жены... В общем, все то, что бывает, когда в семье находится хотя бы один незаурядный мужчина! — Светлана махнула рукой.

Ни в жести, ни в словах Алексей не почувствовал горечи или боли. Было ясно, что и горечь и боль ушли в прошлое. Светлана глубоко затянулась сигаретой.

— Я рассказываю это, чтобы вы не придумали бог весть что, так благо познакомились с нашей семьей. Валерий — глубоко порядочный человек. В самые трудные минуты наших взаимоотношений он не допустил ни малейшей подлости. А у меня, знаете, выпадает минуты, когда я готова такое сделать... Она посмотрела на Алексея и виновато улыбнулась, как бы прося прощения за столь откровенное и неприятное признание.

— Понимаю, — Алексей сидел неподвижно, хотя затекла спина, лишь изредка кивал головой, — боялась помешать желанию Светланы излить душу.

— Его отношение к Александру было сложным. Валерий ненавидел Мамлеева и любил одновременно. Вы скажете — бабская мистика? Нет. Он любил Александра из чисто эгоистических соображений. Мамлеев служил для него катализатором; в бесконечном состязании с ним Валерий рос и сам.

— Но ведь в конце концов когда-то зачехлется и утвердится в своем росте? — вопреки собственному желанию молчать спросил Алексей. — И, как вы говорите, бываю минуты, когда хороши все средства...

Глаза Светланы испуганно сузились, но она сдержалась и надменно сказала:

— Мамлеев для мужа — как опий. Понимаете? Известно, что вредно, но сил отделиться от дурной привычки нет! Однако мое мнение для вас совершенно не обязательно. Хотелось, чтобы вы не терзали Валерия напрасными подозрениями...

— Я его не подозреваю, — попытался смягчить обстановку Алексей.

Но ничего не вышло. Ниточка, на которой держалось взаимопонимание, оборвалась. Светлана почти враждебно взглянула на Воронова:

— Так будете подозревать!

Резко повскакивая на сиденье, она включила стартер, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Воронову ничего не осталось, как попрощаться. Машина сорвалась с места и исчезла в переулке.

Воронов обычно не ходил на похороны. Особое отношение к этой процедуре выработалось у него еще с детства, с того самого дня, когда хоронили отца. Хотя мальчишка тогда еще не мог, наверное, осмыслить всю горечь похоронных дел. Позднее, сотни раз мысленно переживая те тяжелые дни — подробности в памяти, разумеется, стерлись, — он видел лишь, как в тумане, мужиков с лопатами, торговавшихся с матерью: «Патерку из рук выпустить боишься?! Аль каждый день муж загибается?!» Помнил скандал, возникший уже возле могилы, куда никак не хотел выдвинуть гроб, ибо пьяные могильщики выкопали могилу не по размеру — короче. И опять слова того же мужика: «Да ты, баба, не беспокойся, мы сейчас с одной стороны подроем и боком запихнем твой ящик-то».

Алексей решил на мамлеевские похороны не ходить. Но неожиданно Стуков, с которым он поделился своими планами, не поддержал.

— Зря. — Петр Петрович потер свой лбище и убежденно повторил: — Зря. Абстрактное мышление хорошо, но еще лучше, если оно опирается на конкретные впечатления. Пока для тебя Мамлеев нечто среднее арифметическое, и это не облегчает работу.

— Не могу, Петр Петрович. — Алексей начал было рассказывать о похоронах отца.

Но Стуков перебил:

— Брось. Не к девочке ведь идешь на свидание. Наша работа слишком часто требует оставлять свои эмоции при себе. Впрочем, как знаешь, но мой тебе совет — сходи... Хочешь, пойдем вместе.

Воронов понимал справедливость доводов Стукова, но не хотелось так сразу сдаваться, и он ухватился за последнее фразу:

— Вдаюем — другое дело.

Наутро они подошли к зданию клуба «Динамо», когда гражданская панихида уже началась; у входа толпились люди, вносили и выносили венки, шли женщины в черном.

От дверей по длинным холлам рядами стояли мягкие кресла, образуя траурные коридоры. Черные муаровые ленты перегородивали боковые галереи. Коридор обрывался в малом борцовском зале. Против входа на невысоком постаменте возвышался гроб с телом Мамлеева. Остальное пространство — во всяком случае, у Воронова сложилось такое впечатление — было занято цветами. В ногах покойного на бархатных подушках сверкали спортивные награды всех рангов и достоинств.

Стуков наклонился к Алексею и тихо сказал:

— Вот, пожалуй, тот самый случай, когда невозможно установить, насколько в действительности был популярен человек, но определить на похоронах число друзей, по моему, еще сложнее.

Воронов кивнул в глубину зала.

— Посмотри, тут становится в почетный караул... Это ведь Прокофьев...

— А я знаю второго справа. Это Сергей Бочаров. Журналист, о котором тебе рассказывал...

Только сейчас они обратили внимание на небольшую скамейку, поставленную на возвышении в боковой нише. На ней сидела женщина в черном. Сидела молча, неподвижно. Изредка, когда что-либо из вновь пришедших подходило к букетом цветов и наклонялся сказать женщине несколько слов, женщина в ответ лишь вяло шевелила губами.

За ее спиной — Воронов сразу даже не разобрав — стоял Мельников.

Висяк остался внизу.

Размеренно и скучно текла процедура прощания. — Да,— протянул Стуков,—иногда только после смерти человека обнаруживается, как много людей его любил. Возьми Прокофьева. Так стоять можно лишь у гроба очень дорогого человека...

— Я ему не верю. Играл. И играет здорово.

— Верить не веришь, а впечатлений производит правдоподобное.

— Я хочу взглянуть на лицо Мамлеева,— вдруг сказал Алексей.—Как-то по фотографиям очень плохо себе представляю его в жизни...

Он подошел к гробу.

Прокофьев, сменившийся в карауле, исчез из зала через боковую дверь. Правда, кивнув Воронову напоследок.

Алексей долго стоял, всматриваясь в лицо Мамлеева. Его нельзя было назвать даже симпатичным. Невысокий угловатый лоб. Остренький нос, вызывающий задиристый, смотрел вверх, выступая над тяжелыми, костистыми скулами.

Воронов вернулся к Стукову с джимом-то смешанным чувством разочарования и смутной тревогой.

— Ох, не нравится мне вся эта игра Прокофьева! Уж больно он трагичен у гроба. Не верю, что хочешь говорить, не верю я ему...

В

На следующий день вечером Воронов отправился к Мамлеевым. Дверь открыла аккуратно причесанная женщина в опрятном, накрахмаленном переднике. Белокурые волосы были уложены небольшим пучком высоко на затылке, что делало ее старше своих лет. Воронов без труда узнал женщину, сидевшую вчера в черном платье на скамейке в нише.

Юлия Борисовна держалась просто и спокойно, словно беда, обрушившаяся на ее семью, давно отшумела и даже не осталось воспоминаний о ней. Хозяйка пригласила Воронова в комнату. Они сели друг против друга за круглый стол. Разговор не клеился. Юлия Борисовна начала заметно нервничать. Впрочем, ее можно было понять: в доме такое несчастье.

— Что вас интересует? — наконец, спросила она.— Или вы хотите, чтобы рассказывала я? Но о чем? Было так много всего! Не знаю, что было важным, а что мимолетным, сиюминутным...

— Зачем же рассказывать все? Хотя, не скрою, мне бы хотелось знать как можно больше не из простого любопытства. Признаться честно, моя работа находится на таком этапе, что любая деталь может стать важной. Но кто определит ее ценность сейчас?

— Да, это верно. Мы немало лет прожили с Александром, но, пожалуй, лишь сейчас, после его смерти, я начала понимать многое. Отнюдь не закрываю глаза на сложности, что были в нашей жизни. Их, как во всякой семье, хватало. За последние годы у нас было так много ссор и так мало взаимопонимания, что мы стали почти чужими людьми. Мы не скрывали, что живем под одной крышей только ради Аленьки.

Она продолжала говорить, внимательно вслушиваясь в слова. Воронов представил, как трудно жили эти два человека, умея, наверное, слушать лишь себя.

— Думаю, земля мало видела фанатиков, подобных Александру. Он знал лишь работу. И не признавал ничего иного. В его понятие «работа» входила не только кандидатская, ставшая в нашем доме сущим проклятием, но и стрельба... Для меня муж-

чина, занимающийся подобной ерундой,—умом не выше мальчишки, стреляющего из рогатки по воробьям. Полагала: с годами пройдет. Да вот не случилось...

— Вы были когда-нибудь на стенде?—Воронов пытался хотя бы косвенно защитить Мамлеева.

— Нет. И теперь, к счастью, никогда не пойду.

— Напрасно. Я сам до того, как начал заниматься стрельбой...

Но Юлия Борисовна не дала Воронову закончить мысль:

— Была о вас лучшего мнения. Но хватит о стрельбе! Для меня, наконец, закончился кошмар с этим идиотским времяпрепровождением...

Воронов обратил внимание, что Юлия Борисовна никак не хочет назвать стрельбу спортом.

— Надеюсь, вы меня поймете. Это проклятое занятие не только разрушило нашу семью, но и лишило теперь Аленьку отца.

— Мне кажется, Юлия Борисовна, что вы сейчас не совсем справедливы...

— Не беспокойтесь. Я не намерена оскорблять память Александра. Себя уже давно похоронила жажда. А мне так хотелось жить. Я устала...

— Странно.—Воронов грустно улыбнулся.—Со всем недавно жена еще одного видного стрелка говорила мне нечто подобное...

— Знаю. Великая скрипка! Непризнанный гений! Ко мне ее трагедийные вопли не относятся. Я не гений и не чувствую себя ущемленной непризнанием. Просто я обыкновенная, примитивная баба и хотела жить нормально, по-человечески, с те-

атрами и гостями, со спокойствием в доме и достатком. Взамен получила вечное одиночество, постоянные тревоги за мужа. И, как видите, не напрасно! Это было предчувствие, если хотите. Не знала когда, не знала как, но знала: кончится все плохо...

Этот Мельников, или—как они его все называют—Моцарт, и ему подобные, вечная спешка, постоянный страх перед возможным промахом, от которого

Александр еще за неделю до соревнований трясло так, будто вместе с промахом наступит конец света...

— Несмотря на резкость слов, которые произносила Юлия Борисовна, она говорила без злобы, устало и вполголоса.—Потом деньги... Дочь оставалась без осенних сапог, а он уносил из дома последнюю десятку, скупая какие-то, по его мнению, фантастические сухие патроны. Ежедневные звонки с предложением обменять то боеприпасы на оружие, то наоборот. Полуупынные ружейные мастера, конфликты с тренерами... Александр напоминал скорый поезд, в котором —увы!— не было ни одного места, отведенного для меня... И в день несчастья он с утра куда-то носился и с кем-то о чем-то договаривался.

Воронов насторожился.

— Юлия Борисовна, а не помните, с кем и о чем?

— Мне уже давно надоело прислушиваться к его телефонным переговорам.

Воронов понял, что с Юлией Борисовной, пока она в таком состоянии, говорить не только бесполезно, но и опасно. О чем ни зайдет речь, заканчиваться она будет упреками в адрес Александра.

Такая предвзятость информации—весьма и весьма неожиданная для Воронова—его совершенно не устраивала. Но упоминание об утреннем звонке и встреча с кем-то заставило Алексея отступить.

— Хоть какие-то детали того утреннего разговора вы не смогли бы вспомнить?

— Нет.—Юлия Борисовна даже не задумалась.—Помню одно: он с кем-то договаривался встретиться...

— Ну, а когда и на сколько он ушел?

— Вот это помню точно. У меня подгорали котлеты и пришлось дважды разогревать картошку. Его не было с девяти утра до десяти... Как раз закончилась передача для женщин, и он вошел...

— Александр был в хорошем настроении?

— Уже за неделю до состязаний он ходил чертом, и ни о каком хорошем настроении говорить не приходилось.

«Пожоже, что это у нее маниакальное. Или со временем пройдет, или останется навсегда. Впрочем, будь она как-то причастна к смерти мужа, вряд ли вела бы себя так агрессивно. Скорее прикинулась бы любящей супругой».

От Юлии Борисовны Воронов уходил с чувством неудовлетворенности и горьким осадком. Уже в дверях он остановился и спросил:

— Скажите, Юлия Борисовна, как вы узнали, что с Александром произошло несчастие?

— Мне позвонил со стрельбища Моцарт. Он бормотал что-то успокаивающее, но, верите, я сразу поняла, что случилось непоправимое.

— Что сказал Мельников?

— Моцарт был испуган. Сказал: произошла неприятная с оружием, и Александра отправили в больницу. Я не успела спросить, в какую, нас разъединили. Он позвонил вновь через полчаса, которые показались мне вечностью. Когда я приехала по указанному адресу в больницу, Моцарт был уже там. С ним мы просидели возле операционной до того самого момента, когда вышел профессор и сказал...



Вернувшись от Юлии Борисовны, Воронов долго не мог сосредоточиться и осмыслить все то, что узнал в квартире Мамлеева. Стукова на месте не оказалось, и посовещаться было не с кем. Оставалось только одно — последовать совету Стукова и взяться за перо. Тот часто любил повторять, что следователь, который не умеет писать и тем самым дисциплинировать свою мысль, не следователь. И добавлял: инспекторов это касается также.

Закрывшись в свободном кабинете и отключив дежурный телефон, он за два часа набросал приблизительную картину того, как начался для Мамлеева роковой день.

Вот что получилось:

«В то утро Александр встал как никогда рано...

Привыкнув работать над книгами далеко за полночь, он обычно просыпался тяжело. Пользуясь благосклонным отношением руководства института, Мамлеев нередко прихватывал утренние часы для сна под видом очередной тренировки. Работать продуктивно с утра он не мог, хотя и сознавал всю порочность ночных бдений. Следовательно, из постели в день происшествия его подняли какие-то особые обстоятельства. То ли нервное возбуждение перед состязаниями, то ли иные причины.

Итак, Мамлеев встал раньше жены. Судя по словам Юлии Борисовны, она застала мужа уже в кухне. На столе дымилась кофе и лежала свежеевыпеченная пара сменных столов к «Меркелю». Александр сидел, зажав руки между колен и уткнувшись в пол, не ответил жене на утреннее приветствие, встал и ушел в комнату. Через полуоткрытую дверь Юлия Борисовна видела, как муж лег на диван и закрыл глаза. Она даже спросила Александра, когда он будет завтракать, чтобы проверить, не спит ли он. Муж бормотал в ответ что-то невнятное. И обложившая Юлия Борисовна с грохотом поставила на плиту алюминиевую сковородку.

Александр медленно, будто нехотя, принялся собирать большую белую сумку «адаидас». Сложил туда все, что обычно брал с собой на соревнования. (Эта сумка стоит у меня под столом. Разобравшись в сумке и ознакомившись с вещами Мамлеева, я, может быть, найду кое-что интересное. По крайней мере смогу определить время, которое потребовалось Мамлееву, чтобы нагрузить сумку.) Когда Юлия Борисовна вошла в комнату, чтобы пригласить мужа к завтраку, Александр разговаривал по телефону. Сумка стояла открытой, он, очевидно, не успел ее собрать до конца. Помешал телефонный звонок.

Быстро одевшись, он вышел. Было около девяти часов утра. Далее, до десяти часов, в хронологию утренних событий у меня самое большое и самое перспективное с точки зрения хода расследования белое пятно. Вернулся Мамлеев с окончанием передачи для женщин. Юлия Борисовна не видела, как он прошел в комнату, но слышала, как зажуужжала «молния» сумки. Или он что-то туда еще положил, или просто закрыл. Пройдя на кухню, молча съел пережаренную картошку. К мясу не притронулся. Часы показывали четверть одиннадцатого или около того. Мамлеев отправился на стэнд, чтобы оттуда уже не вернуться домой никогда...

Итак, выводы.

Линия оружия. Малоперспективная. Пока просматривается в ней только Прокофьев. Где-то за его спиной маячит Галина Глушко.

Линия патронов. Возможен опять-таки Прокофьев. И некто Иосик.

И вот теперь: что делал Мамлеев с девяти до десяти утра в день соревнований? Может быть, здесь и выявится главное направление?»

Дажды прочитав написание, Воронов поставил на стол большую белую сумку «адаидас» и сел в кресло. Ему хотелось угадать, что мог взять в тот последний день Александр Мамлеев, отправляясь на стэнд. И вдруг Воронов подумал, что игра кошачьи и бессмысленна: изображение рисовало какой-то нелепый народ — смесь вечерней пары и рабочего комбинезона.

Воронов встал, рывком открыл «молнию» и начал энергично раскладывать вещи на столе. Первое, на что он обратил внимание, — не было ни одного патрона. Но ведь Мамлеев не дострелял даже первую серию?

Воронов поднял куртку и, как при обыске, прошелся ладонью по бортам. В маленьком боковом кармане обнаружил небольшой кусок картона с номером. Это был мамлеевский стартовый номер. Темно-синия «семерка» на голубом фоне. «На Руси семерка обычно считалась счастливым числом...»

В карманах брюк оказались две тщательно сложенных бумажки. Воронов отодвинул их, не раскрывая. Только сейчас он заметил пятна на правом плече куртки. Они шли по воротнику и лацкану. На темно-зеленой ткани пятна проступали нечетко, словно их пытались стереть. Серая рубашка с круглым высоким воротником, которую, похоже, Мамлеев надевал только на стэнде под куртку, была вся изукрашена потеками. Они засохли, и на одном из пятен прилип маленький кусочек ореховой древесины — осколок разбитого ложа. Брюки, лежавшие в сумке комом, смялись, и Воронов с трудом представил, как выглядели они на щеголеватом и педантичном Мамлееве. Небольшая финская шапочка с длинным полукруглым козырьком была совершенно чиста. Носки наспех сунуты в высокие охотничьи ботинки на рифленой подошве.

Воронов снова заглянул в сумку и только тут обратил внимание на боковой карман, из которого



торчал угол ярко-зеленого картона. Оказалось, четыре сплюснутые коробки из-под патронов. Алексей узнал витиеватую надпись «Родони», какую видел на патроне Вишняка.

«Итак, у Мамлеева было с собой по меньшей мере четыре новых пачки «Родони». Допустим, распечатывал он их уже на стенде. Иначе как понять, куда делись другие коробки: ведь стендовик берет с собой не менее двухсот пятидесяти патронов — две серии по сто и, возможно, придется производить дополнительную перестрелку. Итого у Александра, как минимум, должно быть восемь пачек «Родони». Но это означает, что в сумке до того, как ее изъяла оперативная группа, побывали чьи-то руки».

Воронов позвонил в больницу. Долго и безнадежно пытался выяснить, кто из врачей и сестер принимал Мамлеева, как и откуда появились у них вещи пострадавшего. Но по всем хозяйственным вопросам Воронова неизменно отсылали к какой-то старой и доброй нянечке, которая никак не могла взять в толк, что от нее хотят. Пришлось ехать в больницу.

В приемном покое старшая сестра, пожилая и спокойная женщина, ответила на его вопрос:

— Здесь записано, что вещи сдал в больницу товарищ Мельников. Вот и его подписи под актом о принятии.

«А что это, собственно, дает?— думал Воронов, возвращаясь к себе.— Ведь Мельников, он же Моцарт, даже по мнению Юлии Борисовны, был добрым другом Александра. Впрочем, Прокофьев настаивает, что у Мамлеева не было друзей. Но, очевидно, у каждого свои понятия о дружбе. Моцарт вел себя достойно: позвонил жене со стенда, приехал в больницу, собрал и сдал вещи. А почему же он не отвез их прямо домой? Не было времени или...»

10

Мельникова Воронов нашел на стенде «Локомотива» в тот же день. Был обеденный час. Не слышалось выстрелов. Не видно было людей. Стенд напоминал покинутую игровую площадку детского сада.

Мельников сидел в тренерской один. Вблизи он мало напоминал того вертлявого человечка, которого Воронов видел в свой первый приход на стенд. Он был спокоен, настроен и сдержан. Воронову почудилось, что дается это Мельникову нелегко. Впрочем, Алексей много раз пытался поставить себя на место людей, с которыми он, инспектор уголовного розыска, говорит, и каждый раз признавал, что чувствовал бы себя не в своей тарелке.

Они сели у окна, выходящего на просторный зеленый луг.

— Скажите, пожалуйста, каковы были ваши отношения с Мамлеевым?

— Каждая собака в Москве знает, что мы были друзьями,— улыбнулся Мельников.— Нам нечего было делить, а объединяло многое. Хотя, признаюсь, компанейским парнем назвать Александра было трудно.— Мельников говорил теперь, тщательно взвешивая слова.

— Часто бывали у Мамлеева?

— Как сказать... Иногда семь раз в неделю. Иногда не встречались месяцами. У Александра начинались творческие запои, и выгнать его из библиотеки было делом мудреным. Ну, тренировки... Я ведь часто входил в состав сборной, и мы вместе тренировались. Правда, потом обычно Мамлеев

уезжал за границу на соревнования, а я отправлялся домой, но такого уж судьба второго зшелона. Хотя из десятки лучших я не выпадал уже много лет.

Последняя фраза показалась Воронову уже знакомой. Он начал лихорадочно вспоминать, при каких обстоятельствах и где ее слышал. Нет, вспомнить не мог...

Мельников тем временем продолжал:

— Мне трудно говорить об Александре. Он мне исключительно дорог. И смерть его для меня — жестокий удар. Когда я уже входил в десятку лучших стрелков страны, Александр еще не знал, с какого конца заряжается ружье...

Каждое упоминание Мельникова о десятке лучших стрелков заставляло Воронова еще мучительнее вспоминать, где он слышал эти же слова. Алексей был почти уверен, что где-то раньше видел и это лицо, покрытое бронзовым загаром. Тонкие губы нервно подергивались. И когда он говорил долго, то языком облизывал губы. Движение это придавало его лицу сходство с мордочкой свистящего полевого зверька. Кучравые волосы лежали тугой шапкой. Светлые, как бы водянистые глаза свесились печально, а руки, сухие, покрытые морщинистой, не по годам, кожей, Мельников держал ладошками друг к другу. Словно молился...

«Напоминает тушканчика».

Воронов как бы включился в старую детскую игру «горячо — холодно», и сравнение с тушканчиком резко приблизило Алексея к «огню». Осталось немного, и он развещет в своей памяти ту встречу...

— Об Александре вам наговорят разное. Думаю, больше плохого, чем хорошего. Сделают это по причине дурного мамлеевского характера. Мамлеев невольно обижал многих людей. Прокофьев и после смерти, наверное, не простит ему обиды. Знаете, о чем идет речь?

Воронов кивнул.

«Опять Прокофьев... Боюсь, что Стуков окажется неправ. Поведение на похоронах не больше, как лихой спектакль».

Воронов всматривался в лицо Мельникова, стараясь уловить хоть какие-то скрытые эмоциональные переживания, когда Игорь Александрович называл имена знакомых людей. Но Мельников нервно начал удивительно однообразно, о чем бы ни шла речь. Воронов даже не заметил, как волнение у него вдруг перешло в светлость. Мельников встал и принялся расхаживать по комнате. Двигался он странной походкой, бочком, весь собравшись, ставя навыворот свои кривые ноги. Долгополый вельветовый пиджак янчно-желтого цвета еще больше подчеркивал кривизну ног. Длинный, с широкими кривыми ноздрей нос на маленьком лице как бы служил противовесом, не давая Мельникову опрокинуться назад из-за гордо вскинутой головы.

— Ваше мнение, как это все могло случиться?— Алексей прервал монолог Мельникова.

Игорь Александрович ответил быстро, как человек, который давно ждал подобного вопроса и внутренне к нему приготовился:

— Не знаю. Недели за две до соревнований он что-то жаловался на свой «Меркель» и отдавал его в ремонт...

— Кому?

— Прокофьеву. Надо сказать, что Николай Николаевич, когда трезв,— приличный специалист. Лучше него вряд ли кто разбирается в иностранных ружейных системах.

Воронову понравилось, что Мельников не ответил однозначно на его вопрос, ограничившись толь-

ко фамилии мастера. К тому же дал Прокофьеву хорошую характеристику.

— Вы предполагаете, что ремонт не мог привести к печальному результату?

— Трудно сказать. Я не видел оружия после разрыва. Его сразу же забрали ваши товарищи...

— Кто прикасался к «Меркелю» после разрыва и до того, как оно попало в наши руки, могли бы сказать?

— Мог бы... Но, мне кажется, это не играет никакой роли...

— Позвольте, Игорь Александрович, я уже сам буду определять значение того или другого факта. Так кто же?

— Прокофьев... Он и передал остатки «Меркеля» вашим товарищам.

— А вещи взяли вы?

— Да. Я помог отнести Мамлеева в комнату.

— Кстати, почему вы не отнесли вещи Мамлеева домой сами, а сделали их в камеру хранения больницы?

— Мне их некуда было деть. С Юлией мы до вечера просидели в холле больницы, ожидая результатов операции. Мне и в голову не приходило тогда, что это имеет какое-то значение...

— А кто собирал вещи в сумку?

— Я... Мельников пожал плечами: дескать, само собой разумеется.

Воронов удовлетворенно кивнул головой.

— Скажите, пожалуйста, а когда последний раз вы звонили Мамлееву домой?

— Вечером... Мельников на мгновение задумался. — Да, вечером, накануне дня соревнований.

— А утром следующего дня?

— Нет. Я увидел его уже на стенде, возле раздевалки... Мельников лихорадочно облизнул губы, и в это мгновение Алексей вспомнил, наконец, где его видел...

II

Охота складывалась неудачно с самого начала. Когда Воронов подъехал к старой переправе, крутой сильный ветер гнал по протоке такую белохребетную волну, что о поездке на перегруженном баркасе — собралось человек восемь — не могло быть и речи. Егерь в ответ на ежеминутные вопросы: «Когда же отправимся?» — нудно повторял каждому лекцию по технике безопасности на водах:

— Разве оно можно по такой кипяти! Она, лайба, хоть и остойчива, а заливаста. Так за два часа нахлебается — по пояс в воде будем. Никак нельзя, — заключал он и смотрел, словно чего-то выжидая.

— Не ночевать же на дороге! Утренняя зорька к тому же пропадает!

— А если рыб кормить придется?..

Воронов и двое офицеров-отставников — база в Лексатихе принадлежала Военно-охотничьему обществу — пришли к соглашению, что пятнадцать километров можно преодолеть двумя способами: две трети на машине, а потом, оставив транспорт в деревне, пешком по болоту. Так и порешили. Целее будет, да и утренняя зорька спасена!

Когда утром расходились по засидкам, оставшихся ждать переправы все еще не было. Но ветер стих. И Алексей услышал стук лодочного мотора.

Зорька оказалась слабой. Три селезня-пикона, синяя оперением, повисли на крюке в дощатой стене домика. Шумная компания вчерашних спутников,

громко ругая лодочника-перестраховщика, как это обычно делают люди, счастливо избежавшие неминуемой опасности, располагалась по койкам. Громче всех ругался малорослый, в летной кожаной куртке парень. Он чувствовал себя в доме хозяином, человеком бывалым.

Парень, гворя, смешно облизывал губы, и Воронов сразу окрикнул его Тушканчиком.

Как водится, прибывших пригласили к столу.

— До вечерней зорьки делать нечего, сидайте с нами.

Первым к столу устремился Тушканчик. Остальные дружно начали выкладывать на стол съестное и робко ставить бутылки, а Тушканчик уселся так, словно его коряние входило в число заветных занятий всех собравшихся. Он болтал без умолку, судил обо всем с апломбом мэтра. Вот тогда-то он и произнес свою знаменитую фразу: «Я вхожу в десятку лучших стрелков страны...» Он начал рассказывать о поездке на Олимпиаду, о своей дружбе с чемпионом страны, под конец добил всех показом своего «Меркеля», и, надо отдать ему должное, оружие он, конечно, знал.

На любой охоте, да еще когда собираются мало-знакомые люди, обычная похвальба неизбежна. Насколько долго затянется она и как будет шумна, зависит от опытности охотников и наличия интересных ружей. Тушканчик без конца сыпал названиями иностранных фирм, которые были известны и Воронову: «Джеймс Перде», «Лебо», «Голланд-Голанд»... И добавлял к ним такие астрономические цифры стоимости, что глаза окружающих вспыхивали недоверием.

Воронов подумал: «Как куражится! Ведь лучше всех знает, что стендовый на охоте отнюдь не всегда добычливый охотник! Промохов у него выпадает не меньше, чем у новичка. Хотел бы я постоять с тобой на перелете!»

За два дня охоты Тушканчик-Мельников ни разу не взял в руки ружья и не вышел на зорю. Он пил и спал.

«Паразит! Сколько людей не смогло попасть в Лексатиху, количество кое-по пальцам пересчитать можно, а этот нажираться приехал, будто дома, в Москве, не может. Как собака на сене — ни себя, ни людям!»

Когда к вечеру в воскресенье Воронов стал собираться домой, Тушканчика нигде не было. Выяснилось, что он, переметнувшись к другой компании, отбыл восвояси.

12

Алексей начал вновь внимательно слушать Мельникова, вспоминая, где видел сидящего перед ним человека. Случайная встреча на охоте имела продолжение. Чувство неприязни, ожившее при воспоминании об охоте в Лексатихе, заставило Воронова иначе взглянуть сейчас на Мельникова, который явно хотел понравиться собеседнику.

— А куда делись патроны Мамлеева? — спросил Алексей. — Если мне не изменять память, он не отстрелил и первой серии!

Лицо Игоря Александровича на мгновение залилось краской, но он быстро взял себя в руки и, подойдя к шкафу, выдвинул нижний, закрывающийся на два замка ящик.

— Патроны лежали вот здесь. Немного — штук тридцать пять. Остальные Мамлеев хранил в своем шкафчике. Вы знаете, у него ведь здесь свой шкафчик...

— Где же остальные патроны?
Мельников вспыхнул снова.
— У меня их выпросил один молодой человек, собирающий коллекцию...
— Уж не Иосик ли?
— Он...
— Вы сможете забрать патроны обратно и передать мне?
— Конечно. Если он их еще не пустил в дело.
— Что значит «в дело»?
— Ну... не передал ли или не перепродал кому-нибудь из своих постоянных клиентов.
— Хорош коллекционер! Мне уже рассказывали о нем. Но никак не удается его встретить...
Мельников как-то облегченно вздохнул и показал кивком на окно.

Воронов встал и подошел к окну. Внизу на скамейке сидели молодые люди. Стоя перед ними и отчаянно жестикулируя, что-то рассказывал долго-вязый, вызывающе ярко одетый паренек. Черные усики, стрелками разбегавшиеся из-под носа, придавали ему вид клоуна.

— Это проще простого: «Интеллигент» сидит с ребятами на лавке возле нашего дома.

— «Интеллигент» — тот, с усиками?
— Он самый.
— Вы сами отдали Иосику патроны Мамлеева?
— Да,— неохотно ответил Мельников.— Не бросать же их в мусорное ведро? Самому стрелять как-то не в руки показалось. Тем более, что патроны эти Александру доставил Иосик!

— Вы совершенно в этом уверены?
— Еще бы! — обижено фыркнул Мельников.— Карди звонил и мне, но я был занят, и тогда он сказал, что передаст патроны через Иосика, который был в ту минуту у него в номере «Националя».
— Вы покажете мне шкафчик Мамлеева?
— Конечно. Он в соседней комнате.

Они вышли в полутемный коридор и свернули за угол. Мельников прошел вперед, открывая двери больших пустых комнат с лавками и шкафчиками вдоль стен, пока они, наконец, не прошли в маленькую уютную раздевалку, рассчитанную явно на избранных,— мягкие кресла с гнутыми никелированными ручками стояли в хаотическом беспорядке.

— Шкафчик Мамлеева последний.— Мельников показал в глубь комнаты.— Но без ключа мы туда не заберемся.

Воронов подошел к шкафчику и потянул за ручку. Дверца легко поддалась, а замок с громким стуком упал на деревянную решетку под ногами. Шкафчик был взломан. Кроме старого, довольно грязного полотенца, в нем не оказалось ничего...

Воронов увидел, как поbledнел Мельников.

— Странно. Еще вчера все было в порядке. Можно спросить деду: ключи от этой комнаты есть только у него и Прокофьева.

Воронов внимательно осматривал шкаф. Работа была грязной. Ударом долота замок осадил назад и сильным рывком отжал планку. Прежде чем Воронов успел что-то сообразить, Мельников, стоявший рядом, обеими руками поднял замок и передал его Алексею. Если на замке и могли остаться следы злоумышленника, теперь они уже заперты пальцами Мельникова.

— Спасибо за информацию, Игорь Александрович. Сейчас мне бы хотелось встретиться с Иосиком. Меня, пожалуйста, представьте как одного из новых клиентов.

Из окна раздевалки, откуда Воронов наблюдал за «Интеллигентом», Мельников, высунувшись по пояс, крикнул:

— Иосик, зайдй!
Алексей не слышал, что ответили снизу, но по тому, как успокоенно Мельников сел ждать Иосика, понял, что тот откликнулся охотно. «Интеллигент» вошел в комнату с протянутой рукой, в которой красовалась десятирублевка.
— Игогроша, можешь не волноваться: за мной не пропадет!

Мельников растерянно закинул руки за спину. Иосик, осмотревшись, наконец, увидел постороннего. Нисколько не смутившись, он подошел и сунул червонец в карман Мельникова.

— Товарищ насчет патронов,— вполголоса про-бормотал Игорь Александрович.

— Это можно.— «Интеллигент» развязно уселся на стол.— Товарищу, наверно, «звездочка» нужна! Калибр?— Его деловитость в вопросах коммерции так не аязалась с расхлябанностью внешнего вида, что Воронов не выдержал и решил отменить комедию.

— И «звездочка» и все остальное! Я из уголовно-го розыска.

Еще не веря, Иосик дважды зыркнул глазами в сторону Мельникова, но тот демонстративно отвернулся.

— Я хотел бы знать, куда девались патроны Мамлеева? — спросил Алексей.

От наглости Иосика не осталось и следа. Он еще раз зыркнул в сторону Мельникова и начал отвечать, растягивая слова и тем самым стараясь выигрывать время.

«Ого,— подумал Алексей.— Судя по всему, на бизнесе у них довольно крепкая спайка! Как бы не пережарить. Самое время выпроводить Мельникова!»

Он остановил «Интеллигента» на словах «это смотря, о чем идет речь...» и сказал:

— Игорь Александрович, спасибо большое, вы мне не нужны.

Пока Мельников выходил из комнаты, Иосик про-важал его неотрывным взглядом, пытаясь уловить хоть какой-то намек на то, как ему себя вести. Мельников вышел, не дав Воронову ни малейшего повода для упрека. Иосик заговорил твердо и решительно:

— Довольно смешной фарс. Вы хотя бы догово-рились с этим...— Иосик кивнул головой в сторону двери, за которой скрылся Мельников,— а то сначала насчет патронов, потом про Мамлеева...

— Боюсь, что если не сможете ответить дельно и четко на несколько вопросов, будет не до смеха!

— Пугаете? — «Интеллигент» достал сигарету и закурил, выступив в сторону Воронова клуб дыма.

И Воронов подумал, что, наверно, недооценил Иосика.

Он пропустил вопрос «Интеллигента» мимо ушей и с интересом смотрел, как маска наглости возвра-щается на его лицо. Такое Воронову приходилось видеть впервые.

— Итак, я хочу знать, куда запропали патроны Мамлеева, которые передал... Кстати, кто?

— Сами знаете. Мельников. Все вадь уже до-жил.

— Разве в его информации кроется нечто по-рочное?

— Болтун он...— неопределенно протянул Иосик.

— Где же патроны?

— Не знаю. Кто-то попросил, пришлось уступить...

— Деловой человек!

— Деловой тот, кто строит дом из кирпичей,

которые ему таскают другие. А я сам,—он постучал себя по шее,—свои кирпичики добываю!

— Иногда приходится делиться кирпичиками и с приятелями?—Воронов тоже кивнул в сторону двери.

— Силу надо уважать...

— Хорошее замечание. Дельное. Так вот, уважая силу, попытайтесь вспомнить, куда ушли все до одного патроны!

— А если мне не удастся?

— В данном случае дурная память может привести на скамью подсудимых.

Иосик испуганно взглянул на Воронова.

— За какое преступление?

— Считаете, что с Мамлеевым произошел несчастный случай?

— Что же еще? Хотя непонятно, как все случилось!

Иосик произнес это довольно искренне.

— Почему вы, приятель Мамлеева, не пришли на похороны?

— А вы что, всех переписали, кто был на похоронах?

— Так почему не были?

— Недосуг...

— Продавали патроны Мамлеева?

— А если так—это что, преступление? Патроны его можете получить: пачка лежит дома. Две пачки уступил одному врачу...

— Фамилия?

— Есть такой хирург Савельев. Всегда можете спросить...—Иосик достал из кармана пухлую записную книжку и в мгновение ока нашел нужную страничку с телефоном Савельева.

— Остальные патроны?

— Еще одну пачку отдал девице. Такая ненормальная Галина...

— Глушко?

— Давно за мной следите?

— К сожалению, недавно. Поэтому хочу знать, куда делись и те патроны, которые вы взяли из шкафа Мамлеева, взломав замок.

Иосик втянул голову в плечи. Но вопрос был задан слишком категорично, чтобы отрицать, и он глухо ответил:

— Я потерял ключ. Просить мамлеевский у жены неудобно. Дед может подтвердить, что Александр разрешил мне пользоваться его шкафчиком. Честное слово, взяла только патроны,—он замаялся,—которые Александру больше не нужны... Их бы все равно списали.

— Забирали эти патроны в день похорон?—Воронов почувствовал отращивание.

— Да... Но какое это имеет значение? Я действительно не крал!

— Патроны сегодня же принесете ко мне. Вот адрес, пропуск выпишу. Соберите все. И не вздумайте хоть один потерять. Кстати,—Воронов вдруг пришла в голову шальная мысль,—а что вы делали с девяти утра до десяти в день соревнований?

— В день соревнований?—удивленно протянул Иосик.

— Именно, в день соревнований.

— Я был на стенде с восьми утра.

— Кто это может подтвердить?

— Дед. Мы с ним, того, немощно выпили...

— Ничего не путаете?

— Да что мне всю жизнь одной фасолью питаться!

«Это было бы слишком легко, товарищ Воронов, если бы этот Иосик вот так взял и созрел в убийстве Мамлеева. К тому же не исключено, что он говорит правду. Тогда кто же звонил Мамлееву в ту утро!»

Иосик деда на территории не пришлось. Едва Воронов спустился по ступеням у входа в административное здание, за его спиной раздался насмешливый голос:

— Гражданин начальник! Позвольте к вам обратиться!..

Воронов обернулся. Дед стоял рядом с лестницей, облокотившись на метлу, словно пьяный на стол.

— Обращайтесь, коль не шутите!

— С вами шутки плохи. Один раз пошутил—чуть целый год не пришлось портянки на «колючке» сушить... Нашли того злодея, которого ищете, или по-прежнему в тумане блуждаете?

— В тумане. И, признаюсь честно, туман стал еще гуще.—Воронов потянул деда к скамейке, на которой они уже беседовали однажды.

Дед шел охотно, не упираясь, уселся основательно.

— Зовут-то вас как?—спросил Воронов.

— Дедом и кличу! Кому моя фамилия нужна?! В жисть вам того никто не скажет. Бухгалтерша, что деньги выдает, и та говорит: «Вот тут, дед, крест поставь!» А мне крест не на бумажке, а на кладбище уже ставить надо! За деньги могла бы, чай, и сама крест черкнуть! Эка хитрость!

— И все-таки как вас по имени и отчеству?

— А «дедом» и по тому и по другому,—упрямо повторил дед и капризно нахмурился.

Чтобы не дразнить старика, Воронов решил отступить.

— Так вот, дедуся. Темное дело. И мнения своего я пока не имею насчет злодея. Занимаясь тем, что у других выпрашиваю. И прикидываю.

«А почему мне надо проверять именно Иосика? Ведь и сам дед с покойным имел счеты, и его кандидатура из списков подозреваемых не вычеркнута! Пока...»

Но спрашивать прямо, что делал дед в день гибели Мамлеева, Воронов не стал.

— У вас из-за чего ссора с Мамлеевым когда-то была?

Дед засопел и, не глядя на Воронова, как бы мимоходом отрезал:

— С другого конца до самого главного добираться?!

Воронов прикинулся искренне удивленным.

— Вот то-то и дело, что самого главного не знаю!

Дед испытующе посмотрел на Алексея и сделал вид, что поверил. Отложив метлу, словно только сейчас понял, что она зря путается в руках, угрюмо проговорил:

— Ссоря! Из-за Мамлеева невинным чуть не сел в тюрьму...

«Этого еще не хватало! Теперь серьезно следует выяснять, не отомстил ли этот гриб мухомор за старую обиду...»

Но дед не дал ему обдумать эту ситуацию. Как все, о чем говорил дед, про ссору он рассказывал охотно, будто на исповеди.

— Пять годов назад это случилось. Мамлеев тогда был динамовским, как и сейчас. Значит, пришлый, ненашенский. Тогда и Прокофьев ненашенский был. В тот день стреляли долго. Когда в раздевалку вернулись, прожугу и обнаружили. Исчез именной «бокс», к пятому чемпионству Александра лично туляками сработанный. Что бой у ружья, что отделка—бери, не хоч! И черт его знает, зачем он подарок в тот день на стэнд прита-

щил, поскольку из него не стрелял, а бзрег, как коллекционную шутку.

Воронов хотел было прервать пространный рассказ деда, но потом подумал, что придется набраться терпения и к многословию деда отнестись с максимальным вниманием: наблюдательностью да памятью бог его не обидел.

Дед между тем продолжал рассказывать:

— Шуму, шуму подыняли! А что шуметь, когда ключ от раздевалки только у меня, и я туда дважды заглядывал, пока они стреляли. Вот и вышло,— дед вздохнул,— что, окромя меня, и брать некому. Верно? Когда же в моей каморке, что под лестницей направо, обыск устроили — пустой чехол как раз под старым тряпьем нашли... Я его сам и нашел... На радостях ухватил, а он пустой. Призвали меня к ответу! Я к Александру: так, мол, и так, ты меня знаешь, я воровать неспособный! А он и говорить со мной не стал. Обидел смертельно... Дед осекая, видно, спохватывшись, что выразился в данном случае слишком сильно и не к месту, но, махнув рукой, закончил: — Спасибо следователю. Человек душевный оказался. Смеялся, что со мной такого греха случиться не могло. А «бокс» как в воду канул. Только единожды Иосик трепанул по пьяни, будто уплыл тот «бокс» далеко, за границу, по дорожной цене. Но дорожке, чем я, никто за него не заплатил. В моем-то возрасте под следствием — и сидим срам, и жить-то осталось с гулькин нос. Хорошо, люди добрые поехали и опять до охотней работы допуск дали. Чтобы человека оправдать, веру в него иметь надо и желание. У покойника ни в кого веры не было. Уж и не знаю — себе-то он доверял!

— В день гибели Мамлеева что делали? Расскажите, пожалуйста, подробно, почти по минутам.

— По минутам? Вот и тогда следователь по минутам просил. На этот раз я и часами сосчитать не смогу, не то что по минутам. Спал я, когда проспался и на работу появился, Мамлеева уже увезли и только по углам языками чесали да охали.

— Говорят, дедусь, вы раньше солнца встаете, а тут чего такой сон напал?

— Чего-чего? Какой-то сон?

— Ну, сонливость.

— А-а! Не сонливость это. С перепою. Иосик, чтоб ему неадаждо жилось, раздобыл где-то зелье заморское. Красивый пузырек! У меня в каморке мы его и уговорили, благо, делать было нечего, к соревнованиям все еще с вечера приготовил. А когда с того зелья меня развезло начало, думаю, дай-ка с глаз начальства сгину. Зачем праздничную картину портить? Еще сбрезхнется что по пьяной лавочке! Домой пришел — и разморил! Уж и не помню, как меня вдова на кровать уложила. Этак еще восемь не было! Поработал, называется...

— Адрес?

— Чего? — не понял дед.

— Адрес, спрашиваю. Где живете?

— Торговая улица. Тулик в чetyре дома. Крайний справа мой. И номер первый. В подвале единственная комнатуха тоже моя. Ошибиться невозможно: я в ней почти сорок лет прожил. Любая крыса знает, где живу.

— Но здесь никто на стенде не знает...

— Чего им знать! Они меня всю жизнь только с метлой и видели. Прихожу — их никого еще нет, ужоу — их и след давно простыл! Вот и кажется, что дед на стенде, как пес бездомный, живет.

— Значит, только жена может подтвердить, что вы в то утро были дома?

— Вдова, а кто еще! Соседи все на работе. Вдова моя сиделкой в больнице работает. Больше по но-

чам. Так она меня, тепленького, приняла и в постельку уложила. Проверять будешь, гражданин начальник? — Дед спросил глухо, с затененной угрозой в голосе.

Воронову стало не по себе, будто вот так, на мгновение, под личиной деда-добряка приоткрылся человек тяжелый и мстительный.

Словно почувствовал настроение Воронова, дед улынулся, пытаясь смягчить тон своего вопроса.

— Буду. Непременно буду проверять, дедусь... Воронов вздохнул. — Работа у меня такая.

— Да, работенка! Людям на слово верить нельзя! — Дед астал, то ли от обиды, что Воронов ему не поверил, то ли считая разговор до дальнейшего выяснения законченным.

Адрес дед дал точный. Воронов постучал в дверь полуподвальной квартиры. За дверью неожиданно без всякого коридорчика открылась комната метров шестнадцати, заставленная старинными потемневшими и обветшалыми вещами. Швейная дореволюционная машинка «Зингер» с надписью по-русски была, пожалуй, единственной ценностью. Кровать красного дерева, не раз ремонтированная, видно, с самим дедом, стояла в углу слева, а справа — провалившийся диван с тяжелыми валиками по бокам и спинкой-зеркалом, упавшейся прямо в низкий потолок. Посреди комнаты, положив маленький клубок с вязаньем на круглый шаткий стол, замерла старуха.

— Я к вам, Анфиса Петровна, — как можно мягче сказал он.

— По стирке, что ли? — помедлив, спросила «вдова»; и, пошамкав губами, отложила вязанье. Потом властно кивнула на табурет.

Воронов сел.

— Сосем нет, Анфиса Петровна. Я к вам одну справку навести пришел.

Старуха молча смотрела на Воронова. В полутемной комнате, куда свет проникал через кисейную, подпаленную при глажке занавеску, глаз Анфисы Петровны не было видно.

— Кто будешь? — как при жестком допросе, в упор спросила Анфиса Петровна.

— Инспектор я. Из уголовного розыска. Хотел поговорить насчет вашего мужа.

При слове «муж» старуха хмыкнула.

— Набедокурил что или по старым делам? Если по старым, так он свое заплатил. Можно человека и в покое оставить.

— Нет. Дело новое. Насчет смерти Мамлеева слышали? — Воронов напряг все свое зрение, чтобы увидеть выражение ее глаз.

Но старуха сказала прямо, как отрубил:

— Слыхала. И скажу, хоть и грех на душу возму: жалости к нему не держу!

— Почему же так?

— Нежизне инспектору старой женщине голову морочить. Небось, сам все давно знаешь: оскорбил человека недоверием на всю жизнь. И недоверие-то нам квартиры стоило. Вот-вот ордер дать должны были...

Это был самый длинный монолог Анфисы Петровны за всю встречу.

— Я хотел бы узнать, что делали вы в день гибели Мамлеева?

Старуха нехотя посмотрела в окно. Воронов заметил легкое движение ее полузакусенных губ, как бы пытавшихся скрыться в иронической усмешке. Такая реакция была неожиданной.

— Деда своего ублажала.

— Поподробнее, пожалуйста!

— Если подробнее, противно слушать будет. Когда пьяного спать укладывавешь, он тебя то сапогом, то матерком. Вспоминать не хочется. Ну, я-то привычная...

— Когда вернулся муж?

— От Воронова опять не укрылось, что слово «муж» как-то колынуло Анфису Петровну.

— Я с ночного дежурства в семь пришла. Его уже не было. Завтрак приготовить не успела, как он завалился. Налакавшись вусмерть.

— Часов в восемь это было?

Старуха молча кивнула.

— И больше он нигде не уходил?

Старуха кивнула вновь.

— Так уходил или не уходил?

— Куда же ему уходит, когда от самой двери я до постели его, ирода, за ноги тащила.

Воронов прикинул, что, пожалуй, бабуся, несмотря на всю тщедушность дедаво телосложения, одной взвалить мужика на такую высокую кровать не под силу.

— Как же вы его подняли, Анфиса Петровна? Мужик он все-таки.

— Был мужик. Да весь выпился. Трухлять одна осталась.

— Зачем уж так? Килограммов шестьдесят пять осталось...

— В килограммах — не знаю! А то твоя правда — не двухкильная я. Была двухкильная, да он из меня своим пьянством все жилочки повываткивал. На кровать взошли сосед, дворник Григорий, помогал. Я деду только раздела да разула.

В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел молодой парень с добрым круглым лицом. Увидев незнакомого человека, смутился и забормотал:

— Извините, Анфиса Петровна, я попозже...

— Григорий самолично подтвердить может.— Старуха ткнула пальцем в сторону вошедшего.

Григорий, уже взявшийся за ручку двери, услышав свое имя, остановился.

— Скажите!—Воронов спросил, уже заведомо зная ответ стоявшего перед ним человека.—Когда вы помогали Анфисе Петровне укладывать деду в постель?

— Неточно поставленный вопрос.—Григорий засмеялся.—Укладывать частенько приходилось. Дедуся у нас, к сожалению, особой трезвенностью не отличается. А в последнее время и вовсе слабенький стал. Чуть рюмочку выпил — и «поплыл». Последний раз в среду это было. Что удивительно — с утра. Я еще глаза продрать не успел. Вечером я в библиотеке засиделся. К зачету в техникуме готовился. А тут шум услышал...—Он умолк, видно, совсем не собираясь рассказывать, что увидел, войдя тем утром в комнату Анфисы Петровны.

—Ну, вот и все! — с невольным облегчением подумал Воронов.—Деда можно смело вычеркивать! Уверен, что и в этот раз он ни при чем! Формально лишь одну вещь со счетов сбрасывать нельзя — на стенде целый час он что-то делал. Не мог ли за это время все организовать, а потом напиться, чтобы и от страха уйти и алиби обеспечить?! Стоп, Воронов, стоп! — сказал себе вдруг Алексей.—Остановись! Так дальше дело не пойдет. Как это дед сказал: чтобы человека оправдать, вера в него нужна? А у меня, как в свое время у покойного Мамлеева, вера пропадать начинает! Ежели еще Стуков о моих сомнениях прослышит, хоть под стол со стыда прячусь!»

Воронов поспешно поблагодарил дворника и так же поспешно попрощался с Анфисой Петровной.

Когда Алексей был уже в дверях, она, как бы опомнившись, спросила:

— С дедом моим что будет? Он-то при чем? Алексей почувствовал себя неловко, что не объяснил ей ничего толком. Он вернулся, снял кепку и сказал, как был рассуждая вслух:

— А действительно, при чем дед? Ни при чем. Просто мне надо было, чтобы сказать это вам, непременно прийти и убедиться: вашего деда на стенде в то утро, когда погиб Мамлеев, не было.

14

Воронов сидел один в кабинете.

— «Пора уже подбивать бабки!» — сказал бы злоязыкий Стуков, — думал Алексей. — По-прежнему остается «белым пятном» этот час с девяти до десяти... Не иду ли я по ложному следу? Почему уперся именно в этот час? Может быть, Александр сидел перед домом на скамеечке и пытался отключиться. Весьма приемлемое предположение. Стоит обратить больше внимания на то, что было, когда Александр пришел на стенд. А ну-ка прикинем, что нам известно!

Итак, он вышел из троллейбуса и вместе с болельщиками прошагал к воротам. Вряд ли что-либо могло произойти в эти минуты. И патроны и специальная куртка, в которой он вышел через двадцать минут на парад, — все лежало в сумке с наглухо закрытой «молнией». Что он делал двадцать минут до парада, который начался ровно в одиннадцать? Переодевался. Его шкафчик находился в самом углу. Скажем, патроны ему были пока ни к чему, и он мог оставить их в сумке и запереть в шкафчик. Пока он был на параде, запомним, в шкафчике Мамлеева могли похозяйничать. Впрочем, это рискованно.

Мамлеев полчасла простоял под теплыми солнышком в строю ребят рослых, с ладными фигурами, в ярких куртках и в кепочках с большими козырьками. Главный судья произнес речь перед открытием. Диктор перечислил команды и славы имена. Причем при имени Мамлеева аплодисменты, конечно, были бурными. После подъема флага Александр вернулся в раздевалку и взялся за подготовку к первой серии. Его номер «семь». Следовало торопиться. Но торопиться ему легко, ибо уже сотни раз он проходил этот приятный и одновременно тревожный путь. Но вот переломленный «бок» вскинул на плечо, патроны в боковых карманах, и карманы наглухо застегнуты. Мог ли кто-нибудь подменить патрон в этот момент? Вряд ли...

Мамлеев пошел стрелять. Первая серия.

Так представил себе Воронов первый час, проведенный Александром Мамлеевым на стенде «Локомотива» в день, ставший последним днем его жизни.

И Воронов почувствовал, что еще очень мало он знает о жизни людей, в судьбах которых пытается разобраться. И есть еще тысячи фактов, больших и мелких, которые ему следует проверить. Алексей понял, что предоставленный ему для расследования срок смехотворно мал. Но вряд ли можно надеяться на продление.

Рабочий день подошел к концу, и Воронов беспоконился, что не застанет Галину Глушую на месте. Когда он вошел в длинный зал конструкторского бюро, где, подобно миниаторным киноэкранам, светились чертежные кулмаи, никто даже не поднял головы, все продолжали работу. Ему пришлось обратиться к ближайшему чертежнику.

— День добрый, не подскажете, как найти Галину Глушую?



— Галину Георгиевну? Последний кульман во втором ряду.

Осторожно обходя шатки на вид сооружения, Воронов заглянул за последнюю доску и никого там не обнаружил. Из-за соседнего кульмана, как из-за дерева в лесу, появилась молодая женщина с приятным лицом.

Он не успел представиться, как женщина спросила:

— Вы Воронов из уголовного розыска?

— А вы, простите, откуда знаете?

Она улыбнулась и пояснила:

— Заведующий бюро, который выписывал вам пропуск, «счел своим долгом...», — и сразу же деловым тоном добавила: — Думаю, у вас разговор не минутный. Если не возражаете, я закончу тут один пустячок и побеседуем где-нибудь в другом месте.

Пока шли по гулким институтским коридорам, Воронов держался сзади и нет-нет да и поглядывал на нее, пытаясь сравнить анкетные данные с первым впечатлением.

«Выглядит, конечно, старше своих двадцати четырех лет. Как обычно, женщины, у которых не сложилась жизнь. А она у Галины Георгиевны не из легких. Что связывало ее с Мамлеевым?! Увлечение стрельбой?»

— Может, устроится здесь? — Глушко остановилась и показала на большой старый диван, приоткинувшийся между двумя разлапистыми фикусами. Не дожидаясь ответа Воронова, она села.

Взглянув на Галину Георгиевну, Алексей увидел спокойное, даже пренебрежительно-спокойное выражение лица.

— Разговор, конечно, о Мамлееве?

— Галина Георгиевна, вы, наверное, много знаете из того, что хотелось бы знать мне. Позвольте, уж я вас буду спрашивать.

— Извините. Привычка. Живу одна. Сама себе начальник. Да и спорт приучил брать инициативу на себя. Во всем.

— Вы давно знакомы с Мамлеевым?

— Пять лет. С сочинского чемпионата страны.

— Были с ним в близких отношениях?

— Я любила Александра и не считала нужным прятать свою любовь. К сожалению, у Мамлеева была другая точка зрения.

Воронов не сдержался:

— Но у Мамлеева было и несколько другое семейное положение.

— Он был еще более одиноким, чем я. С такой мегерой, как его жена, в пору топиться, а не жить под одной крышей. Рассказать подробнее о наших отношениях? — Она говорила уже с издевкой.

— Не стоит, — холодно ответил Воронов. — Оставим в стороне жизнь личную, вернемся к спортивной. Что из вещей Мамлеева есть у вас сейчас?

— Ничего. То есть почти ничего. — Лицо Галины Георгиевны покрылось красными пятнами. — Вы имеете в виду его «Меркель»?

Как ни внезапно прозвучал встречный вопрос, у Воронова хватило выдержки не подать виду.

— Хотя бы, — неопределенно произнес он, мучительно прикидывая, о каком оружии идет речь.

Разорванный «Меркель» Мамлеева лежит на складе специальной экспертизы.

— «Меркель» у меня дома. Но это действительно подарок Александра, — голос Галины дрожал, — мне не хотелось его возвращать Мамлееву, когда мы с ним поссорились.

— Не стоит о личном...

— Что значит не стоит? Для вас это «личное», а для нас с Александром такого деления никогда не было: все спортивное было для нас и самым лич-

ным! Из-за беззаветной любви к спорту у него кульманом пошла вся жизнь. Его куля никак не хотела понять, что такое спорт для Сашки. А я понимала потому, что жила с ним одной жизнью, одними интересами, одними тревогами...

— Хорошо, хорошо. Я не хотел вас обидеть. Не будем касаться темы, которая доставляет вам боль. Вы любите Александра, не так ли?

— Нет. Это была не любовь. Это было преклонение. Я преклонялся перед ним пять лет с фанатической самоотреченностью! Я... Я... — Она умолкла, и Воронов увидел слезы на ее глазах.

— Я могу увидеть этот «Меркель»?

— Конечно. Он у меня дома.

— Но ведь Мамлеев стрелял из «Меркеля», который подарил вам?

— Нет. Она покачала головой. — Я не вернула ему тот «бок». Я отдала ему другой.

— На ложе мамлеевского — следы дарственной накладке.

— Второй «бок» тоже подарок.

— Чей?

— Мельникова, — тихо проговорила она, словно признаваясь в тягчайшем грехе.

Воронов померидил со следующим вопросом.

— Почему вы это сделали?

— Мне было жалко, повторяю, отдавать Сашкин подарок назад. Но страшно хотелось швырнуть ему в лицо все — и «Меркель» и все пять лет собачьей жизни, которой мы жили, прятаясь от друзей, знакомых, товарищей по команде, его жены...

— Что вы сделали с патронами, которые вам передал Иосик?

Она ответила удивительно спокойно, словно это был пустякный грех после подмены «Меркеля».

— Пачку как-то расстреляла на тренировке, а пачка дома.

— Я бы хотел получить патроны для экспертизы.

— Пожалуйста. Пойдемте хоть сейчас. Я живу рядом.

Когда они направились к дому Глушко, Воронов спросил:

— Стреляя, вы не заметили ничего особенного в боеприпасах?

— Обычный «Родони». Когда Мамлеев щедрел, а это случалось с ним редко, он подкидывал мне пару пачек. Отличный патрон, сухой, хлесткий. С виду напоминает дорогой тубик губной помады.

Уже открывая дверь квартиры, она внезапно спросила:

— А почему вы сказали, что патроны мне дал Иосик? Мне их передал там же на стенде Мельникова.

«Вот тебе и раз!»

— Наверное, мне так показалося, — неопределенно сказал Воронов. — Иосик служил как бы поверенным во многих делах Мамлеева.

— Вам и это уже известно? — Она усмехнулась.

Они прошли в небольшую переднюю, из нее в большую комнату, хорошо обставленную, идеально убранную, с хрустальной посудой за стеклом горки.

Но Воронов не обратил внимания на хрусталь. Его взгляд сразу же наткнулся на мамлеевский «Меркель», красиво висевший на фоне дорогого ковра, покрывавшего стену над диваном. Дарственная накладка сверкала на ложе.

«Значит, Прокофьев знал, что это не тот «Меркель», но ничего мне не сказал. И Мельников сам забрался в шкафчик к Мамлееву, возможно, в присутствии Иосика, и поделился с ним добычей. Но зачем оба мне наврала? Какая в этом польза?»

(Окончание следует)



ПОРТРЕТ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО. Бронза.



СТАРИЧОК-ПОЛЕВИЧОК. Дерево (фрагмент)



ЮНОСТЬ. Мрамор.

Из произведений Героя Социалистического Труда народного художника СССР
Сергея Тимофеевича Кононкова. 1874—1971.



АВТОПОРТРЕТ. Мрамор.



СОН. Мрамор.



КАМНЕБОЕЦ. Бронза.



**Наталья
КОНЧАЛОВСКАЯ,**
заслуженный деятель
искусств РСФСР

СЛОВО О КОНЕНКОВЕ

Он был совсем особенным, оригинальным человеком. Он был гигантом и в жизни и в творчестве. И, как всегда бывает с такими художниками божьей милостью, — одни принимали его, мышление и видение, другие отвергали, но никто не проходил мимо, никто не смел оставаться равнодушным, потому что он был осеян особым дарованием.

Все, что он говорил, общался с бесконечным потоком посетителей, было необычно, интересно, всегда неожиданно и оригинально, как и весь строй его плодотворной жизни, от каждой утренней зари до каждой вечерней. Мощь его творческих сил держала его на земле почти сто лет.

Все, кто трудился на земле его родной Смоленщины, помнят и любят своего Коненкова, умевшего, как никто, пластически запечатлеть в своих произведениях сущность благородного крестьянского труда. От древнего лемеха сохи до совершенного комбайна наших дней кровно любил и понимал Сергей Тимофеевич этот труд и эту свою землю, потому что сам происходил от землепашцев, от крестьян и обладал их мощью.

Но мощь его была и в постоянном движении вперед, в вечном поиске нового, и это новаторство не было позой — «в ногу со временем», оно было в его постоянном живом восприятии каждого рассвета, каждого нового дня и даже в его сверхпочтенном возрасте, когда в обыкновенном человеке уже гаснет разум, в 98-летнем Сергее Тимофеевиче, внешне напоминавшем какого-то пророка, разум не угасал до последнего удара его могучего сердца.

Я помню его с детства моего. Помню его неистовость, которая жила в нем глубоко скрытой, потому что лицо его было приветливым и всегда излучало

столько доброты, а подчас русского крестьянского лукавства и юмора, что люди невольно улыбались, встречаясь с ним...

А руки! Нет и не было ни у кого таких рук! Помню его длинные сухие пальцы то вертевшими соломинку, то державшими виноградную кисть, то мнущими глину. Я помню, как этими пальцами он ощущал форму моего лба или детского подбородка, когда он лепил мой портрет. Я помню в этих прекрасных руках стамеску, молоток или резец и помню, как он держал бокал с вином, не за ножку, а в горсти, когда пил за здоровье своего лучшего друга — а моего отца — на золотой свадьбе моих родителей.

И я помню тот скорбный день, когда Коненков лежал в гробу, и его руки покоились поверх черного пиджака, такие прекрасные и гордые, словно он сам их выточил из светлого дерева. И горько было думать, что они никогда больше не прикоснутся к инструментам, но тут же в памяти всплывали великоленные произведения, созданные этими руками. Сколько же удивительных образов в мраморе, в дереве, в гипсе оставлено Родине и народу этим непревзойденным мастером!

Вот «Камнебоец». Это одна из самых ранних скульптур Коненкова. Сн лепил его в 1897 году, вернувшись из поездки в Италию, у себя, в деревне Караковичи под Смоленском. Как он сам рассказывал, он нашел этого камнебойца — Ивана Куприна, на Варшавском шоссе, неподалеку от деревни среди артельщиков, дробивших камень для дороги. Вот в минуту отдыха, когда Куприн доставал кистет, чтобы скрутить самокрутку, Сергей Тимофеевич и подглядел всю эту великую правду горького человеческого существования и вылепил Куприна у себя в деревне в сарае, где тогда устроил для себя мастерскую. Скульптура эта была отмечена Большой серебряной медалью Московского училища, выпускником которого был Сергей Тимофеевич.

А вот знаменитый «Старичок-полевичок». Это одна из деревянных скульптур, вырезанная в 1910 году, в эпоху коненковских сказочных старичков, леших, старушек, калек переходящих — парсонажей русской народной сказки, в эпоху, которая завершалась целой большой группой из дерева — «Степан Разин со своей дружиной». Сподвижники Разина составляли эту группу, и даже была там возлежавшая на ложе персидская княжна, еще не выброшенная Степаном в Волгу!

Мраморная скульптура «Сон», созданная в 1913 году, интересна именно тем, что в ней Коненков, уходя от обычной манеры изображения человеческой красоты, нашел удивительную гармонию между живой плотью и поэтическим представлением о ней. То есть между прозой и поэзией жизни.

В 1933 году Сергей Тимофеевич, будучи в Америке, создал одну из своих лучших работ — портрет Достоевского. Вдали от родины, выполняя официальные заказы для американцев и, как он сам говорил, имея дело с трезвыми и рассудительными людьми, создавая четкие, несколько холодные образы видных государственных деятелей, Коненков, несомненно, тосковал по России и тогда, как зопь тоски по родине, воровался в его творчество деревянные скульптуры «Свистушкин», «Мы — ельнинские» и целая коллекция кресел-диванчиков, столов и ларей, изумительно выточенных Коненковым для собственного пользования. И тогда-то и родился образ Достоевского, полный трагичной экспрессии, скорбного раздумья.

Скульптура «Юность» была создана уже по воз-

вращении Коненкова из Америки, в 1953 году. С кого был сделан этот портрет, я не знаю, но меня всегда поражает что-то очень знакомое в нем, столько в этой прелестной женщине искренней доверчивости, прямоты и душевной нетруновости, что с ней хочется заговорить!

А через год— в 1954 году— Сергей Тимофеевич создал свой знаменитый автопортрет. Но мне хочется поговорить о двух автопортретах сразу. В Русском музее в Ленинграде есть автопортрет, созданный в 1916 году, и когда сравниваешь две эти работы, то вдруг отчетливо выявляется вся сущность коненковского характера, вся его сложность, противоречивость. Между этими работами около сорока лет творческих поисков, побед и неудач.

Портрет молодого высечен из камня, с лицом напряженным, непостижимого упрямства, с дерзостным, обличающим взглядом острых, пытливых глаз, впечатляет и как-то ошеломяет зрителя своей неистовостью; трудно себе представить, что он когда-то мог быть таким.

Но многое в творчестве его становится понятным, вся его одержимость, все всплески фантазии, иногда граничащей с какой-то дикостью древнеславянского видения природы и с нарочитостью грубо изваянных форм.

Надо было пройти сложнейший путь становления, со всеми извилистыми дорогами поисков собственной истины, чтобы прийти к последнему автопортрету— воплощению мудрого спокойствия, величавости и могучей красоты внутреннего самодовольствия.

В этом мужественном и вечном молодом, несмотря на патриархальную парадную старость, образе выражено все богатство натуры Коненкова, вся та его духовная и телесная могучесть, которая будет вечной жить в произведениях его неповторимого искусства.

А все-таки истоки его в том— в первом автопортрете, как в беспокорном, сердитом лесном ручье, бьющем из-под коряги, чтобы в конце концов влиться в большую, широкую реку.

Степан ЩИПАЧЕВ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АВГУСТ

Сорок лет назад (17 августа — 1 сентября 1934 года), состоялся Первый всесоюзный съезд советских писателей.

Мы обратились к одному из его участников, поэту Степану Щипачеву с просьбой поделиться своими воспоминаниями. Вот что он рассказал.

Приехал я в Москву в конце 1921 года. И (сам я тогда еще не писал) страстно хотел познакомиться с поэзией тех дней, поэтому я не пропустил ни одного литературного собрания, диспута, вечеров Маяковского в Политехническом музее.

Тверская улица (ныне улица Горького) была будто большой литературный клуб, особенно правая ее сторона (если идти вниз к Кремлю). В каком-то странном помещении (видимо, это был в недавнем прошлом парфюмерный магазин) существовала писательская организация «Кузница». Неподалеку от «Кузницы» был клуб поэтов-имажинистов — «Стойло Пегаса». Его главными действующими лицами были Есенин, Мариенгоф... Ниже по Тверской расположился клуб поэтов, называвшийся «Казино». Там часто бывал Маяковский. Были и другие группы, клубы, чуть ли не каждый день возникали новые объединения с новыми декларациями. Некоторые из этих организаций исчезали, появлялись другие группы, но пестрота литературных течений, их разномасштабность и разногласия были невероятными. Как известно, РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), существовавшая с 1925 по 1932 год, из-за серьезных идейно-политических ошибок постановлением ЦК ВКП(б) была ликвидирована. На фоне этой разнородности, разобщенности писательских сил возникло решение о создании Союза советских писателей СССР, объединившего литераторов страны на принципах социалистического реализма. И ведущую роль, воплотившую это решение, сыграл, как известно, Первый всесоюзный съезд писателей.

17 августа — первый день работы съезда. Я приехал к Дому советов за полчаса до открытия. У входа уже толпились люди: билеты не были пронумерованы, все хотели оказаться ближе к сцене, хотели посмотреть до начала заседания на литературных звездах, обменяться приветствиями. В толпе при входе я увидел много знакомых лиц, почему-то хорошо запомнился Борис Корнилов (27-летний поэт был уже хорошо известен), очень много было иностранных гостей. Взмахиваясь, оживленно во многом исходили от ожидания встречи с Горьким. Не только были заняты все места в зале, забыты были фойе, проходы.

Горький был основным докладчиком. Как сейчас, вижу Алексея Максимовича на трибуне, его сутуловатую фигуру, слышу его глуховатый голос. Слушали Горького с напряженным вниманием.

Большое внимание привлек и доклад о поэзии, он же вызвал и ожесточенные споры. Маяковский в докладе был объявлен устаревшим, поэту, по существу, отказали в будущем. Отпор такой оценке был дан самым решительным, особенно резко выступил Сурков.

Ясно вижу на съезде Фадеева (он председательствовал), Луговского... Шолохов запомнился в кулуарах. Он сидел чуть в стороне от вытигивавших по фойе людей, сосредоточенный, немного отрешенный. Ему было 29 лет. «Тихий Дон» еще не был завершен, но писатель уже был в зените славы.

Делегаты съезда почти все были молоды, подавляющее большинство от 23 до 35 лет. Даже писателей среднего возраста было не так уж много, даже старики с высоты сегодняшнего возраста не кажутся такими уж стариками. Над съездом витал дух молодости.

Да, первый съезд выполнял ту роль, которую ему предназначал Горький. Вот заключительные слова его доклада: «Наш съезд должен быть не только отчетом перед читателями... он должен взять на себя организацию литературы, воспитание молодых литераторов на работе, имеющей всесоюзное значение всестороннего познания прошлого и настоящего нашей Родины».

Владимир Соколов



Мой учитель был берегом, улицей, домом
За сетями дождей меж мостами двумя,
Парой книг на столе у меня под альбомом,
Где шумела под корками юность моя.
Тени хлопьев летели скорее, чем хлопья,
Ветер славы чужой холодил до костей.
Я шепнул его строки, но встретили в колья
Мои слабые строки желанных гостей.
Мой учитель был дымом в январских

карнизах,

Жутким вздохом открывшейся враз
полыни.

Я шепнул его строки, но гневно, как вызов,
Встали вдруг побледневшие строки мои.
Я его ненавидел за то, что предавил
Он все то, что случится с ребячьей душой.
Но меня он ничем и никак не обидел,
Просто за руку взял и повел, как большой.
Я уже никогда не забуду об этом
За сетями погод, за мостами двумя.
Ученическим, синим, морозным рассветом
Был учитель мой старый блее луня.
Был он первою каплей весеннего пеня,
Был последнею каплей терпенья стиха,
Вырывавшего руку из повиновения
И не знавшего больше, чем кража, греха.
Я шепнул его строки, стараясь потише.
Но шепнули мои: ничего, ты шепчи!

Поднимись и птенца, соскользнувшего с
крыши,

Подними, он живой, это наши грачи!
Это наши деревья, и почки, и споры.
И подрост и под небо птенец мой ушел...
На столбах напевали птенцы и монтеры,
На окраине вновь зацветал частокол.
Из окна паровоза махнула мне кепка.
Я не сразу узнал эти роскиды верст.
Мой учитель был краном, что взял меня
крепко
И, смеясь, на крюке от себя перенес.



Боже, как это было давно,
Ничего не осталось в итоге...
В почерневшем снегу плотно
Бесконечной железной дороги.
Полотно. А за тем полотном,

Как туманные знаки свободы,
Прносящиеся за окном
То пуга, то стога, то заводы.
Не свободен я был, все равно.
От любви, как от вечной тревоги...
Боже, как это было давно,
Ничего не осталось в итоге.
Только память о том, как бежал
От любимых.

Как снова и снова
Не за них, а за слово дрожал,
Стихотворное, бедное слово.



Да! Сухой я живу, словно порох.
Так и кажется, вспыхну вот-вот,
Все дурное в чужих разговорах
Принимая на собственный счет.
Наплевать мне на хвост их павлиний.
И меня этот пестовал век!
Но святую я вижу святыней,
Как любой несвятой человек.

Из поэмы «Дублер»

Как странно: я тобой гордился,
Я думал, ты моя награда,
И вдруг навечно устыдился
Того, что я тобой гордился,
Того, что думал как не надо.
[Не мучься долей, что досталась
Твоей любимой в жизни мнимой.
Она любимой и осталась,
Но только не твоей любимой.]
Не стой на празднестве, наспулясь,
Хоть и грустна твоя парадность,
Как будто ты лишен за трусость
Награды, выданной за храбрость.
Герой, оставь ее дублеру.
Она годится и в дублерию.
Тогда, когда нет места спору,
От споров станет только горше.
Не мучься долей, что досталась.
Твоей любимой в жизни мнимой.
Она любимой и осталась,
Но только не твоей любимой.



Я болен. Я в белой рубашке.
На белой лежу простыне.
Под белым теплом. Чьи-то ахи
И охи чуть слышатся мне.
То сходятся, то расступаясь,
Расходятся. Что-то звенит.
Игла, так любовно касаясь,
Меня от чего-то хранит.
Я выздоровел. Я снаружи
В те самые окна гляжу.
Прекрасные, грязные лужи
Старательно не обхожу.
Как выпущенный на свободу,
Я делаю все, что нельзя:
По льду, уходящему в воду,
Как малые дети, скользя.
Я выздоровел от простуды.
Я выздоровел от любви.
Вступают со мной в пересуды
Лишь голуби да воробьи.



Игорь
ШКЛЯРЕВСКИЙ

НЕ ПРОГОНЯЙ ПТИЦУ!

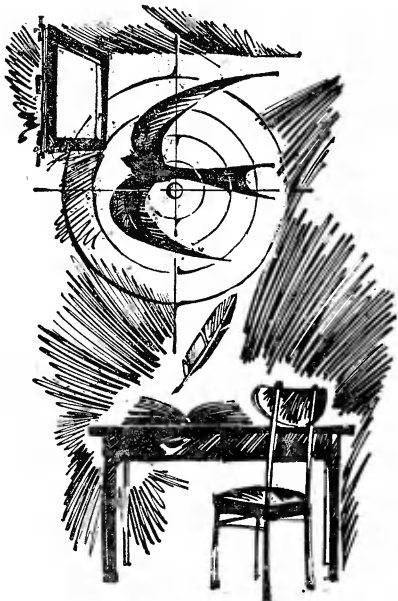


Рисунок О. КОКИНА.

Голос учительницы:
— Миша упал, сраженный фашистской пулей. Миша — подлежащее. Упал — сказуемое. Сраженный чем? Пулей. Дополнение. Какой пулей? Фашистской. Определение. Небышинец, ты почему не пишешь? Повтори, что я сказала.

— Миша упал...

— Выйди из класса.

Маленький круглолицый Небышинец, сутулясь, идет к двери.

Конечно же, он представил, как его ровесник — партизан Миша упал в траву и на ватнике расплывается красное пятно...

Конечно же, он увидел их, солдат в квадратных касках. И почувствовал в своих руках стальную тяжесть автомата — так его затрясло за партию. «Упал — сказуемое, пулей — дополнение...»

Урок грамматики или бессознательная прививка бациллы равнодушия?

Эта бацилла незаметно пожирает сердце, как эрозия почву, когда идет поверхностная вспашка. Тема урока — вольнолюбивые мотивы в лирике Пушкина. Голос учителя:

— Иоффе, прочти материал. Что автор вложил в эти строки?

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман.

Идет «прочтение материала». Покашлявая, Иоффе подыскивает неестественные, но кажущиеся значительными слова: «фабула, перипетии, абстрагируя создавшиеся концепции...»

Трудная задача — живой ум подростка сопротивляется.

Прогитравшему в ножик легче вытащить зубами колышек из земли.

Познания... Однажды весной в наш десятый «Б» залетела ласточка. «Абстрагируя создавшиеся концепции...» На золотой от солнца доске мелькнула острая тень. И ожил класс!..

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержан голубую прохладу.
Она прорвалась из горластых грудей,
И льется, и нет с нею сладу.

И нет у вечерних стрижей ничего.
Чтоб там, наверху, задержало
Витийственный возглас их: о торжество,
Смотрите, земля убежала!

Как белым ключом закипая в котле,
Уходит бранчивая влага...
Смотрите, смотрите — нет места земле
От края небес до оврага.

— Староста, прогони птицу!

— А как?

Лопнула тишина — хохот, хихиканье, коварные советы с «камчатки». Староста бежит к вешалке: в те, послевоенные годы, наши пальто и фуфайки висели в классе. Староста бросает в ласточку земную шапку. Мимо! Мечется птица. Владелец шапки радостно возмущается:

— Порвешь!

Голос с «камчатки»:

— Не прогоняй птицу!

С треском вспороти бумагу, распахнули второе окно, — оняывая, хлынула запах сырой земли. Ласточка упорхнула в синеву...

Я вырос в семье школьных учителей, учился в пединституте, работал в пионерской газете. Приходилось сидеть на уроках, заглядывать в Дома пионеров. Ежедневно я прочитывал по сорок писем школьников, пионервожатых, учителей.

Голос учителя: «Давит программа...» Жалоба приперевожной: «Литкружок захирел...» Чья вина? Загубившая пальцы, учительница перечисляет методы критического реализма: «Реалистический герой — раз, гуманизм — два, типичность — три...»

— Не прогоняй птицу!..

Конечно, все это важно, все правильно, только не хватает самой малости. Сломать весеннюю ветку, и в лицо брызнет клейкий сок...

Поэзия должна быть в самом преподавании!

А в соседнем классе на физике оживают, ворочаются под подошвами мокрые камни — закон трения! Ньютон потирает на лбу шишку. Кстати, почему даже бывшие двоечники навсегда запомнили этот закон Ньютона? Ведь он не проше других. Ньютон вышел в сад, упало яблоко... Да потому, что закон физики и живой поэтический образ соединились! К сожалению, в пединститутах на факультетах физики, химии, математики литература не преподается. А правильно ли это? Может быть, изучать хотя бы факультативно? Ведь не зря дошло до нас изречение: «Можно не знать геометрии, но нельзя, не зная литературы, быть культурным человеком». Поэзия одухотворяет цифру, дает ей цвет, запах, реальную плоть и таким образом исключает бессмысленную зубрежку.

«Литкружок захирел», потому что подошла к живому делу механическая.

Пыльное лето 1954 года. Жара. Мы стоим во дворе детдома. Трепещет барабан. Стримеры. Голос воспитателя:

«Идем любоваться природой... Раз-два, левой!»

В графе учебного плана появляется птичка. Но не та, которая весной залетала в класс. Мертвая птичка.

Голос экскурсовода, работающей по маршруту Ессентуки—Пятигорск: «Любуйтесь, здесь—Эльбрус, там—Машук. С детских лет юный Мишель полюбил синие горы Кавказа. Царь ненавидел его за критику...»

Еще одна мертвая птичка.

Если жизнь человека сравнить с рекой, то ее исток — школа. Вот почему я вспоминаю этот эпизод.

По дороге в Тарханы я и жена остановились в пензенской гостинице. Молодая девушка, дежурная по этажу, выдала мне квитанцию, в которой было написано: «Шклярский, с ним одна». Я не поверил глазам. «А мы всем так пишем», — ответила дежурная.

При чем здесь поэзия в школе?

А при том, что человек, сызмальства полюбивший поэзию, никогда бы так не написал — чувство слова и чувство такта неразделимы. Но вернемся в школу.

Из класса Нины Семеновны на фифак поступает один человек.

Из класса Киры Михайловны — почти половина. Соседние школы, одинаковая программа. В чем же дело?

Я сидел на уроке Киры Михайловны и думал о том, как повезло тем, кто слышит ее взволнованный голос: «Приближается звук. И, покораив щемящую звуку, молодеет душа»...

Разговор о Блоке учительница начала словом о поэзии: «Она прямо или косвенно участвует во всех великих событиях настоящего и будущего.

Она тайно сопутствует всем выдающимся открытиям века. Тете в «Фаусте» предугадал многие открытия физиков и химиков.

Она по наивности своей может ошибаться, по заведомо никакому сомнительному делу служить не будет.

Огромна сила ее сопротивляемости всему, что недостойно ее порыва, взгляда. В этом смысле она сильнее своих творцов.

У нее великое будущее уже хотя бы потому, что не все еще сегодня ее понимают и любят.

Она сильнее безвозвратности!

Она может остановить в воздухе осенний лист: никогда не упадет на землю тот кленовый или осиновый, на который мелком она взглянула!

Одним своим дыханием она удерживает слабых духом от недостойных поступков.

Она помогает одолевая даже физические недуги.

Она не боится косноязычия и не ограничивает себя красивыми фактами и явлениями.

Напоминая о крайности человеческой жизни, она тем самым воюет с ленью, трусостью, инертностью... Я задавал вопросы ученикам Киры Михайловны. Они хорошо знают «непрограммных» поэтов — Баратынского, Случевского, Анненского, Ахматову, Заболоцкого. Впрочем, «знают» — не то слово. В этом классе правомочно совсем другое слово — «любят».

Вечером я и мой друг, известный поэт, сидели в гостях у Киры — так с любовью зовут ее за глаза ученики. И черт дернул за язык моего друга.

— Я начинаю стихотворение Блока, а вы продолжайте, потом вы начинаете, а я продолжаю читать. — Идет!

Через час мой друг сказал: «Сдаюсь...»

А у Нины Семеновны девочки тоже любят стихи. Я спросил:

— Каких поэтов?

Ответили хором:

— N.N... (стихотворцев пошлейших!)

Как говорят, каков поп, таков и приход.

Набивая охотничьи патроны, развернул старую тетрадь младшего брата. «Человек — это звучит гордо», — крикнул Сатин со дня жизни...

«Крикнул Сатин со дня жизни», — подчеркнул жирной, раздражительной линией. Приписка учителя: «Так писать нельзя».

Почему? Небольшое отступление от штампа вызвало раздражение учителя, привыкшего к тому, что за ловко перенесанное — пять, за явный плагиат — три. А за свое?

На всю жизнь закодировала река ученика 4-го класса одной из московских школ Антона Горелова. С этим общедивным, очень тонким и сложным человеком мы часами просиживали над светлыми платинами северных рек. Однажды осенью я собирал снасти. Антон смотрел и вздыхал.

— Завтра суббота. Почему?

Антон мотнул головой.

— Почему?

— Не отпустят...

В конце концов Антон извлек из кармана уже вырванные, сытые листы.

Они пришли в школу, и учительница дала им сочинение на тему «Что я увидел на летнем лагуду?». Антон начал так: «На прекрасном зеленом лагуде лежали коровы лепешки».

Потом он описал одуванчик, стрекозу, сенокос... «Коровы лепешки» шокировали учительницу.

Приписка: «Некрасиво! Так писать нельзя».

Опять та же приписка...

И длинная, острая, как рыболовный крючок, единца.

А Чехов поставил бы своему тезке пятерку.

Учительница Антона понимает поэзию как нечто сладко-красивое, дистиллированное.

Невольно вспоминается:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дитя запах свежий.
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

Запах дегтя, плесень на стене...

Коровы лешенки па лугу...

И музыку этой фразы учительница не услышала:
«На прекрасном зеленом лугу...»

А ведь замкнется Антон, станет важным маленьким старичком и будет одергивать своих товарищей словом «несолидно»... И так бывает, если учитель не понял и прочел вслух, а класс засмеялся. Тень ласточки на школьной доске...

Через двадцать лет встретил в городе детства своего школьного «врага». Мы объяснили, и он сказал: «Слежу, читаю...» Я вспомнил: однажды мы дрались четыре перемены подряд. Убегая, он крикнул: «Поэт!» У меня было несколько клочков, но самой обидной, как думалось моим дорогим недругам, была «Поэт». Почему?

В автобусе две женщины беседуют о своих чадах: «Твоя куда поступает?» «В МАИ». «А твоя?» «Ох, куда не поступит». «Тогда пристрой ее в наш педагогический институт на филфак...»

Кстати, у Кирры Михайловны медалисты пошли на филфак, на журфак.

«Поэт», «пристрой на филфак»...

Где истоки неправильного понимания этого благороднейшего ремесла?

Послевоенное школьное утро. Зима. Черные окна, холодный пол. стакан чая и холодная картошка на завтрак. И вот мальчик бежит по улице. Ветер надует отцовское пальто, и несколько секунд мальчик бежит на месте, зажатый ледяным пузырьком воздуха. Обледенелый водосток, замерзший навоз на дороге, автобус, набитый рабочими, их одежда пахнет металлом, машинным маслом. Резкая фабричная сирена заглушает школьный звонок.

Входит учитель. Опоздавший прошмыгнул за парту. Сейчас его вызовут, и он будет бормотать о мечтах и снах Татьяны Лариной... С бухты-барахты в дворянскую усадьбу Лариных или на бал в Ростовым...

Что-то в этом есть неестественное — трудно перестроиться.

Я к вам пишу. Чего же боле?
Что я могу еще сказать?

Сбился, забыл строчку... И вот уже кто-то смеется... Смеется потому, что не готов еще к возвышенной форме разговора, к летучим рифмам, к восторженным междометиям, страстным признаниям в любви. Еще холодное сухое утро зимнего дня, да и жизнь еще только начинается. И непонятное, высокое кажется смешным.

И вот о чем я подумал: литература чуток фиксирует постоянно изменяющиеся формы жизни, быта, труда, а преподавание самой литературы в школе, в частности поэзии, за последние двадцать лет мало изменилось. Конечно, учебники переиздаются с дополнениями и изменяются программы, растет общий интеллектуальный уровень и учителя и школьников. Но не всегда растет вглубь. Отец и мать проводят вечера у телевизора, сын часами сидит рядом. Я не собираюсь отрицать великое изобретение века, но книга остается книгой, ее ничем не заменишь.

Что же, на мой взгляд, должно измениться в школе? Я не говорю: «Давайте помечтаем...» В наше время летящий металл обгоняет свой звук, реальность опережает мечту.

Я уверен в том, что скоро первый урок в школе будет уроком и физкультуры, и эстетики, и литературы, и музыки, и истории, и химии, то есть уроком общим, подготовительным. В зависимости от того, какой урок следующий, первый урок сомкнется с ним — легко, живо, естественно. Подготовит к нему. И тогда обретет гораздо больший смысл значение классного руководителя, не случайно назначенного

преподавателя химии или истории, а любимого (каждое утро первого!), широко образованного человека, который будет входить в класс вместе с рассветом.

Одна из древних традиций русской школы — рукописный литературный журнал. Пора завести его не только в каждой школе — в каждом классе.

Слышу голос Кирры Михайловны:

— А знаешь, почему ты не запомнил стихотворение в этом месте? Ты не понял эпитеты. Желтые и синие молчали, а зеленые плакали и пели. В желтых и синих ездили пассажиры первого и второго класса, а в зеленых — беднота. Поэт не просто дал три цвета, он вложил в них социальных смысл.

Всегда, каждый день — учителю трудно, и чем лучше учитель, тем ему труднее — у него более сложные задачи.

И особенно трудно сельскому учителю.

Непогода не раз загоняла меня к нему в дом. Запомнилась одна грустная встреча в Полесье. Я поступал, и хозяйка меня сразу узнала: мы учились в одном пединституте. Пока я обихаживал на печке, моя постаревшая сокурсница подошла к корове, накормила теленка, поросенка, уток. Потом мы поужинали, вспомнили друзей. Я незаметно огляделся — хорошо живет: новый дом, мебель, телевизор, хозяйство. А на книжной полочке — семнадцать книг... Половина из них — учебники. Остальные — художественная литература, да еще одна, красиво изданная книжонка. Нет, не «Будденброки» — «Бутерброды». Вот уж, как говорится, совсем не ко двору.

Но не будем торопиться с осуждением.

Есть на Могилевщине одна лесная дерсушка. Под обрывком течет светлый Сожа, — по данным ЮНЕСКО, одна из самых чистых рек в Европе. Пять лет подряд я проводил свои летние дни в этой деревушке. И люди там такие же чистые, как их река. И ребятишки обожают однорукую Егорычу — учителя младших классов. Как он ловит линей — без сетки, без удочки, одной рукой!.. Запылався с ребятами в старое русло Сожа, раскачивает возле берега плоскодонку, и потревоженный ливень выдает себя пучком пузырей, а то и выйдет наверх, развернется и снова на дно — головой в ил. В то же самое место зарывается, только еще глубже. «Тшш!»

Егорыч, хитро прищурясь, свешивается с лодки и ширит лия — рука, плечо, голова в воде, только рот наверху. Ученики исторженно следят за ним. «Линь не боится, когда его трогают», — захлебываясь, шепчет Егорыч, — «больные рыбы об него трутся, слизь у него лечебная... Глубоко. Топко... Ага, вот он...» И в лодку тяжело шлепается килограммовый золотисто-зеленый линь!

Придет август, и Егорыч с ребятами бежит в лес за боровиками.

— Ищите там, где полянисто! — кричит Егорыч своим ученикам.

А слова-то какие: линь, полянисто... Живые слова. Осенью под окном школы я подкидал своего маленького друга Ленку.

— О чем написан стихот? — спрашивал Егорыч. Так скучно шел урок, словно продирался учитель со своими учениками сквозь сухостойный ельник. Куда подевались живые слова?

Егорыч ли это?

Вечером он с сыном шпала дрова, я попросил у него лодку.

— Ключ в хате возле часов, — сказал Егорыч.

Я вошел в дом, глянул на книжную полочку — не густо...

Между прочим, в райцентре Егорыч бывает пять раз в году, в областном — два три раза, а в Минске — раз в три года. Не так-то просто купить нужные книги да еще с наскока. Может, все-таки председатель

кошкоза должен позаботиться об этом — выписывать для своих учителей необходимую литературу, уж кошкозу не откажут. И не только выписывать книги — сделать так, чтобы у сельского учителя дрова были поколоты и корова подоена. Учитель должен учить, а все остальное время сам учиться, это и есть — читать книги.

В Карелии, в поселке Энгозеро, на зеленом холме стоит деревянная двухэтажная школа. Стоит прямо над озером. Я ночевал в ней и с грустью пожалел, что не пришлось мне учиться в этом чистом, прохладном доме. Мы открыли окно, и озеро вошло в класс, затопило его синевою и резкой свежестью. Местные

рыбаки рассказывали мне, что обходятся без маяка. В ненастные вечера, возвращаясь с лова, они ориентируются по окну местного учителя. В нем всегда горит свет.

Ледяной ветер дует осенью с Белого моря. Волны Энгозера разрушают скалистую часть холма, на котором стоит школа.

Волны поколений обрушиваются на человека, в окне которого горит свет, и катятся вдали, просветленные силой поэзии, окрыленные ее неизбывной свежестью.

Учитель — свет несущий...

Не проговяй птицу!



Н. БЕККЕРМАН

ВОЛШЕБСТВО РЕАЛЬНОСТИ

Книга Евгения Богата «Вечный человек» («Молодая гвардия», 1973) неожиданна и, может быть, даже парадоксальна. Парадоксальность заключена уже в самом ее названии. Разве есть на земле что-нибудь менее вечное, чем человек? Разве не случайно он погибает Гагариным? Разве не он умирает от разрыва сердца молодым, буйно талантливым журналистом?

Все это так. Человек смертен и мимолетен в мире. Но это и не так, потому что Человек вечен творениями его разума, неисчерпаемостью его человечности, силой его веры в торжество добра.

Об этом вечном человеке, что жил на земле много веков назад, что живет сейчас в каждом из нас и что будет жить сотни лет спустя в наших потомках, рассказывает книга Евгения Богата. Форма ее свободна, предельно раскованна и откровенно полемична. Но, закрывая книгу, без колебаний соглашаешься, что такая она наиболее оправдана и современна, потому что объемно и точно позволяет выразить главную мысль написанного — мысль о высоте и неистощимости человеческого духа. Мысль эта, представшая перед нами в ряде связей: Человек и Творчество, Человек и Доброта, Человек и Война, Человек и Человечество, Человек и Космос, — определила жанр «Вечного человека»: синтез темпераментной художественной публицистики и философского эссе.

Каждый, кто захочет прочесть эту книгу, найдет в ней что-то наиболее дорогое лично ему, созвучное его индивидуальному восприятию мира.

Для кого-то это будет равнинный бизон, доверчиво уткнувшийся в ладони человека, для кого-то — наш современник, сумевший открыть в себе дара — неважно, рабочего или живописца. Для кого-то станут близкими вечный Рембрандт или старая женщина, которую он научил доброте и умению понимать людей. Для кого-то это будет добрый сказочник-поэт Андерсен или создатель «вошебных фонарей» таллинский мастер Энке.

Самого молодого читателя привлечет, вероятно, своеобразная картина «мира будущего» со светящимися елями и вырывающимися в космос кораблями, которые спешат покинуть Землю, смело и увлеченно написанная в «Трезвизане-30». А человека постарше заинтересует образ читательницы, чье воображение умеет окрашивать ватман в голубой и оранжевый цвета, девушки, которая сокрушается, что она «обыкновенная», и в которой писатель открывает талант поэтического восприятия действительности, как волшебный дар, доставшийся герою андерсеновских «Калаша счастья».

Кто-то, без сомнения, захочет поспорить с автором, как спорят с ним читатели, приславшие письма, вошедшие в раздел «Диалоги». Споры автора с читателями чередуются с запоминающимися рассказами о наших современниках. А лирико-философские размышления о любви и доброте, красоте и творчестве — с экскурсами в историю, с заметками о творениях великих поэтов, художников, композиторов, философов — Петрарки, Данте, Шекспира, Достоевского, Рембрандта, Баха, Моцарта, Платона и Софокла, Бетховена, Пушкина и Блока. Широкий круг имен и тем для размышлений, свободные «перемещения» из одного века в другой, из «смежных» областей искусства и творчества в, казалось бы, далекие, объясняются прежде всего стремлением раскрыть сокровенные, волнующие писателя мысли о нравственном и эстетическом идеале человека.

Интересны в книге размышления Евгения Богата о соотношении «духовного» и «материального» во внутреннем мире современного человека, живущего в пору стремительной НТР. И безусловно, что сейчас, когда «упростились» кричат об исчезновении духовности в век космоса и кибернетики, эти раздумья актуальны.

Автор стремится заставить читателей, и особенно молодых, взглянуть в окружающий мир, старается пробудить в них желание размышлять, желание понимать и узнавать людей, жажду приобщения к тем нравственным и эстетическим богатствам, которые выработало человечество. Чтобы войти в новую эпоху человечества — коммунизм, — нужно уже сейчас, сегодня учиться «созидать себя», учиться привносить в человеческие отношения свет высокой духовности.

И этому учит книга Евгения Богата. Именно учит, потому что она по-хорошему дидактична. Делясь с молодыми собеседниками раздумьями о возрастающей роли духовности в нашей сегодняшней жизни, писатель помогает каждому из нас опустить человека Вечного — в себе самом.



Наталья
ЛАГИНА

...ЧТОБЫ ДРУГИЕ ЧУВСТВОВАЛИ...



«**Н**адо сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали...» — кому адресовал эти ставшие крылатыми слова Никколо Паганини? Только лишь скрипачам? Или дирижерам? Или композиторам? Скорее всего всем сразу и уж наверняка компьютерам тоже, ибо в этой фразе — убежденное, выстраданное кредо Паганини-музыканта. Кредо, под которым охотно подпишется каждый, кто, обладая талантом истинным, посвятил себя творчеству. Речь идет, конечно, о тех,

для кого музыка — естественная, как дыхание, необходимая потребность разговора о больших чувствах и проблемах жизни...

«Надо сильно чувствовать...» Молодой латышский композитор Петерис Плакидис чувствует именно так и уже сегодня обладает индивидуальным видением музыки, выразительным языком и достаточно значительным для его двадцатисемилетнего возраста творческим багажом...

Весной 1971 года Союз композиторов СССР проводил в Москве расширенный пленум, посвященный творчеству молодых. И вот концерт в Зале имени Чайковского. Удивительное взаимопонимание сразу установилось между публикой, оркестром и солистом, едва возникли первые фразы «Музыки для фортепиано, струнного оркестра и литавр» Петериса Плакидиса. Сольную партию фортепиано исполнил сам автор. Тогда Плакидис, хорошо известный в Прибалтике, впервые вышел на столичную сцену, и его дебют, по общему признанию, стал одной из ярких и запомнившихся страниц молодежного пленума.

...Ощущение сиюминутности рождения мысли и образа в музыке не покидало зал. Казалось даже, что эта волнующая, углубленная стихия размышления, так эмоционально и самобытно переданная автором, словно подхвачена у самих слушателей и возникала в музыке параллельно их чувствам. Современность гражданского и музыкального начал, нераздельно спаянных, плюс красота мелодическая, стихия фольклора, обогащенного добрыми традициями советской (в целом) и латышской (в частности) музыкальной культуры. Это была музыка, которая заставляла слушателей углубляться в раздумья.

О жизни, которая осмысливается и рождается каждодневным трудом и поиском. О молодых людях, месте и долге каждого в сложном и стремительном современном мире. О богатом душевном складе молодого героя, жажде открытия нового.

Тогда, в день московского дебюта, Петерису Плакидису только что исполнилось двадцать четыре года; двумя годами раньше он закончил консерваторию в Риге, заведовал музыкальной частью Государственного академического театра драмы Латвийской ССР, к тому времени уже успешно опробовал свои силы в камерно-инструментальной и вокальной музыке, музыке для балета, драматического театра, радио, кино (в кино, кстати, начинал с непростого жанра мультипликации). Тогда же пресса — и латышская и московская — отмечала явное тяготение молодого композитора к самым разным аспектам современной темы.

Современный герой, современная тема — как их понимает Петерис Плакидис?

Отвлечемся ненадолго от музыки. Послушаем, что рассказывает ее автор:

— В узком смысле слова — это набор «современных заголовков», зачастую не имеющих под собой почвы, то есть яркой, по-настоящему содержательной музыки. В широком смысле слова — это настоящая, содержательная музыка (с программным заголовком или без него), которую невозможно себе представить созданной другим поколением. Музыка, несущая в себе образную сферу, ранее не существовавшую... Каким я вижу героя нашего времени? Исключительно многогранным. Буюсь что-либо упростить, раскладывая «по полочкам» черты этого героя. Но, на мой взгляд, музыка, его характеризующая, — как раз та, о которой я только что говорил...

На снимке: Петерис Плакидис.

Если мы вновь обратимся к музыке Плакидиса, то увидим: сказанное композитором соответствует его творческому поиску в сочинениях различных жанров. Назовем две сонаты для фортепиано, преюдию, трио, фортепианные вариации, пассакалию для трех виолончелей и фортепиано, пастораль для флейты и фортепиано, кантату для камерного хора «Аве соль», музыку к недавнему фильму «Илга-Ивола». Он ищет новые, подчас и непривычные сочетания инструментальных голосов в классических формах, очень любит точное, образное слово — потому охотно пишет на стихи современных латышских поэтов, например, Ойра Вайцетса. Любость к поэзии определяла и выбор тем его популярных вокальных циклов — от раннего «Трезубца» до нового лирического цикла для меццо-сопрано, флейты, гобоя, кларнета и контрабаса (последний был исполнен с большим успехом на V Всесоюзном съезде композиторов весной 1974 года, опять-таки став одним из ярких впечатлений на форуме сегодняшней советской музыки и, пожалуй, наиболее интересным из всего показанного на съезде молодежью). Очень своеобразная, поэтическая романтика, преломленная в размышлениях о нынешней молодежи, выявлялась в партитуру «Музыки для фортепиано, струнного оркестра и литавр», а найденное здесь получило, как и в вокальных циклах, удачное творческое развитие в первом в его жизни сочинении вокально-симфоническом — поэме «Стрелок», созданной на стихи Виттаута Людена и посвященной памяти латышских красных стрелков (1972 г.).

Прогрессивная, героическая роль латышских красных стрелков в истории Октябрьской революции и гражданской войны общезвестна, и тема эта непереносима. Петерис Плакидис далеко не первым обратился к претворению ее в музыку, сконцентрировав свое внимание на событиях апреля 1920 года. Тогда дивизия латышских стрелков была направлена в Крым для борьбы с врангелевцами. Трижды атакован Турецкий вал на Перекопе, дивизия была вынуждена отступить перед превосходящими силами противника, но это был, по сути, пролог разгрома врангелевцев... Опираясь на образные стихи Людена, Плакидис счел необходимым ввести в музыкальную ткань своего сочинения и народные латышские песни — о любви к Родине, борьбе за ее свободу, священном долге каждого человека быть ответственным за судьбу своей страны... Пять контрастных частей поэмы — пять эпизодов, сюжетных и несюжетных, но каждый из них раскрывает и смысл борьбы, и характер революционного бунта, и образ Родины, земли, обращаясь к нам, людям семидесятых годов, от имени тех, кто бился больше полувека назад за нашу сегодняшнюю жизнь... Поэма «Стрелок» — это и конкретные люди, о которых рассказывают стихи Людена и музыка Плакидиса, но шире — это величавый, эпически мощный, сильный и нестигаемый образ народа. Главное действующее лицо, вернее, главный инструмент, который создает этот портрет — хор. И вместе с ним — очень остро, современно (ведь музыка пишется сегодня и не стилизуется под музыкальный язык пусть сравнительно недалекого, но прошлого!) звучит оркестр. Оркестр, которым Петерис Плакидис владеет отлично и очень индивидуально, по-своему использует его богатые возможности.

Его язык не просто глубок и ярок, но радует красотой, синтезом новых выразительных средств, найденных им лично и творчески развитых из достижений классической музыки. Причем этот поиск всегда устремлен навстречу сегодняшним мыслям и чувствам слушателей. Это ценное качество, думается, трудно переоценить.

— Я лично предпринимаю определенные усилия, чтобы сделать свой язык максимально конкретным и лаконичным, — говорит Петерис Плакидис. — Доходчивость музыки, легкость ее восприятия определяются системой образности самой музыки. Можно сложным языком написать посредственное произведение и простым — глубокое и содержательное. У каждого композитора есть определенный круг образов, выразительных средств. И они применяются в каждом отдельном случае, согласно творческим принципам и замыслам...

Петерис начал писать музыку рано — с двенадцати лет. В начале своих композиторских опытов страстно увлекался немецкими романтиками, но основное влияние на формирование его композиторского почерка принадлежит раннему Скрябину, Сергею Прокофьеву, венгерскому композитору двадцатого века Бела Бартоку. Не случайно эту творческую взаимосвязь Плакидис подчеркнул и в самом названии своей «Музыки» — по ассоциации со знаменитой бартоковской «Музыкой для струнных, ударных и челесты». Кстати, о жанре «Музыки»: это сравнительно молодой, очень четкий и лаконичный жанр свободного музыкального размышления, к нему часто обращаются композиторы Прибалтики (например, одним из первых — эстонец Ян Рястс). И именно это сочетание лаконизма и глубины в данном (и непростом!) конкретном жанре «Музыки» очень показательно для творчества Плакидиса вообще: тяга к сжатости, немногословию и четкости при неперменной выразительности музыкальных образов и действия, при самобытности темы и мелодического начала. Стремление к лаконизму, в котором концентрируется глубинное, философски обоснованное выражение значительной мысли и эмоции, говоря словами самого композитора, — «виден сегодняшнего дня». Не случайное мнение критиков единодушно: музыка Плакидиса всегда вызывает ощущение внутренней сосредоточенности, серьезности.

— Для меня всегда имеет важное значение уникальность, самобытное видение мира творческим человеком. То, что отличает данную творческую личность от других. Ее индивидуальность. — Так говорит композитор Петерис Плакидис.

Петерис, что немаловажно, одинаково серьезно относится к любому жанру, никогда не удовлетворяясь достигнутым и не настраивая себя на обретение моментальной популярности. Он пишет — как дышит, как думает, зная свою тему, своего современника, того, кому он адресует свою музыку.

...Выход сентябрьского номера «Юности» совпадает по времени с появлением на экранах страны нового латышского художественного фильма «Не бойся — не отдам!» («Дундуриньш») — о семилетнем мальчике-сироте и очень больших «взрослых» проблемах. Музыка к фильму (а ее много!) написал Петерис Плакидис. И для тех, кто еще незнаком с его творчеством, эта лента может стать очень доброй первой встречей.

Думать, искать, находить и снова искать — создавать музыку так, «чтобы другие чувствовали», — вот позиция Петериса Плакидиса. И он всегда верен ей бескомпромиссно.



КАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ



В сентябре этого года исполняется 70 лет со дня рождения Николая Островского. Что побудило меня, старого комсомольца 20-х годов, коммуниста, ровесника Николая Островского, на старости лет взяться за перо, чтобы рассказать нашей молодежи о встречах с ним в те далекие, незабываемые годы? Сознание, что Н. Островский живет и будет жить в памяти молодежи, вдохновляя ее и личным примером и примером своего героя.

Сорок два года назад — в 1932 году, — то есть тогда, когда в журнале «Молодая гвардия» начала печататься 1-я часть романа «Как закалялась сталь», мы, несколько работников ЦК комсомола Украины, и в том числе секретарь ЦК И. Краевский, отдыхали в Сочи, в «Санатории-3», а в санатории «Красная Москва» находился тогда на лечении Николай Островский. В один из дней, закупив фрукты и подарки, мы его навестили. Николай был очень рад этой встрече, много рассказывал нам о своих планах, о работе над второй частью романа, с большой теплотой говорил о друзьях и товарищах, не забывающих его и помогающих ему в работе.

«Я вам скажу одно, — говорил он нам, — хотя меня и сковала жестокая болезнь, я не сдаюсь и в дол-

гу не останусь. Все свои силы, сколько у меня их будет, все их отдаю, чтобы своим новым оружием — пером помогать партии, народу, комсомолу в их великой борьбе».

Нас тогда до глубины души взволновала эта встреча. Как будто не было страшной, неизлечимой болезни. Мы видели перед собой страстного, исключительной силы воли человека. До сих пор в моей памяти, а еще больше в сердце хранится тепло и задушевность этой первой встречи с Николаем. И в радостные, а еще более в трудные дни и годы моей долгой жизни он всегда и во всем служил мне жизненным примером...

Прошло несколько лет после этой встречи, и для укрепления комсомольской работы меня в числе трехсот молодых коммунистов направили на руководящую комсомольскую работу в пограничную (тогда) Винницкую область, в состав которой входили четыре форпостных округа — Каменец-Подольский, Могилев-Подольский, Проскуровский и Шепетовский, то есть та самая Шепетовка, где рос, формировался, а затем и работал Николай Островский.

Наверху: Н. ОСТРОВСКИЙ. Снимок 1923 года.

В нашей комсомольской организации в те годы установилась священная традиция — на все конференции и съезды комсомола избирать делегатом своего земляка, друга и товарища Николая Островского, хотя он и находился вдали от нас, в Москве, неподвижный, прикованный к постели тяжелым недугом.

В 1936 году, вначале на окружной конференции Шепетовского округа, а затем на Винницкой областной конференции Николай Островский был вместе с нами избран делегатом IX Всеукраинского и X Всесоюзного съездов комсомола. 2 апреля 1936 года мы собрались в Киеве на свой IX республиканский комсомольский съезд.

Когда председательствующий объявил, что слово предоставляется делегату съезда Николаю Островскому, в зале после бурных аплодисментов наступила мертвая тишина. Мы услышали из Москвы родной, взволнованный голос Николая. Это были захватывающие, глубоко взволновавшие всех нас минуты.

Николай проникновенно говорил о том, какой он себе представляет молодежь социалистической эпохи, и страстно призывал нас: «Только вперед, только на линию огня, только через трудности к победе и только к победе... — вот девиз молодежи нашей страны, девиз прекрасный, девиз мужественный».

Этот эпизод работы IX съезда, так удачно воссозданный режиссером Н. Мащенко в начале кинооперы «Как закалялась сталь», вновь, как и тогда, много лет назад, потряс меня до глубины души, как будто это происходило сегодня...

...9 апреля мы выехали в Москву на X съезд ВЛКСМ. В составе делегатов съезда от Украины было много знатных передовиков шахт, заводов, фабрик, колхозов, воинов Красной Армии, своим самоотверженным трудом прославивших тогда комсомол, и среди них известные всей стране Паша Ангелина, Мария Демченко, Марина Гнатенко и многие другие.

В Москву на съезд наша делегация ехала специальным, красочно оформленным поездом, который вел известный тогда всей стране машинист паровоза, стахановец, делегат съезда Петр Кривонос — ныне Герой Социалистического Труда, начальник Юго-Западной железной дороги. По пути следования от Киева до Москвы нас тепло и радостно на всех остановках встречали комсомольцы и молодежь, как бы напутствуя своих посланцев на съезд, но особенно тепло и радужно нас встретили на Киевском вокзале 10 апреля комсомольцы и молодежь столицы нашей Родины — Москвы.

Утром следующего дня при регистрации в Кремле наша винницкая делегация получила мандат и на нашего делегата Николая Островского. И в тот же день секретарь Винницкого обкома ЛКСМУ Володя Медовый, секретарь Шепетовского окружкома В. Пилипенко, секретарь Славутско-Берездовского райкома Перевертайленко, пятисотница Ганя Швидка, начальник Берездовской погранзаставы и секретарь Винницкого горкома — автор этих строк поехали на квартиру к Николаю, на улицу Горького, 14 (где ныне Музей-квартира Островского), чтобы вручить ему мандат делегата X съезда ВЛКСМ.

Николай лежал в кровати, укрытый по грудь байковым одеялом, поверх которого были вытянуты руки; в военной гимнастерке, с орденом Ленина на груди. Рядом сидела его мать Ольга Осиповна, а через несколько минут пришла и жена его — Рая. Комната, в которой лежал Николай, была опоясана радиопроводами, сбоку стоял приемопередатчик, над кроватью его висели радионаушники, так как все было подготовлено для выступления Николая по радио в Кремлевском зале на X съезде ВЛКСМ,

Он тогда уже был почти полностью парализован, действовали только кисть правой и три пальца левой руки, но глаза его горели таким неугасимым энтузиазмом, выражали такую решимость и волю к жизни, что никогда нельзя было и подумать, что глаза эти незрячие, что Николай слеп... Очень трудно, даже невозможно без волнения передать впечатление от этих минут... Островский очень обрадовался нашему приходу, живо интересовался работой каждого из нас, просил рассказать ему о работе комсомола Винницчины и особенно Шепетовской и Берездовской организаций. Пальцами левой руки он долго водил по мандату делегата, ощупывая его, интересовался, что и как на нем написано, и, узнав, что все написано золотыми буквами, что на нем вытиснен барельеф вождей коммунизма, он проникновенно сказал нам: «Смотрите, ребята, как вырос комсомол, в Кремле собирается... Подумать только — когда-то весь состав личных дел комсомольцев Берездовского района помещался в одном боковом кармане моего пиджака. Это же все ценить, а главное, беречь как надо!.. Я обязательно выступлю на съезде, видите, все уже этого подготовлено, тезисы мои для выступления уже тоже готовы».

Некоторые из нас с трудом сдерживали слезы. Ольга Осиповна и Рая неоднократно делали нам знаки — дескать, заканчивайте беседу, ему нельзя волноваться, — и вдруг Николай им говорит: «Мама, Рая, зачем вы гоните моих друзей, разве вы не видите, как мне с ними хорошо, пусть они не уходят, пусть еще посидят...». Мы и сами уже понимали, что беседа затянулась, что задерживаться больше нам нельзя, что запрещено его утомлять, а тем более волновать, поэтому, распрощавшись с ним, Ольгой Осиповной и Раяй, мы ушли. Но эти 25—30 минут остались в памяти на всю жизнь, и забыть их, как и образ Николая, невозможно. Именно поэтому все так живо сохранилось до сих пор и в моей памяти.

Возвратившись в гостиницу «Европа» на Наглиной, где тогда размещалась наша украинская делегация, мы до вечера рассказывали нашим товарищам о своих впечатлениях и о чем нам говорил Николай.

К великому огорчению всех делегатов X съезда ВЛКСМ, подготовленное Николаем Островским выступление на съезде не состоялось из-за обострения болезни. А через 8 месяцев весь Ленинский комсомол, вся наша молодежь с глубокой скорбью прощалась со своим любимым писателем, великим патриотом, другом и товарищем, незабываемым Николаем Островским, чей образ навсегда сохранился в наших сердцах.

...А сейчас, в дни осени, когда в нашем подмосковном саду расцвели выращенные нами астры, мы вместе с женой в день семидесятилетия Николая поехали на Новодевичьи кладбище и в дань глубокого уважения и любви к Николаю возложили эти цветы на его могилу.

И это была моя четвертая встреча с Николаем Островским.

И. ПЕТЕРЗЕЛ

В гостях у «Юности»



Журналисты «Юности» часто бывают в Тюменской области у своих подписных — строителей железной дороги Тюмень — Нижневартовск. Мы стараемся писать о том новом, что происходит на ударной комсомольско-молодежной. Однако масштабами одной этой стройки не ограничиваются связи журнала с комсомольцами области. И первые, кто помогает нам в «расширении кругозора» журнала, — наши тюменские коллеги из местной молодежной газеты. Областная «молодежка» — давний друг «Юности», добрый помощник и советчик.

Сегодня мы публикуем несколько материалов из «Тюменского комсомольца». Они познакомят с непростой, трудной, но яркой и богатой поисками и свершениями жизнью молодежи края.

Рисунки
Е. ЛЕХТА.

**Владимир
САЛМИН,**

секретарь Нижневартовского
горкома КПСС

ВСТРЕТИМСЯ НА САМОТЛОРЕ

Э то было лет пятнадцать назад. Я тогда работал секретарем Сургутского райкома комсомола. Отправился проводить отчетно-выборное собрание в местечко Тром-Аган. Разумеется, поехали на оленях — другого транспорта тогда не было.

«Расписание» было знакомо: с утра надо выехать из Сургута, ночевать на Почекуйке, в пустующей избушке оленеводов, а на другой день, к закату, можно добраться до Тром-Агана.

Стоял сильный мороз. По сторонам высились окоченевшие островерхние ели. Поднялась луна, осветила лес, дорогу и обе оленьи упряжки холодным, нежным светом. Звенящую тишину нарушал только скрип полозьев да редкие выкрики нашего проводника Романа Тэвлина... Скоро показалась избушка, Роман распряг оленей, мы поставили на огонь котелок со снегом — и вот здесь, в задымленной избушке, морозной ночью, у крохотной таежной речки Почекуйки, состоялся разговор, врезавшийся в память.

Нас было четверо: Роман, девушка — инспектор районо, царень — корреспондент газеты, и я. Когда

каждый выпил необходимую при таком морозе порцию спирта, когда было опорожнено по несколько кружек крепчайшего чая и Роман закурил свою трубку, девушка сказала:

— Вот сейчас все геологов поминуют: мол, ходят там, где не ступала нога человека. А я как представлю размеры нашего района, мне так и кажется, что еще сто лет будет он заповедным, недоступным местом.

— Ну, это уж чересчур! — не согласился корреспондент. — В Березове газ нашли, теперь повсюду нефть ищут. И найдут! А тогда и места оживут: дороги везде проложат, строительство начнется...

— Дорог не будет, однако, — невозмутимо попылавая трубкой, вступил в беседу Роман Тэвлин. — Бола-та шибко большие. Олешки идут, вертолет летит. Дорог, однако, не будет.

Я знал о размахе разведочных работ, которые велись и на Конде и в Прибые. Но тогда, на пороге открытия Шанмского нефтяного месторождения, трудно было представить сколько-нибудь серьезное строительство в Сургутском районе.



— А было бы здорово! — загорелась вдруг девушка. — Сажусь в Тюмень на поезд и приезжаю в Сургут!..

Поскольку фантазия у всех дальше шоссе не простиралась, эти ее слова вызвали дружный смех. Даже корреспондент посчитал, что товарищ инспектор несколько перехватила. А Роман, вообще не любивший бесполезное времяпрепровождения, выбил свою трубку и пошел проверить оленей.

...Были потом нефтяные фонтаны в Шаиме, Сургуте, Усть-Балыке. Были железные дороги Ивдель — Обь и Тагда — Сотник. Пришло время Самотлора и трассы Тюмень — Сургут — Нижневартовск. Много воды утекло, а как свеж в памяти тот давний разговор!

Писатель-публицист из Германской Демократической Республики Эгон Рихтер совершенно случайно встретил на Самотлоре своего соотечественника-одноклассника. Вместе с украинскими друзьями из строительного отряда немецкий студент прокладывал дорогу на нефтяной промысел. Что привело на Самотлор обоих Рихтеров?

В своих заметках Эгон Рихтер делится впечатлениями: «Я осознал, что неприступное сердце озера с его нефтяными артериями бьется и ради моей страны и ради будущего всей Европы».

Корреспонденция Рихтера появилась в местной газете после первого посещения писателем Тюменской области в составе большой делегации деятелей литературы и искусства. Тогда он приехал в Нижневартовск на борту теплохода «Родина».

И вот мы снова встретили Эгона Рихтера. На этот раз он, воспользовавшись советом из популярной у нас песни «Прилетай на Самотлор», взял билет в Аэрофлоте.

Рассказывая о цели своей второй самотлорской командировки, Эгон заметил, что его, как и многих коллег из социалистических стран, тянет к истокам нефтепровода «Дружба», по которому советская нефть устремилась в их страны. Истоки эти здесь, на Самотлоре.

Сейчас уже кажутся далеким прошлым споры о том, как правильно именовать трассу трубопровода, связавшую промыслы Западной Сибири с системой «Дружба». Первоначально предполагалось точкой отсчета взять Усть-Балык, как и в прошлой пятилетке, когда прокладывался транссибирский нефтепровод Усть-Балык — Омск. Но потом проектировщики вовремя спохватились: без Самотлора пульс нефтяного потока не имел бы такого хорошего наполнения.

Трассу стали называть Самотлор — Тюмень — Альметьевск, а пулевой отметкой на всех схемах избран был Самотлор.

Похожая история произошла и с другой комсомольской ударной. «Тюмень — Сургут» — так именовалась строящаяся железная дорога в то время, когда редакция журнала «Юность» и комсомольский штаб стройки подписали известный договор о нефтестве журнала над трассой. Но вот прошло немного времени, и во все официальные документы пропихают новое название: «Тюмень — Нижневартовск»... И снова «виноват» Самотлор.

Расставаясь с нашим немецким другом Эгоном Рихтером, мы вновь пригласили его к нам. Он ответил, что самой завидной для любого публициста возможностью было бы приехать в столицу Самотлора по железной дороге. И не потому, что поезд — единственный вид транспорта, которым он здесь еще не пользовался. Просто он понимает, что значит дорога для экономики крупнейшего нефтяного района СССР, а значит, и для экономики всех стран — потребителей советской нефти.

Экономическая обоснованность нового этапа стального пути Сургут — Нижневартовск ни у кого не вызывает сомнения. Она видна невооруженным глазом.

Вот несколько цифр. У Самотлора есть свой летописец, геолог нефтегазодобывающего управления имени В. И. Ленина, делегат XV съезда ВАКСМ Николай Медведев. Он фиксирует все абсолютные рекорды, установленные уникальным месторождением. Весной 1973 года Николай внес в свою записную книжку круглую цифру: 100 000. Сто тысяч тонн нефти впервые перекачали за сутки вахты самотлорских операторов. Огненные дольки крупнейшего промысла страны измеряется шестизначной цифрой.

Все знают, каким напряжением волн сотен строителей, нефтяников и, конечно, транспортников досталась эта круглая цифра. Все материалы и оборудование пылило по воде, перебрасывалось по воздуху. После ряда перевозок стоимость каждой тонны цемента, каждой бетонной плиты и буровой станка возрастала в несколько раз. За короткую северную навигацию надо было успеть доставить в Нижневартовск тысячи тонн самых разных грузов.

Ученые с максимальной точностью выяснили место Самотлора в рабочем строю. По их подсчетам, гигант может выполнять работу втрое большую, чем сейчас. Ежедневно на месторождении может добываться до 300 тысяч тонн нефти, а за год на перерабатывающие предприятия поступит около 100 миллионов тонн самотлорской нефти.

Наступает такой этап в освоении месторождения, когда рост темпов добычи возможен только при на-



личия устойчивой (круглогодовой!) транспортной связи с Большой землей.

Мне вспоминаются слова первого секретаря Ханты-Мансийского окружного комитета партии, Героя Социалистического Труда В. В. Бахилова: «Приход первого тепловоза в Нижневартовск станет одним из центральных событий в хронике нынешнего десятилетия».

Трасса Тюмень — Нижневартовск для молодежи семидесятых годов — такой же испытательный полигон, как для комсомольцев шестидесятых — железная дорога Абакан — Тайшет.

Интересная подробность. Тюменский композитор М. Бирман написал музыку на слова стихотворения «Комсомольская магистраль», очень популярного на трассе строящейся железной дороги. Композитор, конечно, не подозревал, что эти стихи родились еще в Саянах и почти без изменения вошли в жизнь новой магистральной. Заменены только географические названия. Вместо «Абакан встречал непогодою» поется сейчас «Сургут».

Не так давно, находясь в гостях у строителей нашего участка трассы, первый десант которых высадился возле будущей станции Мегион, я услышал, как в хорошо известный мне текст песни удачно легло в размер новое слово. «Самотлор встречал непогодою...» — пели ребята, и, глядя на их разномысленные ковбойки, на живописные бороды и обязательную гитару, я вдруг особо остро ощутил, что скрывается за привычным для нас понятием «преемственность поколений».

В последнее время от комсомольских работников мне иногда приходится слышать довольно категоричные суждения, что с нынешней молодежью гораздо труднее. Секретарь одной из крупных комсомольских организаций Нижневартовска, когда я урекнул его первичную в пассивности, сокрушенно вздохнул: «Мои ребята слишком регионалисты. Это не синеблузная комса, готовая к любым жертвам».

Понимая полемический переклест суждений этого комсорга, позволю себе возразить ему. Вспомню своих знакомых, тех, кто еще за год до появления первой на тюменской земле ударной стройки собрался в Ханты-Мансийск на слет молодых разведчиков недр. Первые молодежные коллективы...



Их руководители: сейсмик Юрий Ознобихин, вышко-монтажник Александр Кузяков, геолог Николай Мед-лик-Карамов.

Николай — сейчас Герой Социалистического Труда. Иногда встречаю его на совещаниях, пленумах. Пристально всматриваемся друг в друга. Придиричиво отмечаем все: седину, безжалостные морщины. Новые заботы, новые дела. Но ни разу прославленный мастер не пожаловался на сегодняшних комсомольцев.

Может быть, он одинок? Воисте нет. Главный строитель города на Оби, начальник треста «Нижневартовскжестрой» Ян Малинский. Уж он-то имеет возможность сравнивать! Малинский работал на нескольких ударных стройках — пятидесятых, шестидесятых годов. Вот его особое мнение:

— Мне посчастливилось командовать молодежным подразделением ударной стройки, поближе узнать нынешних комсомольцев в деле. То, что они делают сейчас, не уступает по значению Братской ГЭС, Абакан — Тайшету и, пожалуй, превосходит их.

Конечно, спектр характера сегодняшнего комсомола иной, чем у его предшественников, хотя бы и таких легендарных, как Павка Корчагин. Ведь и задачи перед ним другие, более масштабные. Корчагин строил узкоколейку с помощью кирки и лома. Паруни семидесятых прокладывают тысячеверстную

ЛЕТОПИСЬ СТРОЙКИ

1965 ГОД. Октябрь. В Тюмень с Абакан — Тайшета прибыла первая бригада путейцев-строителей. Будущая дорога Тюмень — Сургут протяженностью в семьсот километров свяжет нефтяное Приобье с трансибирской стальной магистралью. Большая часть ее пройдет по необжитым районам, тайге и болотам.

1966 ГОД. Май. На стройке начала работать полуавтоматическая станция. Она выдала первые звенья железнодорожного пути.

1967 ГОД. В Тобольске состоялся первый слет молодых строителей трассы. С тех пор стало традицией проводить подобные слеты, на которых подводятся итоги соревнования и награждаются победители.

1967 ГОД. 25 октября. Первый поезд пришел из Тюмени к берегу Иртыша у Тобольска. За успехи в социалистическом соревновании в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции управление «Тюменстройпуть» было награждено Памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС.

1967 ГОД. Декабрь. Над Иртышом началась укладка первых пролетов будущего моста. Работы выполняет бригада слесарей-монтажников А. Г. Лавриненко.

стальную магистраль, управляя мощнейшей техникой, решая сложнейшие инженерные задачи.

По подсчетам работников института «Сибгипротранс», для строительства конечного этапа стального пути надо уложить в тело насыпи 15 миллионов кубометров земли. Если учесть, что почти весь участок Сургут — Нижневартовск протяженностью более 200 километров — это болота и озера, станет ясно, как непросто отсыпать полотно дороги. Впрочем, почему именно отсыпать? Сейчас на трассе более популярен другой термин: намыты. Гидронамыв полотна — сложная инженерная проблема. Но только ли инженерная? Разве не является успешное внедрение этого необычного в практике строительства железных дорог способа испытанием моральных качеств молодых трассовиков?

И если комсомольцы-гидромеханизаторы, такие, как А. Болобонов, В. Козырев, А. Расторгуев, «ворочают» миллионами кубометров, блестяще опровергая все доводы скептиков о неэффективности намыва в северных условиях, то, значит, не утасла в них та главная черточка Павки — смелая уверенность в своих силах.

Да, инженерная проблема часто оборачивается нравственной. Строительство железнодорожного пути от одной из станций до речного порта проектировщики предложили вести с помощью обычных методов. При этом обречались на вырубку красивейшего леса в зоне отдыха нефтяников. Гидромеханизаторы решили изменить проект — не пользоваться песчаными карьерами правобережья речки Черной, а взять песок со дна этой реки. Кстати, Черной такое вмешательство пойдет только на пользу — русло ее очистится, меньше ила будет выноситься в акваторию порта. А красивейший бор останется нетронутым.

Вспоминая об этом отступлении от проекта, я каждый раз думаю: а у тех, первых, было время, чтобы подумать о сосняке или судьбе речушки? Неужели, строя свои «города на заре», они всегда подчинялись только логике целесообразности? Не верю этому.

Просто в те неснытые времена железная экономия часто не давала проявиться лучшему качеству молодости — стремлению к красоте. Строители тех лет вынуждены были бороться не с «архитектурными излияниями», а с настоящими лишениями. Жилищный вопрос трассовика релался просто: палатка-временник, комната в общежитии. И если он строил каменные дома и дворцы, то они предназначались для других. Сейчас же, как замечая, происходит интересный процесс: размах стройки растет, а само понятие «трасса»... сужается. Постепенно оно перестает обозначать те трудности, нагромождение которых часто отпугивает обладателей комсомольских путевок. Трассовики теперь не хотят довольствоваться черновиками своих городов.

Эта примета времени — примета нашего участка трассы Тюмень — Нижневартовск. Финишный участок значительно сложнее предыдущих. Несмотря на это, количество временных поселков вдоль трассы здесь сведено к минимуму. Большая часть строителей будет жить в Сургуте и Нижневартовске в современных крупнопанельных домах. Потом в них посялется эксплуатационники. Смета предусматривала расходы на детские сады, ясли, школы, дома культуры для трассовиков — все в капитальном исполнении. Микрорайон строителей железной дороги вписан в архитектурный ансамбль Нижневартовска как один из самых современных и благоустроенных.

Вокзал столицы Самоглора будет интереснейшим архитектурным сооружением Среднего Приобья.

Итак, «Даешь Нижневартовск!» — этот лозунг не в силах будут стереть с путеукладчиков самолотские метели. Но привычное «Даешь!» вместило в себя и совершенно новый, присущий нашим дням смысловой оттенок. «Даешь!» для трассовика теперь означает строить не только быстро, но и очень качественно, без скидок на северные условия.

«Удовлетворительно — значит плохо!» — этот лозунг родился у нас на Самолоте, в молодежной бригаде отделочников. Я думаю, что его возьмут на вооружение и строители дороги на Самолот.

ЛЕТОПИСЬ СТРОЙКИ

1969 ГОД. 29 марта жители Тобольска впервые услышали гудок тепловоза. Из Тюмени по новой железнодорожной магистрали сюда прибыл пассажирский поезд. Первыми пассажирами стали строители трассы.

1970 ГОД. Декабрь. В канун Нового года государственная комиссия приняла 18 объектов Сургутского речного порта. Самый крупный на Средней Оби порт в строю. Строители вручили речникам символический ключ от «голубых ворот» Севера.

1971 ГОД. Март. У сибирского села Демьянское прозвучал гудок тепловоза. Дорога Тюмень — Тобольск — Сургут подошла к четырехсотому километру. Впереди у строителей еще триста суровых километров трассы по тайге и болотам.

1971 ГОД. Май. Тобольяки горячо поздравили бригадира комсомольско-молодежной бригады коммунистического труда восстановительного поезда № 38 Ивана Семеновича Мариненкова с тремя праздниками сразу: 10 мая (в день рождения бригадира) опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему высокого звания Героя Социалистического Труда. В этот же день коллекция головоного ремонтно-восстановительного поезда № 38 выдвинул И. С. Мариненкова кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.

1971 ГОД. Декабрь. Коллектив комсомольско-молодежного поезда № 522 обратился с призывом ко всем комсомольским организациям Всесибиря поддержать почин московских и ленинградских рабочих — завершить задание пятилетки в четыре года.

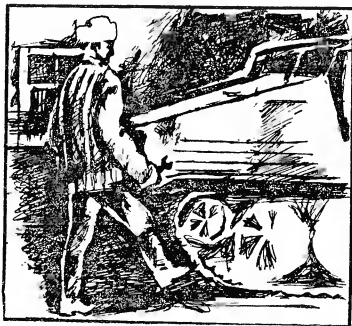
1972 ГОД. 11 апреля подписан договор о шефстве журнала «Юность» над Всесоюзной ударной комсомольской стройкой железнодорожной линии Тюмень — Сургут — Нижневартовск.



Александр
ШВЕРКАС

СЛЕД В СЛЕД

Рисунки Н. СУСЛОВА



— Я вам не Наполеон! — недовольно буркнул Жамиль. — Это он по четыре часа в день спал и хоть бы хны.

Жамиль — все его называли Женькой — медлителен, неразговорчив, как и всякий плохо отдохнувший человек. Сбор объявили на пять утра, в субботу, когда нормальные люди, измотанные морозной рабочей неделей, нежатся в постели, начисто забыв о будильниках.

Женька молчком подошел к тягачу под номером 406 и, сразу забыв обо всем, с головой ушел в свое занятие — осмотр машины перед дальним и не очень приятным рейсом. Возлился он долго. После чего удовлетворенно отер руки ветошью: «Порядок в танковых войсках!»

Второй водитель, Слава Грисюк, уже давно томившийся от безделья, весело подмигнул:

— Не доверяешь ты ей, что ли?

— Меня в армии лейтенант выучил: на машину надейся, а сам не ленись.

Он посмотрел на Славкин тягач номер 407, стоявший рядом. Правой фары у вездехода не было. Слава перехватил его взгляда:

— Ерунда! К тому же новую фару днем с огнем не сыщешь!

— Искал — нашел бы! — отозвался Жамиль и, заканчивая спор, бросил коротко: — По машинам!

Славка хотел было спросить, по какому праву тот раскомандовался, но вспомнил, что Сергей Пикман, комсорг самотлорского участка нефтепровода, затеявший этот «большой поход», выбрал почему-то головной машиной четыреста шестую.

Вездеход Жамилы Гиндулина завелся, что называется, с полоборота и, аязгаз гусеницами, двинулся, оставляя на вышавшем ночью снегу четкий узор траков. Славка же, прежде чем завести свой, долго орудовал рычагами, так что кожа на ладони покраснела от напряжения. Наконец, сквозь треск переключающихся шестерен прослушался пульс двигателя, и второй тягач пошел по следу, насаивая на узор новые штрихи.

За городом машины сошли с бетонки и, сбросив скорость, двинулись прямо по снежной целине. Обидно прокладывать путь по болоту, когда рядом бетонное покрытие. Но эта параллельная дорога нужна была строителям нефтепровода для громоздкой трассовой техники. Впрочем, просека шла только до Мегиона, а дальше лежала нетореная снежная целина, преодолеть которую пытался только один тяжелый тягач, застрявший где-то в урьевской тайге.

Об этом утонувшем вездеходе знали все в нижневартовской тракторной конторе. И все же, когда комитет ВАКСМ решал, чьи машины послать для прокладки зимника, конкурс вышел немалый: у комсорга Валентина Тарана записались на всякий случай даже водители легких вездеходов, хотя было ясно, что их помощь вряд ли понадобится. Комитет выбрал Грисюка и Гиндулина как бывших танкистов, выполняющих норму на 180 и больше процентов.

Пикман покосился на Жамилю. Тот сидел за рычагами, чуть подавшись вперед, прищурив темные глаза. Грохот двигателя, аязг гусениц, дребезжание корпуса раздражали водителя, и он опустил наушники заячьей шапки. Больше всего жалел Женька, что променял на гражданский трех свой танкистский шлем — как бы пригодился в грохочущем вездеходе.

Машины шли медленно, всей своей тяжестью

ТЮМЕНСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ

обрушившаяся на толщу сугробов, которые в матовом свете фар казались серыми, словно были из грязноватого, слежавшегося пелената. Второй тягач попадал в след первому, и в колее выдвинулась пятачок мха, веточки елочек, а кое-где, в особенно низких местах, выступала вода, довольно неожиданная в зимний день на второй неделе морозов.

В этом был расчет строителей: смять, скрыть пуховую перину раннего снега, проморозить как следует трассу будущего зимника, навести ледовую дорогу до Урьевска, чтоб установить регулярное сообщение с этим трассовым поселком.

Им повезло. До того, как начало светать, они добрались до вагон-городка изолировщиков возле Мегиона. Миновали и его. Дети занимались неяркий, серый, сырой. Гирьки кедрача, аккуратные, словно свежие стожки сена, были разбросаны по унылой плоскости снегов. Через полтора часа вышли к берегу протоки.

Главный тягач остановился. Женька, высунувшись по пояс, осмотрел местность. Лед на протоке прозрачен, хотя довольно толст, ближний берег невысок, а вот второй — лесистый, крутой, лишь метрах в пятидесяти справа положе.

Гиндулин решительно махнул рукой вправо: идем там. Славка сделала протестующий жест и указал прямо перед собой. Женька снова, теперь уже более энергично, показал: вправо берись!

Тягач повернули направо. Рукав Гиндулин проскокля уверено и, набрав скорость, вышел на штурм берегового откоса. Даже здесь угол наклона был велик, и Сергей Пикман чуть поблелел, когда тягач начал яростно царапать гусеницами мерзлую землю...

Медленно, слишком медленно четвереста шестой выбрался на берег и, пройдя всего несколько метров, вдруг остановился: левая гусеница соскочила со звездочки. Вторая машина выкатилась следом. Славка картинно тормознул, довольный: дорога показала, кто из них прав.

Одному водителю при такой неполадке пришлось бы долго возиться, но у них было три пары рук и второй тягач, который используется как подъемник. На время Грисюк и Жамиль перестали быть соперниками, но лишь только гусеницу водворили на место, Славка, утирая руки снегом, не преминул встать шпильку:

— Я бы прямиком прошел спокойно. На спор!

Дальнейший путь до Урьевска прошел без осложнений. И вот показался вагон-городок изолировщиков. Ребята, продоргошие, голодные, сразу побежали в столовую.

— Домой без приключений надо добраться! — сказал Жамиль, взяв горячую миску онемевшими пальцами.

— Что вы, ребята, уже домой навестились? — спросил начальник участка, встречавший гостей.

— Пора возвращаться! Машины только до понедельника дали, под мою личную ответственность, — объявила Пикман.

— Так то ж до понедельника! А сегодня только суббота, — затаронился начальник. — Дорогу на то двадцать первый надо пробить. Там колонна без харчей мается...

— А со стороны Сургута разве нет зимника? — спросил Гиндулин.

— Какое там! — вздохнул тот. — Пробовали проложить, да болотина мешает.

— Эх, была не была! — весело произнес Славка. — Болот бояться — в лес не ходить.

— А ты не хорохорься! — неожиданно резко оборвал его Жамиль. — Им дорога нужна, а не благородные порывы. Без проводника идти нельзя.

— Да разве за проводником дело станет? — повеселев начальник. — Берите все Елисеева. Он земную тайгу лучше ханты знает. Через это самое болото он как раз за дичью ходит. Мы с ним, как буржун, живем: каждый день рябчики.

— Ну, ладно! — сказал Пикман.

Снова раздалась команда: «По машине!» И как-то само собой получилось, что проводник сел в четырехеста шестой, к Женьке. Вездеходы тронулись, и вскоре вагон-городок скрылся из виду.

Прояснилось. Длинные синие тени лежали на снегу. Тайга, обступившая просеку, была здесь совсем иной. Стояли гранадерского роста ели с громадскими, словно лосиные рога, лапами, прогибающимися от тяжелого снега. С обеих сторон от вездеходов виднелись следы: то, словно на машине строченные, стежки рябчиков, то путанные, заячьи.

Проводник, казалось, вовсе не наблюдал за дорогой. Надвигав в боковом окошечке лужку, он, не отрываясь, глядел на обочину.

Неожиданно он дал знак остановиться. Жамиль послушно затормозил машину.

— До моего знака стоять на месте!

Он побрел по целине, неловко выбирая ноги из снега.

— Чудит проводничок! — заметил Грисюк, когда вылезли из кабины на этот неожиданный перекур.

Женька не поддержал его, может, из-за всегдашнего несогласия с острым на язык соперником, а может, по какой другой причине. Он оглядел плоскую равнину, где и вглядываясь не за что было уцепиться, кроме фигуры проводника да небольшого свежего бугорка метрах в трехстах от него. Что-то очень не понравилось ему в этом унылом пейзаже. Перед тем как заскочить в кабину, он подозревал к себе Сергея Пикмана.

— Идите за мной, комсорг, гусеница в гусеницу. Без самостоятельности. А пещку отключите на время. Надо закопачить все щели.

Жамиль тоже отключил обогрев, загерметизировав тем самым свой вездеход. Тягач зарывался посом в глубокий снег, подминал его корпусом, разжевывал траками. К звукам работающего мотора, выхлопом и скрежету железа присоединился еще один — неприятный, булькающий звук невест откуда появившейся воды.

Впрочем, Славка, шедший сзади, даже не обратил на это внимания — мало ли сырых участков попадалось им на пути! Он с удовольствием рванул бы и побыстрее, но впереди маячил, не пуская, ведущий тягач.

Так, черепашьим шагом, преодолели они все триста метров до наблюдавшего за ними проводника.

— Вон, — кивнул он на снежный холмик. — Это затонувший вездеход. Я его еще на прошлой неделе приметил.

— Что же ты нам ничего не сказал?

— А зачем? Когда не знаешь, чего бояться, не боишься. Психология.

А Славка не слышал этого разговора. А было рад, что наконец пошел веселее, с каждым метром приближаясь к заветному сто двадцать второму километру. Зимнее солнце, подоло повисев над кромкой леса, исчезло. Загустевали сумерки, вот-вот на небо должны были выскочить звезды.

Водители включили фары, и свет от заднего вездехода прихватил в головную машину, мерцал на приборах. Они уже подъезжали к поселку, когда Жамиль обнаружил, что и эта скудная подсветка исчезла. Приоткрыл дверцу, он высунулся из кабины.

Четыреста седьмой стоял, зарывшись тупым носом в снег.

— Чего стаа? — крикнул Гиндулин, подъехав вплотную к стоящему безделуху.

Славка, не отвечая, хлорокродно ворочал рычагами. Из чрева двигателя доносился угрожающий скрежет, но тягач и не думал трогаться с места. Прислушавшись к этим звукам, Женька сразу все понял.

— Да погоди ты! — остановил он Славку. — Муфта полетела. Доставай-ка лучше трос.

Тот сообразил, что иного выхода нет, и полез за тросом, недовольно ворча:

— Надо же, в двух шагах от цели!

— Скажи спасибо, что не на болоте. А то пришлось бы зимовать...

Славке на это нечего было возразить. Цепляя петлю на крюк, он думал о том, как стыдно будет въезжать в вагон-городок на буксире.

Когда Сергей уяснил ситуацию, он сразу помрачнел. Вряд ли муфту найдешь в городке. Придется, если у них тут есть рация, заказывать в Сургуте. Потом надо ждать вертолет. Придет как минимум два дня. Значит, они не вернутся к сроку, нарушат слово...

Четыреста шестой отбуксировал Славкин тягач к площадке, где стояли машины трассовиков. Ребят встретили радостно. Как-никак, это были первые водители, сумевшие пробиться на сто двадцать второй километр, по их следам могут проскочить и другие машины. А за ночь мороз сделает свое дело и быстро «забетонирует» зимник.

Поломка рушила все планы. Но делать было нечего. Придя в вагончик, ребята долго ворочались в спальных мешках. Несмотря на усталость, никто не мог уснуть.

— Ты когда в последний раз коробку смотрел?

— А что глядеть? Интересного там мало. Железки да масло, — не сразу подал голос Грисюк.

— Вот-вот, железки! Торчи теперь здесь из-за своих железок...

— А ты можешь ехать, я тебя не держу! — Обида звенела в Славкином голосе.

— Ладно, ребята, не время для профсоюзных собраний, — оборвал их проводник. — Я вот кое-что вспомнил. На Усть-Балыке ребята эту муфту наугад заварили и так добирались до места.

— Точно! — обрадовался Грисюк неожиданной поддержке. — Я тоже слышал.

Утром они все вместе быстро-быстро разобрали двигатель. Работать пришлось в позах не особо удобных, перегнувшись вниз головой через носовую отсек. Вместо теплового бокса — костер на снегу, над огнем грели онемевшие пальцы.

Муфту заваривали так, чтобы не было ни маленького треска, иначе она бы лопнула через несколько минут. Больше трех часов возились с двигателем.

Времени оставалось в обрез — так, чтобы к вечеру малым ходом добраться до Нижнеянгартовска.

Выехали. Славка от радости подал длинный сигнал и стал терпеливо ждать, пока Жамиль обгонит его: понимал, что самому нельзя идти в голову. Но вот четыреста шестой поравнялся с его машиной и стал бок о бок.

— Славка! — позвал Грисюка Гиндулин. — Давай махнемся? Садись на мой тягач.

Такое предложение было для Славки неожиданным и лестным. Он войдет в город первым, на полном газу!..

Но тут же понял хитрый маневр своего друга. Он просто не доверяет ему, боится, что Славка слыхачит, сломает несчастную муфту, потому и предлагает ему свою машину.

— Не-е-ет! — решительно покачал головой Славка и быстро захлопнул дверцу, чтобы не передумать.

ЛЕТОПИСЬ СТРОЙКИ

1972 ГОД. Май. Первым секретарь Тюменского обкома КПСС Б. Е. Щербина вручил начальнику управления «Тюменстройпуть» Д. И. Коротаеву переходящее Красное знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС за первый квартал юбилейного года. Это знамя за Туртае, Салым, Усть-Юган, Тобольский и Сургутский речпорты, за рабочий подвиг строителей Севсиба.

В летнем сезоне 1972 юбилейного года экипаж земснаряда Александра Ищука намыл миллион четыреста тысяч кубов грунта. Для условий сибирского Севера это рекорд.

1972 ГОД. Июль. Первыми обладателями вымпелов шефов стройки — журнала «Юность» — стали бригада отделочников из СМП-237 В. Милеевой, монтеры пути СМП-522 В. Молозина и комплексная бригада И. Смирнова из СМП-241.

1973 ГОД. 3 декабря. На 575-м километре трассы забит традиционный «серебряный» костыль. Открыто сквозное рабочее движение поездов от Тюмени до берега Юганской Оби. За 5 месяцев на север перевезены тысячи тонн строительных грузов для газозавиков, мостостроителей, нефтяников, геологов.

Подборку подготовил Г. ЕВСЕЕВ.

ПЛОТНОСТЬ ИДЕЙ

Найти, разведать, добыть нефть — половина дела. Доставить ее из таежной глухомани на Большую землю — труднейшая задача. Тянутся нитки трубопроводов через леса, болота, разливы рек. И вдоль каждой нити аккуратные здания насосных станций, станций перекачки.

До недавнего времени эти станции строили дедовским способом. С Большой земли в таежное безлюдье тащили технику, строительные материалы. И здесь на месте по кирпичику поднимали «от ноля» станцию. Выходило дорого и хлопотно.

Комсомольцы разработали принципиально новый метод блочного строительства насосных станций. О том, как внедрялся этот метод, о его перспективах беседует с корреспондентом «Тюменского комсомольца» Рафаэлем Гольдбергом Игорь Шаповалов, управляющий трестом «Тюменгазмонтаж».

Мы предложили простую вещь, — сказал в начале разговора И. А. Шаповалов, — делать на материке блоки и забрасывать их воздухом в нужный район. Во сто крат это дешевле и быстрее. Понимаете, насколько проще сложить насосную станцию из двух блоков, нежели из десяти, скажем, тысяч кирпичей и сотен балок? Конечно, судьба наша нелегкая, зато работалось интересно...

— Теперь вы можете оглянуться на пройденный путь — от крохотного СУ-19 с полукустарным заводиком до сегодняшних масштабов. Но ведь для первого шага и всех последующих потребовались люди. Энтузиасты, которые поверили вам. Какие отдали идее свой мозг и свои руки.

— Такие люди нашлись. Инженеры. У них был энтузиазм и образование. Специальности? Самые разные. Строители, как говорится, оторвались от пролабских сапог и стали конструкторами. Они стали думать, как не допустить на стройку мелочность, тебучку, которая держала их за горло. Пришли люди из машиностроения высокого уровня — самолето- и судостроители. В наших КБ они стали инженерами новой специальности — конструкторами-блочниками. Они искали новые способы компоновки объектов. Они боролись против объема и веса с жаром толстостенок, которые во что бы то ни стало решили поху-деть. Они строили будущие станции на бумаге, а потом в тайге, опрокидывая сроки. Вчетверо быстрее, чем в прежнем исполнении!

— Судьба ваша была бы более спокойной, если бы, доведя «до ума» первые варианты блоков, вы перешли к стабильной работе. Но этого не случилось...

— Все получилось наоборот. Если завтра мы узнаем, что можно улучшить сегодняшние конструкции, мы тотчас за это возьмемся. Так уж вышло: у нас есть эта возможность — мы до сих пор экспериментальные, со всеми отсюда вытекающими плюсами и минусами.

— Эксперимент и нормы — очень интересная тема. Но прежде расскажите, как развивалась сама идея.

— Я уже говорил, что нас беспокоили объем и вес. И манят объем и вес. Объем тroma самолета АН-12 и его взлетный вес. Кажется, удается закрепиться в этих рамках. А еще любопытно, как идея блочности повлияла на размеры наших станций — кустовых и дожимных насосных. «Библия» всякого строителя — строительные нормы и правила. Они требуют размещать станцию в машинном зале определенной высоты. Чтобы в нем осмотр механизмов провести, сборку-разборку, ремонт... Но это противоречит самой нашей идее — в случае необходимости быстро перемещать станцию. Так, одна из наших котельных, честно отработав несколько лет в Сургуте, теперь трудится в Нижневартовске. Думаю, этот факт помогает понять, что эта «временность» объектов на самом деле означает постоянство их функционирования независимо от перемещений в пространстве.

— То есть стены и крышу ваших станций побок?

— Она ни к чему. Уже сегодня мы довольно плотно начинаем блок механизмами. Но это не пик рациональности. Думаю, достаточно одевать насосы, двигатели прочной термобурашкой.

— А есть ли уже опыты «бездомных» установок?

— Насосная станция АНС-2 на Самотлоре работает открытой. Осмотр? Все доступно. Ремонт? Край снимаем станцию с места и увозит в дех. Еще вариант — откидывающиеся капоты... Да, а заказчики все еще требуют здание. Которое нужно для того, чтобы было где гулять одному лесару.

— Инерцию заказчика победить нелегко. А Гострой? Каким вы выглядите в его глазах?

— Никаким. С точки зрения Гостроя нас не существует. С точки зрения строительных норм и правил — тоже. Иная субстанция...

— Надо бы остановиться, зафиксировать то, что достигнуто. А вы все улучшаете. Где же утаться за вами строительным законам?

**ТЮМЕНСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ**

— Мы им уже помогаем. Первый шаг сделан. Создано содружество — мы и СибНИИПИГазстрой, куда перешли наши конструкторы.

— Игорь Александрович, сколько воды утекло. Хватает ли пороку, замыслов, свежих идей тем, кто начинал?

— Выясняете точку зрения на необходимость притока «свежей крови»? Да, уже замечаем, случаются пропуски. Нужны свежие кадры, которые свободны от наших «мозолей». «Мозоли» — это почетно, но летать мешают...

— Расскажите о тех людях, которые поверили в вашу крылатую идею и вынесли все на своих плечах. Они оставляли семьи в Тюмени, а сами по полгода работали в тайге. О рабочих треста. Чем вы обязаны им?

— Всем. В тресте каждый обязан товарищам всем, что имеет. Вы обратили внимание, что премия Ленинского комсомола у нас коллективная на весь трест. Она сделала невозможными споры об отдельных заслугах. Но кому мы особо обязаны — нашим бригадирам. Своих конструкторов трест передал институту. Но бригадиров — никогда и никому. Ведь если, скажем, не окажется сегодня среди нас Кильдюшова и Буянова, Шевкопляса и Попова, Прудского, Суфьярова и других, — трест просто перестанет существовать. И это не преувеличение. Трест создан их руками, как и все эти блочные станции на залитых водой и засыпанных снегом тюменских параллелях. Поэтому еще надо выяснять, чем трест должен гордиться больше: двумя сотнями блочных установок или рабочей когортой, которая воспитана в его подразделениях. Без них там, на точках, лето было все, что так прекрасно рисовалось на ватмане. Они шли на риск вместе с нами. И качество работы (а ведь первая наша насосная станция до сих пор трудится на Усть-Байке, и «Куманская» почти пять лет в строю) зависит от бригадиров.

— А как выглядят на ваших чертежах будущее? Какими станут блоки?

— Торопим пуск завода. Это — четырехкратное увеличение выпуска продукции. О блоках. Они становятся все более унифицированными — максимум общий для всех них деталей. Ведь первые наши станции — это не заводская была работа, а скорее штучная продукция. Будем шире использовать эффективные материалы. Например, алюминий не только в ограждающих, но и в несущих конструкциях...

— Это все инженерная идея. Здесь за вами институт, опытные инженеры. А кто вам подскажет, как должна развиваться идея комсомольско-молодежного коллектива такого уровня?

— Сложный вопрос. От науки ждали помощи. Но экспедиция «Тюмень-2», которую нам обещала Высшая комсомольская школа, пока не предвидится. Да и осязаемых результатов от первой (1971 год) мы тоже не получили. Будем сами искать. Будем пробовать различные формы общественного призыва. Ради этой идеи стоит поработать.



Когда номер уже был подписан к печати, нам сообщили, что на базе треста «Тюменгазмонтаж» создано экспериментальное строительно-производственное объединение «Сибкомплемонтаж». В объединении — три завода и восемь передвижных механизированных монтажных колонн.

Идея блочного строительства получила полное признание.



ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА

Батраз Дзиев в работах, продемонстрированных на стендах «Юности», предстал перед нами цельным художником, со своим мироощущением, с наметившимся национальным своеобразием, что по достоинству было оценено требовательным столичным зрителем.

В «почерке» Дзиева четко прослеживается школа Полиграфического института. Воспитанникам этого вуза, как правило, присуще обостренное чувство композиции, их работы отличаются внутренним динамизмом и декоративностью. И самое ценное, чему учит кафедра, возглавлявшаяся до последнего времени профессором А. Д. Гончаровым, — это образное восприятие мира, его внутренняя, а не иллюзорная суть.

Лиричный и эмоциональный художник, Батраз Дзиев выбрал путь так называемой «интимной» живописи. Он либо молчал, либо говорит шепотом, но не кричит. Это в наше время убеждает едва ли не сильнее...

Хорошее знание материальной и духовной структуры осетинского быта помогает художнику оставаться достоверным в жанровых композициях. Впрочем, иногда он не избегает манерности, которая мешает целостному восприятию вещей.

В горах велико влияние «примитивов» (в чисто художническом смысле слова), ощущаемых всюду: в скалах, в искореженных обвалами тысячелетних деревьев, в гигантских валунах, оставшихся от ледников... Можно быть уверенным, что некоторая пластическая деформация вещей и образов не дань моде, а свойство, органически вытекающее из природы горного Кавказа.

Небольшой по размеру «Портрет на фоне стола» — беспроигрышная удача художника. То же надо сказать о литографии «Дерево», являющейся философским осмыслением темы «Природа и человек».

Дзиев плодотворно работает и в области книжной графики: напомним его серии иллюстраций к произведениям осетинских писателей («Горский всадник» М. Цагараева, «Тепло очага» Г. Бичева).

Я внимательно слежу за ростом моего младшего собрата (он родился в 1942 году) и радуюсь его успеху, равно как успехам всей моей республики, которая в этом году торжественно отпразднует двойной юбилей — 50-летие своей автономии и 200-летие присоединения Северной Осетии к России.

Символично, что первая персональная выставка молодого осетинского художника состоялась в Москве в канун наших национальных торжеств.



СТУДЕНТ СОФИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Документальная повесть

«...Мы все грешим тем, что не оставляем для истории даже переписку между членами партии нашего времени, а она часто даст свежую картину происходящего... Через сто лет это будут читать с увлечением и по-новому и поймут наши трудности и наши победы и достижения.

*Горячий привет Вам, дорогой друг!»
(Из письма Александры Михайловны Коллонтай Семену Максимовичу Мирному, 17 ноября 1950 года).*

Познакомился я с ним до войны, в начале 1940 года. Он пришел в иностранный отдел редакции газеты «Труд» и предложил написать статью об одном известном шведском миллиардере, тесно связанном с гитлеровскими военными концернами. Через несколько дней статья появилась в газете. Отличало статью поразительное знание закулисных интриг магнатов индустрии: разоблачительные факты были сильнее ругательных слов.

Как-то незаметно он стал необходим редакции. В одной из комнат на полках лежала иностранная пресса. Он брал лондонский «Таймс», парижский «Тан», немецкую «Франкфуртер цайтунг», находил самые важные факты, делал выписки. Однажды я обратил внимание на то, что он читает венгерскую газету. «Вы знаете венгерский язык?» — спросил я. Он застенчиво улыбнулся и ответил утвердительно. «А еще какие?» Пробормотав что-то невразумительное, он перевел разговор на другую тему. Тогда мы попытались выяснить, какие европейские языки он

не знает. В римской газете появилась статья журналиста Гайды, который в те годы был известен как ружоф фашистского диктатора Муссолини. Среди нас не было сотрудника, знающего итальянский, и мы обратились к нашему новому автору с просьбой порекомендовать переводчика. Он молча взял газету, и через час статья была переведена. Потом он переводил статьи с датского, шведского, норвежского, болгарского, испанского. Закончив работу, говорил: «Вот, готово». После того, как он перевел статью из турецкой газеты, мы его больше о знакомых ему языках не спрашивали.

Война разлучила нас. Я знал, что он ушел на фронт рядовым солдатом, хотя ему было далеко за сорок. Снова мы встретились после войны. Уже был 1956 год. Настроение у него было приподнятое. Он сказал мне:

— Галилей был прав: она вертится, и вертится в правильном направлении.

— Где трудитесь? — спросил я.

— В Ленинской библиотеке, комплектую иностранную литературу.

Однажды я навестил его на Каляевской улице, где он жил долгие годы. Мы говорили о всякой всячине, вспоминали общих друзей и знакомых. Потом эта жена сказала:

— Сеня, может быть, мы все же отметим? Ведь такое в жизни бывает не каждый день.

— А что отмечать будем? — спросил я.

Он улыбнулся:

— Ничего особенного...

Но я видел, что он чем-то очень обрадован.

— Да не слушайте вы его. Он получил высшую награду Болгарии — орден Георгия Димитрова.



Семен Мирный, солдат революции...
Член подпольного обкома партии. 1918 год.

Я не мог тогда объяснить, за что именно он, советский гражданин, получил высшую награду братской страны. Он часто бывал у меня дома, я кое-что знал о его жизни, кое о чем догадывался, но на все мои вопросы он отвечал односложно: ничего особенного, все норма...

Последние годы он боролся с глянским, неизлечимым недугом, но работал до последнего дня...

Хорошили его в холодный зимний день. Позвонили из болгарского посольства, сказали, что из Софии вылетел самолет с друзьями. Они приехали в последний момент, возложили на гроб теплые розы и гвоздики. Выступил представитель посольства, и в тишине прозвучали слова:

— Мне поручено сказать в этот траурный час, что Центральный Комитет Болгарской коммунистической партии, болгарское правительство и болгарский народ выражают глубокую скорбь по случаю кончины нашего незабвенного друга и товарища, нашего брата Семена Максимовича Мирного.

Я знал его много лет. Знал о том, что он был близким другом Александры Михайловны Коллонтай, советником посольств в Швеции, Норвегии, Венгрии, консулом в Турции, но лишь когда его не стало, поняв, что почти ничего о нем не знаю. Я вспомнил слова Расула Гамзатова: «Берегите дру-

зей!» — и мысленно добавил: «И знайте друзей!» Я позвонил в землячество старых большевиков-подпольщиков. Ответ был краток:

— Он мог рассказывать о подвигах друзей, а о себе всегда молчал.

Тогда я обратился к архивным документам, к сохранившимся записям Мирного, написал болгарским друзьям и попросил их помощи. Болгары ответили: «Да будет рассказана правда о нем!»

Повествование о большевик-интернационалисте Семене Мирном начнем с того, что вместе с тобой, дорогой читатель, перенесемся на юг России, в Одессу первых лет революции.



Советский дипломат, Норвегия, 1928 год

НА ДУБКЕ ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ

Революция докатилась до Одессы через несколько недель после Октября — весна шла тогда с севера на юг. В январе 1918 года восставшие рабочие взяли власть в свои руки. Но вскоре Одессу оккупировала армия кайзеровской Германии, а в декабре в город пришли англо-французские интервенты. Одесский областной комитет партии большевиков ушел в подполье.

Секретарем областного комитета была тогда Софья Ивановна Соколовская, известная большевикам под партийной кличкой «Елена» или «Елена Кирилловна».

Родившаяся в Чернигове в дворянской семье, Соколовская в юные годы уехала на Бестужевские курсы в Петербург. Там она вошла в революционный кружок, принимала участие в Октябрьской революции, затем была послана на подпольную работу в Киев, а оттуда в Одессу. Было ей тогда двадцать четыре года.

Эта худенькая, невысокого роста, больная туберкулезом женщина была умна, изящна, прекрасно воспитана, владела несколькими иностранными языками. Необычайно привлекательным было ее лицо, на котором блеснули лукавые и смешливые темные глаза. На ее тонкую миниатюрную фигурку с копной каштановых волос женщины оборачивались, биндюжники с Молдаванки присосанивались, чмокали губами и говорили: «Вот это да!» — щеголи с Дерибасовской закатывали глаза.

О ее смелости и бесстрашии ходили легенды. В дни оккупации за ней охотилась вражеская контрразведка, а она появлялась на улицах Одессы, одетая в гимназическую форму с передником, чуть-чуть изменив свой облик, и никто не мог себе представить, что это и есть один из руководителей подпольного обкома большевистской партии.



После вручения ордена Георгия Димитрова, София, 1968 год.



Елена Соколовская.
20-е годы.

...Москва внимательно следила за борьбой Одессы. Из Центра туда были направлены для работы среди иностранных солдат коммунисты: дочь парижского коммунара Жанна Лябурб, Драган Вальмаж, Стойко Ратков, Живанко Степанович и английский эмигрант под фамилией Кузнецов.

Эта группа коммунистов стала ядром Иностранной коллегии обкома партии. Вместе с ними действовали члены обкома Елин, Деготь, Залик, Штиликер, Дубинский, Васьелик и другие руководящие коммунисты. Елена Соколовская, прибывший из Москвы представитель Коминтерна Жак Садуль и Жанна Лябурб развернули агитационную работу среди французских войск, где было много марокканцев, алжирцев, сенегальцев, вьетнамцев, насильно включенных колонизаторами в свою армию. Иностранная коллегия обкома партии издавала газету на французском языке «Коммунист», которая печаталась вместе с русской газетой «Коммунист» в подпольной типографии.

Во вражеском стане началось брожение. Шестнадцатого апреля революционные французские матросы пытались захватить миноносец «Протей»; уже готовилось восстание на судне «Вальдек-Руссо». Агентом иностранной контрразведки удалось схватить Жанну Лябурб и других членов Иностранной коллегии. Их расстреляли. Елена Соколовская говорила о Жанне Лябурб:

«Таких пламенных, таких чистых энтузиастов... я не встречала. Безусловно хорошая коммунистка, опытная пропагандистка, товарищ Лябурб вся горела, всей душой была предана делу революции, и ее сильная красивая речь была полна захватывающего чувства революционной борьбы».

В апреле 1919 года в Одессе произошли новые события. Царский офицер Григорьев, вчера еще расправивший водку с вожаком украинских контрреволюционеров Симоном Петлюрой, неожиданно порвал со своим «союзником» и заявил, что, дескать, прозрел и желает помочь Советской власти. Подпольная организация большевиков нанесла оккупантам удар в городе. Войска Григорьева вместе с партизанами ворвались в Одессу, и оккупанты были изгнаны. Уже через месяц Григорьев поднял восстание против Советской власти, потерял поражение, бежал в штаб батьки Махно и там получил пулю в лоб.

Летом 1919 года Одесса была свободна, и через этот порт поддерживалась связь с внешним миром,

где назревали революционные события, особенно на Балканах. И все же положение Одессы было чрезвычайно трудным и сложным. Крым был оккупирован белыми армиями. Почти на всей Украине хозяйничали денкишцы и петлюровцы, на одесском рейде стоял флот интервентов, заперший выход из гавани. Со дня на день в город с севера могли ворваться белые армии.

Сейчас как никогда надо было использовать Одессу для связи с внешним миром, почнуть Москве довести до сознания народов Европы правду о целях Октябрьской революции.

В конце июня Елена Соколовская получила сообщение, что из Крыма в Одессу направляются три большевика: Семен Максимович Мирный, Ян Карлович Страуян и болгарин Георгий Портнов. Семени Мирного Елена Соколовская знала. Он уже был в Одессе во время оккупации.

Но об этом потом.

В конце июня 1919 года Мирный и его группа прибыли в Одессу. В крошечной комнатке Соколовской в обкоме партии Мирный сообщил о задачах, которые поставила Москва: группа отправится в Болгарию, там встретится с Димитром Благоевым, Василем Коларовым и другими болгарскими коммунистическими деятелями и ознакомит их с опытом легальной и нелегальной работы русских большевиков.

На далеком рейде мерцали огни вражеской эскадры. Как бы угадывая мысли Мирного, Соколовская сказала:

— Выбраться в открытое море трудно, но мы уже не раз обводили оккупантов вокруг пальца. Поидешь на арбузную пристань, там биржа контрабандистов. Эти молодцы не трусавого десятка, но бесшабашны. Попытайся договориться с рыбаками. Местные колумбы уже давно освоили трассу Одесса — Варна, но только... среди них есть всякие. Будь осторожен... Платить им будем солью и мукой. У нас есть кое-какие запасы для таких дел... Литературу привезли?

Мирный извлек из-под пиджака пиджака толстую пачку папиросной бумаги, положил на стол. Соколовская пробежала заголовки, радостно улыбаясь:

— Это здорово, а мы здесь совсем без литературы.

Аккуратными тоненькими пачками разложила на столе листки книги Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский», первые декреты Советской власти, доклад Ленина на Первом конгрессе Коммунистического Интернационала «О буржуазной демократии и диктатуре пролетариата» и решения конгресса.

— Перепечатать придется,— сказала Соколовская,— не в какие поедете — на лодке. Попадет вода и бумага расплывется. У нас поплотнее есть.

Весь июль Мирный и его товарищи находились в Одессе. Положение становилось все более тревожным и неустойчивым. По городу ползли слухи, что вот-вот в Одессе будет высажен с моря десант. Притаившаяся контрреволюция готовилась взять власть в свои руки и устроить резню. В квартиры большевиков подбрасывали подметные письма: скоро будете висеть на фонарях. По ночам то тут, то там раздавалась стрельба.

Мирный все дни был занят до полноты: на сон оставалось два-три часа. В Одессе в ту пору было немало болгарских коммунистов, бежавших от преследования царских властей. Георгий Портнов собрал

их в обкоме партии. Мирный и Страуян подробно расспрашивали о положении в Болгарии, уточняли адреса в Софии и Варне.

На арбузовой пристани Мирный сговорил человека, который согласился перебросить группу в Болгарию. Старик Амвросий, из старообрядцев, хозяин дубка — рыбащей парусной лодки — запросил дорого: два пуда соли и пять пудов муки-крупчатки. Но когда Мирный наотрез отказался платить грабительскую цену, старик согласился на пуд соли и три пуда крупчатки. Не отпуская Мирного, крутил пуговицу на пиджаке, укоризненно качал головой, ругал себя, что продешевил, и все спрашивал: «Ты какого сословия, милый, будешь?»

Заканчивалось и печатание ленинских работ. Брошюры Ленина и материалы Коминтерна набрали попараллельно, чтобы меньше места занимали. Бумага была не ахти какая — желтая, обгоревшая, но тонкая и даже с глянец. Соколовская и Мирный правили корректуру.

Уже в обкоме партии, в комнатке у Соколовской, литературу обернули ситцем и выложи аккуратно в подкладку пиджаков Мирного, Страуяна и Портнова.

В начале августа все было готово к отплытию. Решали отчалить девятого. Накануне поздно вечером вся группа собралась в обкоме. Видно было, что Соколовская тревожится за судьбу друзей, но старается спрятать волнение за улыбку и шутку. Лишь перед самым отъездом, уже прощаясь, сказала:

— Болгарских друзей отправляла в путь-дорогу, а вот с заданием Мирный, прямо к Дмитрию Благову — вы первые... Ну, ни пуха ни пера, товарищи!

Девятого августа 1919 года, поздно ночью, когда Одесса спала тревожным сном, Семен Мирный, Ян Страуян и Георгий Портнов на рыбацкой лодке Амвросия отчалили из порта. Дубок тихо проскользнул мимо вражеской осады и вышел в открытое море. Редкие огни Одессы остались позади и гасли один за другим.

Амвросий, глянув на небо, в котором мерцали звезды, осенил себя крестным знаменем, сказал: «Ну, с богом, апостолы!» — и подтянул парус.

Попутного ветра, друзья! А пока лодка плывет через Черное море, познакомимся поближе с Семеном Мирным.

Чтобы узнать о юношеских годах Мирного, я обратился не к архивам маленького латышского городка Грина, где он родился в 1896 году, а в Софийский университет. Там я почерпнул сведения о студенте Семине Мирном, отсюда потянулась ниточка в Ригу и Петроград.

Семен рано оставил отчий дом. Отец, служащий лесничества, умер в начале века, мать работала страховым агентом в обществе «Россия», взяв на себя заботу о четверых детях. Семен уезжает в Ригу, где поступает в частную гимназию Рившо. Учитс средне, но зато баллы, выведенные в «свидетельстве» после испытания, проведенного «под наблюдением депутатов от Рижского учебного округа», говорят о недожженных лингвистических способностях: латышский, греческий, латинский, немецкий и французский языки он сдал хорошо и получил «справо на поступление без испытаний в соответствующий класс правительственных мужских гимназий».

В 1915 году Семен Мирный уже в Петрограде, студент университета. Там он оказался в гуще бунтующей молодежи и определил свой путь. В его крохотной комнатке в доме на Екатерининском кана-

ле собираются ближайшие друзья, бурно обсуждают события на фронте. Изредка к нему заглянет прислуга из господской квартиры, молодая украинка Фроска, попавшая в Петроград из тихого села под Киевом. Постирает белье, выгладит, тихо скажет:

— Паньч, годи тую мудрость учить, идить погуляйте...

В феврале семнадцатого Семен надел красный бант и вместе со всеми вышел на демонстрацию. В партии большевиков он вступил через год. Но в Октябре он штурмовал Зимний Дворец и принимал участие в аресте Временного правительства. Его узкое, интеллигентное лицо с очками, прикрывающими близорукие глаза, хорошо запомнил царский министр Щегловитов. Через некоторое время они встречаются в доме Чрезвычайной Комиссии в Москве. Семен Мирный выйдет из кабинета Дзержковского и в коридоре лицом к лицу столкнется с Щегловитовым, которого ведут на допрос. «Товарищ, вы меня не узнаете?» — неожиданно обратится «бывший» к Семену Мирному. «Я вам не товарищ», — ответит Мирный, и они разойдутся.

Образно говоря, отдел кадров партии в те годы уместился в записной книжке Якова Михайловича Свердлова. Там значился и молодой партизек Семен Мирный. Осенью 1918 года его послали на подпольную работу в Крым. И вот выдержка из автобиографии, написанной в январе 1961 года:

«В 1918 году в условиях денкинизации был одним из организаторов и участников нелегального областного съезда Таврической партийной организации в Симферополе 1 декабря 1918 года. Был избран в обком... По поручению съезда я отправился в Центр для переговоров о нашей дальнейшей тактике в Крыму и образовании Таврической Советской Республики после выхода из подполья. Через Одессу, где у нас была постоянная связь и явка к секретарию Одесского подпольного обкома партии Елене Соколовской, я получил партийную явку в Киев (там были петлюровцы), а оттуда — в Харьков и затем в Москву».

Конец 1918 года. Армии генерала Деникина, банды Симона Петлюры, батки Махно, атамана Тютюнника, атамани Маруски жгут города и села. Стоя от погромов и истязаний идет по всей Украине. Через это пекло пробирался Семен Мирный в Москву.

Бюро областного комитета партии направило в Москву еще одного человека — члена обкома Шульмана. Он направились через Джанкой. Если провалится Шульман, то, может быть, Мирному удастся добраться до Москвы. Там должен быть решен вопрос о совместных действиях по освобождению Крыма от белых армий и об образовании Крымской Автономной Советской Республики.

Из Симферополя Мирный выезжает на лошадях — трое суток мчат его кони к Сивашу; теперь вдоль побережья надо пробраться в Одессу, захваченную белыми. В кармане бумага, удостоверяющая, что «Семен Мирный является студентом Таврического университета», а в голове «легенда», которую он рассказывает, если будет арестован белыми: папу, владельца мукомольни, ждали большевики, а сам он бежал от террора.

И вот он на Украине. Может быть, удастся найти какого-нибудь извозчика. За деньги теперь ничего не достанешь, да и какие деньги на Украине — керенки, оккупационные марки — кайзеровские бумажки, и метелки — валюта ясновельможного папа гетмана Скоропадского. За миллион коробку спичек не купишь.

Но в Крымском обкоме партии все предусматривали. В запяточном мешке у Мирного лежит то, что дороже золота,— пять фунтов соли. За фунт соли его везут через Николаев в Одессу. Там его ждет Елена Соколовская. Они иногда не виделись, но по приметам она должна его узнать: связанные партии подобно описали его внешний вид, и он должен сообразить парол.

Из записей Мирного можно безошибочно установить, что в эту свою первую поездку в Москву через Одессу, где впервые встретился с Еленой Соколовской, он два месяца добирался сквозь строй врагов, и лишь одна деталь его одиссеи известна благодаря записи, сохраненной родными.

Это произошло на узловой станции между Киевом и Харьковом. Его задержали гайдамаки, избили и повели на расстрел. У железнодорожного перехода пожилой усадебный гайдамак, который вел его за околлицу, наткнулся на молодую, красивую женщину, с произвольно черными глазами, всю одетую в меха. Она пристально посмотрела на Мирного, подбежала к нему и вскрикнула:

— Панчик, да шо вы тут робите?

Мирный посмотрел на нее своими близорукими глазами. Что-то знакомое мелькнуло в памяти, но он ее не узнал. К счастью, она его узнала:

— Да я ж Фроська, прислуца с Екатерининского канала в Петербурге. Неужто не признаете?

Появля, какая опасность грозит Мирному, Фроська, как тигрица, накинулась на гайдамака:

— Ты шо, не узнаешь мевя, боров?

— Да это ж коммунист, приказано в расход— завопала гайдамак.

— Вон! — закричала Фроська и подкрепила свое признание пощечиной.

Гайдамак побегал докладывавать начальству. А Фроська рассказала Мирному, что в революцию бежала из Петрограда к себе на Украину, вышла замуж за начальника гайдамаков и теперь она первая дама во всей округе. Муж старше на сорок лет, да ей плевать, зато живет она, как королева. И она гордо повела плечами в награбленных сапогах.

Не теряя времени, Фроська повела Мирного к себе домой и спрятала в каморку, где лежал всякий хаам. Муженек не заставил себя долго ждать, привалился домой, накинулся на Фроську:

— Ты тут коммуниста отбила.

Фроська знала, как обращаться со своим муженьком:

— Да врет все твой старый дурак. С пьяных глаз брешет, а ты на жену кидаешься.

Грозный муж было не поверил, да Фроська накрывала на стол, поставила всякой снеди, графин с горилкой, в рюмку сама подливала, и тот свалился: спи, старый черт! Вечером вывела Мирного за околлицу, сказала, как идти, чтобы миновать гайдамацкие посты.

Долго он блуждал по дорогам. Под напором Красной Армии белые полки откатывались на юг, оставляя на своем пути виселицы и сожженные города. Когда Мирный добрался до Харькова, там уже установилась Советская власть. В небольшом здании в центре города размещался Центральный Комитет Коммунистической партии Украины. Мирный ходил из комнаты в комнату, искал секретаря ЦК. В коридоре встретил Шульмана. Тот радостно бросился к нему на шею. В воинском эшелоне, забравшись в теплушку, они выехали в Москву. Эшелон останавливался на каждом полустанке, не хватало дров для топки, местами был взорван путь. Через неделю в морозной дымке показались Москва.

Бедокаменная дымилась «буржуиками», трубы торчали из всех окон и гляделись из всех этажей. У пыльных магазинов вились очереди за хлебом и пшеном. На Курском вокзале было черным-черно от мешочников, среди них шныряли карманники, беспризорники.

В Кремль посланцы Крымского обкома добрались пешком — трамвай ходил редко, и брать их надо было штурмом. В тот же день начали выполнять порученное им дело.

10 декабря 1918 года газета «Жизнь националистов» опубликовала сообщение:

«Приехавшая в Центр группа членов подпольного О. К. (Мирный, Шульман и др.) получила от Наркомпа и ЦК РКП согласие на образование Крымской Советской Республики...»

Выдержка из автобиографии Мирного:

«По окончании переговоров в Москве мы отправились в Крым и прибыли туда в первый день выхода Ревкома из подполья в начале апреля 1919 года. Я был назначен редактором областного органа партии «Таврический коммунист» и одновременно вел работу с группой Сухби¹, прибывшей через некоторое время в Симферополь.

Крым был нами оставлен в конце июня 1919 года. Я с частью членов обкома, Совнаркома и Яном Страуном эвакуировались в Одессу...»

Так Семен Мирный оказался летом 1919 года в Одессе, чтобы оттуда направиться в Болгарию.

А теперь вернемся к нашим путешественникам.

Берег уходил все дальше. Мелькнули последние огоньки вражеской эскадры. Далеко на юго-западе лежала Варна. Что ждет их там, что принесет им монархическая Болгария? Революционеры во главе с Дмитрием Баговым ведут там борьбу, но полиция куда сильнее, заодно с нею действует разведка стран Антанты. Конечно, русским в Болгарии легче, чем где бы то ни было: ведь меньше полуострова прошло с тех пор, как Россия спасла эту страну отottomанского ига, и еще многие помнят бои на Шипке, но болгарский царь принимает белых эмигрантов, а большевиков он отправляет в тюрьмы...

К утру море забелело барашками. Амвросий пристал, из-под руки оглядывал горизонт. С севера шли тучи. Лодку бросало с волны на волну. Записи Мирного:

«Море было особенно бурным в течение двух дней. Нас заливало водой. Хозяин лодки, пожилой старообрядец, встал, перекрестился и сказал: «Дети мои, молитесь каждый своему богу, то что вам умеет».

Хозяин дубка Амвросий принадлежал к секте, обжившей юг России и румынские берега. Высоченный, с окаястой бородой и глубоко спящими глазами на иссеченном ветром лице, он был похож на проповедников, какими их рисуют на иконах.

До империалистической войны Амвросий промышлял рыбу на здоровенном баркасе, продавал улов в Одессе, сбывал перекупщикам. В конце лета, когда на бахчах Румынии² созревали арбузы, гнал шлангу в Констанцу, по дешевке скупал урожай в прибрежных деревнях и сбывал его в Одессе с выгодой.

В войну Амвросий стал зашибать большую деньги: возил контрбанду, сбегивал дезертиров к болгарским берегам. Осенью шестнадцатого года он возвращался из Румынии с ценным грузом — вез кара-

¹ Группа турецких коммунистов из военнопленных.

кулевые шкурки, спрятанные в мешках. Был старик на шалаанде не один — с верным слугой Федором, сократелем мужиком, тоже старообрядцем, которого еще в молодые годы приставили к себе на службу. Поднялась буря, и шалаанда стала тонуть. Амвросий спустил лодку, кинул туда мешки с шкурками. Хотел Федора прихватить, да места не было. Стукнул он его железным ломиком по темени, за борт скинул, перекрестил двумя перстами, как положено: «Иди, милый, с богом. Иди. Бог дал, бог и взял...»

...На четвертые сутки путешествия Мирного, Страуя и Портнова море утихло. Дубок легко шел под парусом, переваливаясь с волны на волну. Страуян и Портнов, измученные бурей, заснули на носу лодки. Семен прикорнул на корме, подложив под голову пиджак и уткнувшись в ноги Амвросия. Старик не спал, не выпуская из рук длинный плоский шест руля; казалось, ему все ничто, а только лицо его стало еще более морщинистым и суровым.

Проснулся Семен под утро. Сильно болела шея. Пиджак под головой не было. Семен резко поднял голову и столкнулся лицом к лицу с Амвросием. Старик в упор смотрел на него, держа в руках короткий железный лом. В голове Семена молниеносно промелькнуло предупреждение Елены Соколовской: при выборе лодки будь осторожен; среди этих хозяинок всеякие есть.

«Неужели Страуян и Портнов все еще не проснулись?» Страшная догадка осенила Мирного. Перехватив взгляд Семена, повернувшего голову в сторону носа лодки, старик тихо спросил:

— Куда ассигнации спрятал и золотишко?

Только теперь Семен увидел свой пиджак, лежавший на корме. Подкладка была подпорота.

— Что молчишь? — тихо спросил Амвросий. В его глазах светилась недобрая усмешка.

— Нет у меня ничего, старик.

— А тут что?

Амвросий поднял пиджак и стал обминать его у воротника.

— Рекомендательные письма везу одному фабриканту.

— Врешь. Пишем что-то больно много.

Семен, не вставая и в упор глядя на Амвросия, ответил:

— Чертежи важного изобретения везу. Поглядите, если не верите.

Старик пошевелил бровями, как бы что-то соображая.

— Продавать будешь?

— Да... На чужбину еду. Жить как-то надо.

— Много дадут?

— Постараюсь содрать...

На носу лодки зашевелились. Амвросий метнул ту да взгляд, бросил Семену пиджак, прошипел:

— Цыть, если жить хочешь... Без меня не доедешь, утонешь.

Семен согласно кивнул головой. Страуян, шумно закашлявшись, приподнял голову, спросил:

— Когда в Варне будем, дед?

— Да еще дня четыре, а то все пять переть. Как ветер поможет.

И снова была ночь. Семен не спал. От напряжения и усталости липкая, холодная испарина покрывала все тело. Страуян понял: что-то произошло, но в море на лодке надо молчать. Не спускал глаз с Амвросия. Ночью предупредил Портнова, что спать будут по очереди.

На восьмые сутки на горизонте в сиянии восходящего солнца показались Варна. Дубок, набирая скорость, пошел к берегу и в стороне от гавани ткнулся

босом в песчаную пустынную отмель. Путешественники вышли на берег, бросились на теплый песок, жадно вдыхали запахи земли, острый аромат цветов, увлажняющих под южным солнцем. Старик закрепил лодку, ушел в город, не сказав ни слова.

В БОЛГАРИИ

К вечеру Георгий Портнов увел друзей на квартиру Григора Чочева, деятеля Варненской организации коммунистов. В озарении солнца Варна казалась красивой.

Но на частной квартире долго нельзя было оставаться: полиция следила за всеми «подозрительными». Ночью к Чочеву пришел секретарь Варненской организации БКП Дмитрий Кондов. По его совету Мирный и Страуян на следующий день поселились в лучшем отеле города «Сплендид». Документы у них отменные: Мирный значится студентом Таврического университета, а Страуян — литератором. Придуман и «легенда»: оба бежали из Одессы от «террора большевиков». В Болгарии в то время было много белых эмигрантов, и версия, казалось, не вызовет подозрений.

Уютный номер в отеле «Сплендид» позволил забыть невзгоды недавнего путешествия, но блаженство длилось недолго. Вечером, когда наши друзья после конспиративной встречи шли в отель, их арестовали, и через несколько минут они уже сидели в городском полицейском управлении на допросе, а еще через час за ними закрылись двери камеры предварительного заключения.

К счастью, секретарь окружного полицейского управления оказался большим любителем ракии — болгарской водки. Решив, что его арестанты — люди состоятельные, он предложил: ночью и весь день они в камере, а вечером идут вместе с ним ужинать в ресторан Приморского парка, конечно, за их счет. Согласие было дано. И вот как только солнце прятало свой диск за горы, камера открывалась, Мирный и Страуян вместе с полицейским чиновником направлялись в ресторан. Полицейский следовал за ними в полной форме с пистолетом на боку. Выпив две рюмки ракии, он заводил беседу на литературные темы, съедал бифтекс, потом еще один и отводил своих подопечных в камеру.

Походы в Приморский парк чуть не кончились трагически. В один из вечеров, когда полицейский, наладившись ракией и бифтексами, кефевойла, а его арестанты тоскливо ждали возвращения в тюрьму, к их столику подошла молодая девушка, и, чуть не бросившись Страуяну на шею, вскрикнула:

— Дорогой Ян Карлович, какими судьбами вы здесь оказались? Как я рада, как я рада!..

Страуян понял, что они проваливаются окончательно и бесповоротно, если не произойдет чуда. Престестная девушка — ее звали Мила — оказалась ученицей Страуяна. В годы эмиграции в Париже Страуян преподавал там русскую литературу детям из русской колонии. Мила была одной из его лучших учениц. После Октябрьской революции она вместе с отцом оказалась в Варне, — и вот эта встреча с любимым учителем. Ну, как не завопить от радости!

Полицейский насторожился. Страуян, молниеносно оценив обстановку, улыбнулся Миле:

— Знакомьтесь, это наш друг!

Полицейский, крикнув, приложил руку к козырьку. Наступила пауза.

— А почему вы в таком... я хочу сказать... сопровождении?..

— Понимаете, Милочка, произошла ошибка, так сказать, недоразумение. Оно выясняется сейчас.



Ян Страуян.
20-е годы.

Мила наконец поняла, что в такой ситуации не следует задавать вопросы. Мирный взял изрядно нагруженного полицейского под руку, Страуян шепнул Миле, чтобы она немедленно связалась с секретарем Софийской организации Болгарской компартии Койдовым и сообщила ему, что Мирного и его завтра этапным порядком высылают в Софию — ими заинтересовалась контрразведка.

В конце октября Мирного и Страуяна под охраной отправили поездом из Варны в Софию на дополнительный допрос, с тем, чтобы потом передать их белогвардейцам в Стамбуле.

Теперь нельзя медлить, и ЦК БКП принимает решение организовать побег русских большевиков. В вагон, в котором преследуют арестованных, направляют опытного конспиратора. Он связывается с ковопром-благарином и предлагает ему: он «внезапно» заснет, арестованные смогут бежать. Конечно, он будет наказан, но эти неприятности ему компенсируют. Однако ковопром непреклонен. Тогда в ход пускается рация. Как все полицейские, он большой любитель спиртного. Возлияние следует за возлиянием, и, когда поезд приходит на Софийский вокзал, ковопром уже еле можаху. Арестанты покидают вагон и быстро скрываются в толпе. На привокзальной площади они садятся на извозчика и прибывают на квартиру доктора Нанна Исакова. Мирный, не задерживаясь, направляется к одному из руководителей ЦК БКП Василию Коларову, которому специальный связной сообщил о победе.

Уже в начале нашего века Васил Коларов стал одним из признанных лидеров болгарского рабочего движения, в которое он вступил во второй половине девяностых годов в двадцатилетнем возрасте. Еще до первой мировой войны рабочие Болгарии послали его своим депутатом в парламент. Вместе с Димитром Благоевым он понимал и ценил великое значение русского революционного движения, был тесно связан с агентами ленинской «Искры» и Октябрьскую революцию воспринял как поворотный пункт в истории всего человечества.

На Третий конгресс Коммунистического Интернационала в Москву он прибыл не только как делегат своей партии, но и как политический секретарь ЦК БКП и был избран членом Президиума Исполкома Коммунистического Интернационала. Через два года он возглавит сентябрьское восстание, будет заочно

приговорен к смертной казни и надолго покинет свою родину. Но тогда, в 1919 году, он был в Софии и вместе с Благоевым руководил коммунистической партией.

Коларову сорок два года, Мирному — двадцать три. Но перед Коларовым — человек, с которым можно говорить на равных, к нему прибыл член Крымского подпольного обкома партии. Коларов предложил Мирному легализоваться. Лучший способ — поступить в Софийский университет, на филологический факультет. Тем более что у него есть студенческий билет слушателя Таврического университета.

Коларов подробно рассказал Страуяну о московских делах, о Владимире Ильиче. Сказал, как о деле решенном, что Мирный и Страуян в целях конспирации будут жить на разных квартирах. Для Мирного уже сняли номер в отеле «Наполеон». Страуян теперь должен забыть на время свое имя.

— Получайте, — сказал он Яну Карловичу, передавая ему паспорт. — Отныне вы называетесь Юрием Яковлев, русский литератор. Устраивает?

— Вполне!

— Тогда начинайте новую жизнь. Поселитесь на квартире Симеона Пайчева. Это учитель, коммунист, с ним уже договорились.

Из болгарских архивных документов:

«Семен Мирный и Ян Страуян оказали большую помощь Центральному Комитету БКП в деле ознакомления с опытом большевиков. Они участвовали в работе редакции «Работнически вестник» и «Ново време», где помогли правильному решению некоторых дискуссионных вопросов, в подготовке материалов, отражающих завоевания Октябрьской революции в России и опыт большевиков».

Мирного без особых хлопот зачислили студентом в Софийский университет. Начались регулярные посещения лекции, бдения в Народной библиотеке. Но как только кончатся лекции, «студент» отправляется в ЦК БКП. В те месяцы буржуазия и ее агентура в рабочем движении улавливали атаки на Советскую Россию. Газеты печатали вымыслы о положении в Москве и Петрограде, перепевали злостные выпады печати других стран. Особенно усердствовал А. Цанков, написавший по специальному заказу клеветническую брошюру «Большевизм и социализм». На совещаниях у Коларова было решено, что ответить Цанкову должен Мирный. 15 декабря 1919 года в газете «Работнически вестник» появилась его статья за подписью «Русский рабочий Мионов» и озаглавленная «Ответ клеветникам на русскую революцию».

Поздно вечером, когда Мирный возвращается в гостиницу «Наполеон», портье, давno уже за ним пристально наблюдающий, спрашивает: «Трудно ли, господин студенту учиться?» — и подозрительно оглядывает его толстенный портфель. А в портфеле не только учебники, но и работа Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Литературу, привезенную из Одессы, он передал в ЦК БКП. Некоторые материалы были переведены и напечатаны в «Работнически вестник» и «Ново време», а книгу Ленина поручили переводить Петру Искрову и Семену Мирному. Вскоре она была издана в Софии.

Время быстро мчалось. На совещаниях в ЦК БКП Мирный выступает с сообщениями о деятельности Крымского и Одесского подпольных комитетов большевиков в условиях вражеской оккупации. На собраниях, где развертываются горячие дискуссии о путях рабочего движения в Болгарии, рассказывает об опыте большевиков, горячо защищает путь, избранный руководством БКП.

В тот период в ЦК БКП сложилось руководящее ядро во главе с Димитром Благоевым, Георгием Димитровым, Василием Коларовым; оно твердо вело

партию коммунистов по ленинскому пути. Семен Мирный и Ян Страуэн стали их бойцами и помощниками в борьбе против левацких уклонов, в защите марксистской линии ЦК БКП.

Вскоре после приезда в Софию Васна Коларов привез Мирного на квартиру к Димитру Благоеву — «Дядю». Благоеву было около шестидесяти пяти лет. В последнее время он все чаще болел. Только что, в начале 1919 года, под его руководством завершилось дело его жизни: преобразование созданной им партии «тесняков» в Болгарскую коммунистическую партию.

В небольшой, заставленной книгами квартире встретились патриарх болгарского и русского революционного движения и молодой деятель Российской Коммунистической партии большевиков, оба в прошлом студенты Петербургского университета: Благоев — в начале восьмидесятых годов прошлого века, где он создал свой знаменитый марксистский кружок, а Мирный — в середине второго десятилетия нашего века.

В ту, первую встречу с Мирным, «Дядю» пристально, с глубоким интересом разглядывал своего гостя из-под кустистых бровей. С 1885 года, когда жандармы выслали Благоева из России, он там больше никогда не был и мало общался с русскими революционерами. Он внимательно изучал Ленина, и на его полках стояли ленинские работы, им самим переведенные на болгарский язык. И вот теперь перед ним молодой большевик из новой России.

— Расскази про Петербургский университет, — попросил Благоев. — Тех, кого я знал, давно уже нет, конечно. А аудитории все такие же? Как там наш физико-математический факультет? И наша библиотека?.. Да много лет прошло, а как будто все это было вчера... Он долго не мог отогнать нахлынувшие воспоминания и все расспрашивал: — Мне сказали, что ты приехал из Одессы на лодке... а меня в марте 1885 года этапным порядком жандармы отправили из Одессы в Варну на пароходе «Цесаревич»...

Мирный сказал Благоеву, что вместе с Искровым переводит на болгарский язык работу Ленина и публикует статьи в газетах.

— Я читал твои статьи. Ты понимаешь наши задачи и нашу жизнь. У меня просьба к тебе: напиши статью о роли русской интеллигенции в революции. Это очень важная тема.

Семен Мирный выполнил это поручение Благоева. Вот еще одна из записей, оставленных Мирным.

«Знаменитое здание у Львовия моста с редакциями газеты «Работнически вестник» и журнала «Ново време» стало моей первой политической академией. Нетрудно понять мое волнение, когда в кабинете Кабакчиева обнаружил подшивку «Искры». Я забросил университет и семинарские занятия, макивировал лекциями уважаемого профессора Милетича, жадно впитывая неиссякаемую мудрость ленинских идей.

Под одной статьей на тонкой папиросной бумаге «Искры» была подпись: «Македонец» и рядом расплывшимися чернилами дописано: «Благоев». С подписью «Искры» я зашел к «Дядю» в редакцию «Ново време». Там как раз находился секретарь Софийской партийной организации «тесняков», мой старый друг Антон Иванов.

Благоев говорит Иванову, указывая на меня: «Дай русяку билет в Народное собрание. Пусть прочувствует буржуазную демократию в действии».

Антон дал мне пропуск, и я направился в Народное собрание. Вахтер в здании парламента виртуозно обшарил мои карманы и пропустил меня на хоры. В это время выступал коммунист Мулетаров. Высокого роста, с густой черной бородой, этот адвокат был тем-

42



Васил Коларов.
20-е годы.

пераментным оратором и вызвал ярость реакционеров в парламенте. Одетые в меховые жилеты, дружбаши бросились к Мулетарову, и вот-вот должно было начаться побоище. Но к трибуне уже шел Димитр Благоев. В зале наступила та редкая тишина, какую обычно называют «мертвой». Все вернулось на свои места. Тихим, спокойным голосом «Дядю» произнес речь, куда более острую, чем речь Мулетарова. Но никто не посмел выступить против него...

Благоев все чаще виделся с Мирным. В непридуманной обстановке в редакции «Ново време» и на квартире у «Дядю» долго длились их беседы.

В редакции Благоева проходили совещания, обсуждались статьи, заметки будущих выступлений. «Дядю» выслушивал присутствовавших, потом давал свои замечания, не называя своего мнения. «Это был какой-то монотонный славг глубокой человечности, предельной простоты и проникновенного умения убеждать людей в правоте избранного нами пути», — записал Мирный.

Однажды вечером после долгой беседы о литературе и долге человека перед обществом Благоев подарил Мирному свою книгу «История русской революции» и надписал посвящение своему молодому другу.

На квартире у Благоева Семен впервые увидел Невяну Генчеву. Она вошла и остановилась у двери.

— Проходи, проходи, Невяна, и познакомься, — подбодрил ее «Дядю».

Невяна подала Мирному маленькую, теплую руку, с интересом посмотрела на парня из России. Так состоялось знакомство, перешедшее в нежную дружбу, промелькнувшую, как яркая комета на их небосклоне.

«В длинные зимние вечера мы с Невяной гуляли по мокрым туманным улицам Софии. Бесконечно длились наши разговоры, мы спорили, смеялись, шутили. Мы забывали все на свете... Город уже спал, а мы все брели по улицам, и мысли уносили нас все дальше и дальше в будущее, в Государство Солнца, воспетое Томасом Кампанеллой...»

Полиция следяла за Мирным и Страуэном. В конце февраля 1920 года тот самый портфель гостиницы «Наполеон», уже в который раз подозрительно разглядывая разбухший портфель Мирного, спросил сердобольным голосом:



Димитри Благоев.
«Дядо».
Начало
20-х годов.

— Трудно учиться господину студенту? — и как бы невзначай дотронулся до портфеля: — Что у вас там?

— Не пейвай, опасно за живота. Тука бомба! — полушутливо ответил Мирный («Не трогай, опасно для жизни. Тут бомба!»).

Портые криво улыбнулся и отдернул руку. И надо же, чтобы через несколько дней в театре «Одеон» в центре Софии произошел взрыв и вслед за тем началась полицейская охота за коммунистами. Третьего марта 1920 года софийская полиция арестовала Мирного и выслала из столицы в городок Хасково.

Но мог ли он остаться в провинциальной глуши, вдали от Благоева, Димитрова, Коларова, вдали от борьбы! И вдали от Невяны! Через десять дней он бежит из-под надзора полиции и снова в Софии, у Димитра Благоева, у Василия Коларова, вместе с Антоном Ивановым, Христо Кабакчевым и другими деятелями Болгарской компартии, пишет статьи, выступает на диспутах...

В апреле 1920 года Мирный навсегда прощается с Димитром Благоевым. «Дядо» передает ему прощальные приветия в Москву, тепло обнимает. Они уже никогда не увидятся. Василий Коларов вручает партийный мандат на полотно, который Мирный зашивает в подкладку костюма.

Наступает последний день в Софии. Он уже попрощался со всеми друзьями. В этот вечер он будет только с Невяной.

Весна. София в зелени рощ и садов. Они медленно поднимаются на гору Витошу. Внизу, в туманной дымке, будто сказочное видение распластался город...

— Ты вернешься? — спрашивает Невяна.

Семен молчит. Он не знает, что ей ответить, потом тихо признается:

— Я себе не принадлежу.

Он был прав. Ему тогда даже не удалось повидать Родину. Начался новый этап деятельности: Вена, Берлин, Париж.

Еще через месяц он уже в Швейцарии. Там его арестовывают и присуждают к нескольким неделям тюрьмы. Об этом строки в автобиографии:

«По отбытии наказания меня выслали в Германию. Я убедился, что и в швейцарской полиции бе-

рут взятки. Сопровождавший меня для нелегального перехода немецкой границы полицейский горячо поблагодарил за пять франков «чаевых».

Германия теперь только транзитный плацдарм. В середине 1921 года Мирный уже в Петрограде. С удостоверением, в котором сказано, что «русский коммунист товарищ Мирный командирован в Москву, в ЦК РКП», он отправляется в столицу.

ПОЕЗДКА К КЕМАЛИО-ПАШЕ

После подполья, арестов, конспиративных квартир жизнь в Москве показалась необычайно безоблачной. Здесь все было новым и необычным. Партия только что провозгласила новую экономическую политику. В столице да и в других городах начиналась бойкая торговля, открывались магазины с яркими витринами. Появился новый тип преуспевающего изпмана, разъезжающего на рысаке, прожигающего жизнь в ночных ресторанах, на курортах, в зланных местах.

Не все и не сразу понял неизбежность и необходимость нового курса ленинской политики, провозглашенного во имя укрепления революционных завоеваний. Через год, весной 1922-го, на XI съезде РКП Владимир Ильич скажет партии и народу, что отступление закончено, а в ноябре того же года на IV конгрессе Коминтерна Ленин констатирует, что «экзема выдержана», и страна быстро двинется по пути экономического строительства.

Но тогда, в 1921 году, поднял голову троцкисты, меньшевики, заявила себя и «Рабочая оппозиция». Партию сотрясали диспуты и дискуссии. Да и не все близкие друзья могли сразу понять происходящее. Вскоре после приезда в Москву Мирный встречал на вокзале болгарского друга, бежавшего из Софии. По дороге на квартиру Мирного они проезжали через Охотный ряд. На приземистом одноэтажном здании чернела вывеска: «Торговля братьев Трофимовых». Болгарин разочарованно заметил: «Я думал, что в Москве на каждом шагу библиотеки, а у вас, оказывается, есть частная торговля».

Во всем этом надо было разобраться, внутренние пережить, понять.

В том же 1921 году ЦК РКП(б) посылает Семена Мирного на учебу в Военную академию (ныне Академия имени М. В. Фрунзе). Он оказывается в гуще политической жизни академии. В архиве сохранилось удостоверение, подписанное комиссаром Мушкевичем:

«Сим удостоверяется, что предьявитель сего Мирный Семен Максимович общим собранием, состоявшимся 9-го декабря, действительно избран депутатом в Хамовнический районный Совет от Военной академии».

Его избирают секретарем партийного бюро Восточного отдела академии и членом Центрального партийного бюро.

Программа в академии была сжатой. Стране нужны были образованные люди, а времени было мало: учебный курс был до предела насыщен разными дисциплинами. Сохранился фотодокумент: Георгий Васильевич Чичерин и комиссар академии Ромульд Адамович Мушкевич (будущий начальник Военно-морских сил Советского Союза в конце двадцатых — начале тридцатых годов) среди выпускников академии, получивших дипломы с оценкой «очень хорошо». В этой небольшой группе военных дипломатов — двадцатистилетний Семен Мирный. Академия бы-

ла для него испытанием и фронтом. Именно тогда он получает свое первое дипломатическое задание — выехать в Турцию, встретиться с Кемалем-пашой, передать ему послание правительства Советской России.

Поручение Семёну Мирному было эпизодом в борьбе Советской России за мир на земле и освобождение угнетённых народов.

Этой борьбой руководил Ленин, создавший сразу же после Октября дипломатический штаб из вчерашних большевиков-подпольщиков. Уже весной 1918 года Владимир Ильич поручает Яну Берзину выехать с группой сотрудников в Швейцарию, установить контакты с тамошним правительством, распространить из Берна, Цюриха и Женевы правду о задачах русской революции. В декабре того же года Владимир Ильич направляет в Стокгольм Максима Литвинова, только что вернувшегося из Лондона, где он десять лет находился в эмиграции и был секретарем большевистской колонии. Литвинову поручают обратиться с посланием мира к президенту Соединённых Штатов Вудро Вильсону, и он выполняет эту миссию при помощи советского посла в Стокгольме Вацлава Воровского. В Афганистан тогда же направляют Якова Сурица, возвратившегося из Дании. В Соединённых Штатах Америки по поручению Ленина действует Людвиг Мартенс, бывший член Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Он издаёт там газету «Совет Раша», в которой печатают декреты Советской власти и статьи Ленина, пытается установить дипломатические отношения с заокеанской державой. Посланцы Советской России появляются и действуют и в других странах.

И вот результат усилий молодой советской дипломатии, руководимой В. И. Лениным: внешнеполитическая блокада нашей страны прорвана. Одно государство за другим признало Советскую Россию. Однако в начале двадцатых годов обстановка была ещё очень сложной. Только что кончилась гражданская война и была разгромлена иностранная интервенция. В стране царил голод и разруха; страшная засуха обрушилась на Поволжье, от истощения погибли тысячи людей. Советскую Россию ещё терзала внутренняя контрреволюция. Но и в этих условиях Ленин и партия большевиков делали все возможное, чтобы рассказать всем людям на земле о задачах и целях Советской власти, помочь угнетённым народам освободиться от колониального ярма. Турция, как ближайшему соседу и стране, борющейся против иностранной интервенции и прогнившего султанского режима, Ленин уделял особое внимание.

А обстановка в Турции была сложной и трудной. Ещё в 1919 году здесь под руководством Кемалы были созданы революционные «Комитеты защиты прав». Власть султана была подорвана, но на помощь ему пришли иностранные штыки: английские интервенты высилались в Константинополе и разогнали парламент. Значительная часть депутатов была арестована и сослана на остров Малту, однако группе в шестьдесят человек удалось бежать; они присоединились к Кемалю. 23 апреля 1920 года в Анкаре было открыто Великое национальное собрание Турции.

Но Англия и Греция начали наступление против Кемалы и его сторонников. Используя свое превосходство в силе, они захватили ряд населённых пунктов и подошли к Анкаре. И вот тогда-то Советское правительство оказало турецкой революции военную и экономическую помощь, которая сыграла огромную роль в её борьбе за независимость. 29 ноября

1920 года Кемаль телеграфировал народному комиссару иностранных дел Георгию Васильевичу Чичерину:

«Мне доставляет величайшее удовольствие сообщить вам о чувстве восхищения, испытываемом турецким народом по отношению к русскому народу, который, не удовлетворившись тем, что разбил свои собственные цепи, ведёт уже более двух лет беспримерную борьбу за освобождение всего мира и с энтузиазмом переносит неслыханные страдания ради того, чтобы навсегда исчезло угнетение с лица земли...».

Мирный отправился в Турцию в те дни, когда иностранные интервенты подошли к Анкаре и положение было чрезвычайно грозным. О том, как он добирался туда, о его первой «студенческой практике» свидетельствует уцелевшая запись Семёна Максимо-вича.

Привожу ее с небольшими сокращениями.

«МОЕ ПЕРВОЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ.

З анятия на первом курсе кончились в июне 1921 года. Мы тогда не знали санаториев, не думали о домах отдыха, даже туристических терминов не было в нашем лексиконе. Каникулы проводили на специфической практике того времени: кто направлялся на ликвидацию остатков банд на Украине, кто на борьбу с басмачеством в Средней Азии; один проводил лето в своих частях, другие проходили стажировку. Мне, как слушателю турецкой группы, дали «дипломатическое» поручение: отвезти почту к Кемалю в Турцию и еще напутствие — вернуться с хорошим знанием турецкого языка...

По дороге в Трапезунд я подзудил лексикону по каким-то неведомым путем появившей ко мне книге «Тюркские конвентуалграмматик» Генри Еглича, «императорского и королевского австро-венгерского вице-консула и бывшего доцента императорской и королевской восточной академии в Вене», год издания 1895-й.

Вооружившись практическими познаниями из книги Еглича, я в Трапезунде в турецкой кофейной на площади крикнул официанту: «Бир бардах, шекер берабер» — «Стакан кофе вприкуску». Мне принесли маленькую, с наперсток, чашку кофе и большой стакан воды. Я совершил свою первую протокольную дипломатическую оплошность — сначала выпил стакан воды, а потом кофе.

За соседним столиком сидел благообразный пожилой турок с чалмой вокруг головы, что указывало на его хадж, паломничество в Мекку. Все подходило и здоровалось с ним. Его лицо стало приветливым, когда узнал, что мы русские. Он заговорил с нами, заинтересовался положением в Советской России, революцией. Кулинарная лексика не помогла. Пришлось собственными средствами сблизиться ему нашу крестьянскую политику национализации земли. «Да это как в шариае?», — одобрительно отозвался мой учёный собеседник и для большей убедительности процитировал суру из корана. Как быть? Сказать ему, что, по моему мнению, уже в ранних устных преданиях о Магомете был выхолощен социальный демократизм первоначального ислама? Я вспомнил наставление Талейрана молодому дипломату: самое главное — не переусердствовать. Я не допустил второго дипломатического промаха. Человек в чалме так и остался в неведении о последующей эволюции первоначального мусульманского учения.

Старик простился. Мы просидели в тени платана до наступления вечерней прохлады. Я собирался распахнуться. «Ничего не падо», — ответил официант. «Как это?» — удивился я. «Эффенди заплатил за пс», — ответил кельнер. По местным обычаям это было высшее проявление внимания к гостям.

Из Самсуна на араба, а кое-где и на собственных апостольских погах мы 12 дней добирались до Кайсери. Туда из военных соображений эвакуировалась часть правительства и полпреда. Из Кайсери через несколько дней мы приехали в Анкару. В обоих городах помещения советского представительства наминали боевой штаб: лихорадочная работа сотрудников, стук пишущих машинок, телефонные звонки, отправка почты занимали время персонала. Вечером за бесконечными пшалами чая обсуждали события дня и положение на фронте, военные сводки. В центре внимания на таких летучках были военные Лихтаиский и Маликов. Первый — слушатель дополнительного курса Военной академии — был военным аташе. Его помощником был Маликов, слушатель второго курса. Как я заподозил его быстрому чтению турецкой скорописи...

Штаб Кемаль-паши перед битвой на реке Сакарья находился в горном ущелье, спрятанном в лесах. Туда из Анкары и направился Мирный. Он отменил позже в своих записках, что ему довелось увидеть во время этого путешествия, которое он проделал на телеге:

«Вереницы запряженных волами крестьянских повозок с боеприпасами и продовольствием шли для фронта... На поворотах анатолийских дорог я наглядно постигал на практике великую силу национально-освободительного движения».

Дорога шла вверх и привела к ущелью. Все чаще попадались загражденные посты. Красная звезда на буденовке красноармейца, который сопровождал Мирного, служила хорошим пропуском. На вопросы командиров застав он отвечал кратко: «Москва, Ленин...»

Кемаль принял посланца Советской России в штабном шатре. Было ему тогда сорок три года, за плечами остались ссылки, служба в турецкой султанской армии. Человек сложный, с противоречивыми взглядами на развитие Турции, он понимал значение для Турции дружбы с Советской Россией.

Кемаль с интересом смотрел на посланца Советской страны. Тот стоял перед ним в истрепанном полнотном костюме, в фуражке, в стоптанных солдатских ботинках и в обмотках, спокойно и внимательно разглядывая вождя турецкой революции. После краткого молчания Кемаль пригласил гостя сесть, спросил, как здоровье Ленина. Получив ответ, спросил, как здоровье эффенди Чичерина. «Эффенди Чичерина также здоров», — последовал ответ. Кемаль принял письмо, написанное по-французски, быстро прочитал, изредка бросая взгляды на Мирного, как бы желая что-то спросить, говорил свободно по-французски, слегка распуская.

Мирный тоже перешел на французский язык. Кемаль чему-то улыбнулся, скользнул взглядом по истрепанному ботинкам и обмоткам своего гостя, спросил, где тот учил французский, не в Сорбонне ли в Париже? Гость ответил, что учился в русской гимназии и в Петербургском университете.

Кемаль еще раз пристально посмотрел на гостя, сказал, что России надо уметь почитать. Просил поблагодарить за послание. Турция никогда не забудет, что Советская Россия помогла ей в самые трудные дни ее истории...

Через несколько дней началась битва у реки Сакарья, закончившаяся разгромом интервентов и изгнанием их из страны.

В 1923 году сразу же после окончания академии, Мирного снова посылают в Турцию — на сей раз на пост заместителя председателя репатриционной комиссии.

Три года находился Мирный в Турции — с 1923-го по 1926-й. Потом еще одиннадцать лет на дипломатическом посту в разных странах — Швеция, Норвегия, Венгрия. Он работает рядом с Александрой Михайловной Коллонтай и другими выдающимися дипломатами первых лет Советской власти.

Но те три года в Турции занимают особое место в его биографии коммуниста и борца. Еще причудливее спелась его судьба с судьбой болгарских революционеров.

ЭТО БЫЛО НА БОСФОРЕ

«В сентябре 1923 года—июле 1926 года С. М. Мирный оказал неоценимую помощь нашей Болгарской коммунистической партии в осуществлении связей с Коминтерном и его руководящими органами за границей, в спасении десятков болгарских коммунистов, бежавших из Болгарии от преследования властей».

«Исторический предглед», стр. 107.

Трудным был тот, 1923 год для Болгарии, когда Мирный прибыл в соседнюю Турцию. В июне к власти путем военного переворота пришло правительство Цанкова. В стране начался белый террор, тысячи коммунистов были брошены в тюрьмы. В сентябре 1923 года вспыхнуло героическое восстание, охватившее всю страну. Но оно было жестоко подавлено, и палачи начали устанавливать в стране кладбищенскую тишину.

Сложным был и политический климат Турции. Президентом страны по-прежнему был Кемаль Ататюрк. Он продолжал укреплять отношения с Советским Союзом, но преследовал прогрессивные силы внутри своей страны.

Репатриционная комиссия, в которой Мирный играл главную роль, помогала возвратиться на родину солдатам, оказавшимся в плену, и другим российским гражданам, попавшим на чужбину. В Турции оказалось немало таких русских, которые потеряли голову в дни революционной грозы и бежали с белой гвардией: мелкие купцы, служащие и прочий люд; многие из них теперь жестоко жалели, что оставили родину, и не знали, как вернуться обратно. Им надо было помочь: спокойно, доказательно, вселить уверенность в том, что им дадут возможность начать новую жизнь.

В репатриционную комиссию приходили и те, кто давно оставил Россию. Одними из первых там появились «некрасовцы» — раскольники. Их предков еще при Екатерине II казачий атаман Некрасов увозил целыми кланами на чужбину. Так они и осели в Турции. Теперь потомки тех казаков пришли в консульство в старых одеждах — мужчины в кафтанах, женщины в киках и душегрейках. И стояли они, молчаливые, строгие — ни дать ни взять выходцы из восемнадцатого века. Мирный помог им уехать в Советскую Россию, где они поселились на Северном Кавказе.

Крапив и своеобразен Стамбул — город трех эпох. Слово гигантская причудливая птица, расклинало он

по обоим берегам Босфора: голова в Азии, а огромное туловище — в Европе. Ступеньками спускается город к Босфору. Сказочными видениями уходят в бездонное, вечно голубое небо шпили минаретов и купол Айя-Софии, великолепный памятник византийской эпохи, превращенный турками в мечеть.

Консульство СССР, расположенное в красивом двухэтажном здании на главной улице города — Гран Пере, стало притягательным центром не только для русских, оказавшихся на чужбине, но и для болгар: там можно было укрыться от продажных чиновников вали — турецкого губернатора, готовых за лиру выдать политического эмигранта.

Советский вице-консул Семен Мирный отдаст весь свой опыт интернационалиста делу спасения болгарских коммунистов.

Строки из записи Мирного:

«Установил связь с болгарским рабочим движением... устройство... надежных документов и т. п. для партийцев и партизан, бежавших из Болгарии, и для партийцев, направляющихся в Болгарию. За все это время не было ни одного провала, ни одного ареста болгарских товарищей».

Непрavera ли, как все просто. Но за этими строками опасность на каждом шагу, железная выдержка. И острые схватки, в которых побеждает безграничная храбрость, ум, молниеносная изворотливость. И, конечно, идеальная убежденность. Она движет всеми помыслами и деяниями. В условиях чужой, хотя и дружественной страны он делал все, чтобы дать возможность болгарским братьям переехать в СССР или предоставить им работу в советских учреждениях в Стамбуле. Незадолго до кончины Мирный писал в «Работническое дело»:

«Разве можно забыть первого болгарского революционера, которого в октябре 1923 года удалось переправить в СССР. Это был Цвято Райоиднов, жизнерадостный, крепкий, настоящий болгарский революционер, каким мы представляли этот образ по романам. Он первый явился в наше правительство и заявил: «Я болгарский революционер, я бежал». Его открылось лицо было таким доверчивым, что мы ему сразу поверили. И через два дня, воспользовавшись прибытием первого советского парохода «Ильич», мы поручили его советскому дикпурьеру Урасову-Чуплену. Это тот самый дикпурьер, партиз, участник венгерского революционного движения, который по поручению Ленина в декабре 1918 года перевозил партийные документы болгарским революционерам.

Цвято Райоиднов — герой нашей страны и герой Болгарии. Его хорошо знали по имени Цветана Родионова, слушателя Военной академии, потом преподавателя, потом полковника в интербригадах, потом генерала, потом парашютиста в Болгария во время войны. Когда Цвято Райоиднов умерла, его последние слова были: «Да живее Советская Русия!» Тогда мы спасли жизнь человека, который потом пожертвовал своей жизнью во имя своих обеих родин — Болгарии и России».

А теперь о легендарном побеге с острова Святой Анастасии.

Если тебе, читатель, доведется побывать в братской Болгарии на Солнечном берегу, постарайся попасть на остров, скалой подымающийся в море. Это недалеко от Бургаса — полчаса на лодке, и ты окажешься на мрачном скалистом выступе. У монастыря ты увидишь мраморную доску: «29 июня 1925 года в тюрьме острова Святой Анастасии было поднято восстание и совершен побег 43-х коммунистов — борцов против фашизма, за свободу нашего народа. В их честь остров называется «Большешипк».

...Шестнадцатого апреля 1925 года среди бела дня в центре Софии раздался взрыв огромной силы. Воспользовавшись этим взрывом для своих целей, фашистское правительство ввело в столице военное положение. Расстрелы, пытки, казни сотрясали страну. В те дни в Бургасскую тюрьму были брошены сорок три коммуниста. Их допрашивали, пытали. Завита была до отказа и тюрьма на острове Святой Анастасии. Против узников острова готовился судебный процесс, их надо было перевести на материк, и полицейские власти решили «обменять» заключенных. Пятого июля сорок три коммуниста были выведены из Бургасской тюрьмы, посажены на миноносцы и заперты в казематы островной тюрьмы. Заключенных «островники» на этом же миноносце увезли в Бургас.

Двадцать четыре дня Теохар Бакрыджиев, Борис Сивов, Стоян Калоянчев, Васил Новаков, Панайот Ярымов, Стоян Коларов, Васил Карамиков и их товарищи томились на острове-тюрьме.

После тщательной подготовки, где каждый шаг был смертельным риском, повстанцы обезоружили и связали охрану. Один из руководителей восстания Бакрыджиев, обратился к заключенным с краткой речью: «Скоро фашистские власти организуют процесс. Многим из нас грозит смерть. Поэтому руководство партийной организации подготовило бунт. Мы бежим в Турцию, а оттуда — к нашим братьям в Советскую Россию. Те из вас, кто хочет покинуть остров и найдет в себе силы вынести предстоящие испытания, может присоединиться к нам. Побег будет трудным и очень опасным».

На лодке беглецы перебрались на материк и двинулись в сторону Турции.

Побег вызвал шок в правящих кругах Софии. О нем заговорили во всем мире. Пропущенное казалось невероятным даже Василу Колаарову, который уже находился в Москве. Можно было предположить, что фашистские власти убили узников и, чтобы обмануть общественное мнение, сообщили о побеге. Именно эту мысль и высказал Коларов на страницах «Правды». Но побег действительно свершился. Однако смертникам острова Святой Анастасии было еще далеко до свободы. В любую минуту они могли оказаться в руках болгарской полиции — тогда суд и казнь. Или в руках турецкой полиции — тогда либо экстрадиция — выдача болгарским властям и тоже гибель, либо турецкая тюрьма на бесконечно долгие годы.

Прежде всего надо было сориентироваться в обстановке. Турецкие газеты писали о побеге «шайки бандитов», строили дикие предположения и догадки, пугали обывателей, сообщили о маршруте беглецов, перестрелках с пограничной стражей.

Составив все сообщения, находившийся в Стамбуле 26-летний вице-консул СССР Семен Мирный сделал единственно правильной вывод: с острова Святой Анастасии бежали революционеры. Теперь их судьба, если они доберутся до Турции, зависит от него, от его смелости и находчивости. Мирный немедленно связился с Москвой, а затем начинает действовать, не дожидаясь, пока беглецы доберутся до Стамбула. «Навстречу беглецам надо послать верных людей. Но кого? Только друзей-болгар. Прикинув, где сейчас могут быть смертники, он приходит к выводу, что они в центре Анатолійской долины, где-то у перевалов. Ночью из Стамбула люди уходят навстречу беглецам. А Мирный отправляется к вали — губернатору Стамбула.

И никто не знал, как тяжело ему было в тот день. Накануне он получил из Софии через Москву письмо и фотографию Невялы Гечевой. На него смотрело измученное суровое лицо революционерки, не-

давно выравнявшейся из софийской тюрьмы. На руках у Невяны был годовалый младенец.

Мирный не встречался с Невяной с тех пор, как протиснулся с нею апрельским вечером 1920 года на горе Витоше в Софии, и так не увидел ее до конца своих дней.

Забегая вперед, скажу, что в марте 1971 года в квартире Мирного на Калевской улице в Москве раздавался звонок. Дверь открыл Мирный. У порога, медала, как бы не решаясь войти, стоял человек средних лет. Он изучающе посмотрел на Мирного, а потом сказал:

— Вы Семен Максимович Мирный. Я узнал вас по фотографиям.

— Вы не ошиблись.

Наступила пауза, потом гость сказал:

— Я сын Невяны Генчевой, Георгий Найденов... Главным редактором болгарской газеты «Отечествен фронт» Георгий Найденов приехал в Москву на XXIV съезд партии как специальный корреспондент своей газеты.

Он передал Мирному последний привет Невяны...

Какие козыри в руках Мирного? И какие аргументы он может пустить в ход? Только один: между СССР и Турцией отношения неплохие. Но пока неизвестно, действительно ли находятся беженцы на территории Турции. Ведь этой неизвестностью может воспользоваться вали? Ему нет нужды спешить, он скажет: когда беженцы окажутся на турецкой территории, я попрошу Анкару. А что если там пойдут навстречу требованиям царской Болгарии и выдадут беженцев? Такое развитие событий надо предотвратить. Но как? Надо действовать сейчас, немедленно, не выходя из резиденции вали. И вот начинается сложный и осторожный разговор, прощупывание, намеки.

— А что если решить вопрос полюбовно? — предлагает Мирный. — В компетенции советского консульства предоставить политическое убежище эмигрантам. Зачем об этом вести переговоры с Анкарой, когда здесь рядом губернатор? Он может пойти навстречу просьбе советского консульства...

Губернатор — человек опытный, ему немало пришлось иметь всяких дел с иностранными дипломатами. Одних он опасается, других ненавидит, третьих почитает, к четвертым безразличен. Но свое отношение к советскому вице-консулу он сам до конца определить не может: Мирный не совсем обычный дипломат, он не застенчив на все пуговицы, как другие дипломаты. И это заставляет всегда быть с ним настороже.

А вице-консул продолжает:

— Вали — мудрый и просвещенный человек; он знает, что дарже султанская Турция не выдала царской России русского революционера Камо. Зачем же вали брать на себя грех и пятно противника свободы?.. Ну, а если царская Болгария потребует экстрадиции, то губернатор выразит сожаление, что не может этого сделать, ибо уже дал советскому вице-консулу согласие предоставить политическое убежище этим болгарам. Да и зачем вали брать на себя заботу о большой группе смертельно усталых, голодных и оборванных людей? Эти заботы возьмет на себя советское консульство.

Вали все еще размышляет, а время летит, и с минуты на минуту беженцы появятся в Стамбуле. И тогда Мирный бросает на чашу весов еще один веский аргумент:

— Ведь мудрый вали не должен ссориться со страной, которую уважает сам Кемаль Ататюрк. А Ке-

маль Ататюрк хорошо знает советского вице-консула. Кемаль и вице-консул — друзья...

В конце концов вали согласился с предложениями Мирного, выдвинув одно условие: он арестует беженцев, но сделает это не совсем обычно. Ночью они будут сидеть в тюрьме, а днем находиться в советском консульстве. И всем будет хорошо... А что касается отправки беженцев в Советскую Россию, то он будет смотреть на это сквозь пальцы.

Через горы, реки и лесные чащи беженцы шли на юго-восток. И пробирались на турецкую территорию — голодные, оборванные, израненные, обрешские.

В Москве долгие годы живет Лионилиа Ивановна Островская, в прошлом сотрудница консульства. Участник побега из тюрьмы на острове Свята Анастасия Борис Симов свидетельствует: «Лионилиа Ивановна была настоящая русская красавица — тоненькая, как березка, с голубыми глазами и русой косой. С ее лица не сходилась улыбка. Она вся дышала теплотой и глубоким состраданием к нам... Она была инициатором кампании по сбору средств в советской колонии для болгарских политэмигрантов, проезжавших через Стамбул».

С тех пор прошло полстолетия. Я прошу Лионилиу Ивановну рассказать о тех драматических событиях.

«Никогда не забуду этих людей», — говорит она, — то мгновение, когда они пришли в здание нашего консульства. Оборванные, грязные, истощенные, с горящими глазами, они вошли в большой светлый зал, стены которого были обнаты шелковой материей. Изумленно смотрели они по сторонам, не веря, что позади смерть, побег, невероятные лишения. Их отправили в баню, переодели, побрили, накормили... В консульстве и торговле тогда работали Петр Павленко, будущий писатель, Наташа Красина, племянница Леонида Борисовича Красина, Шавердян, уполномоченный комиссии по репатриации армян, а потом председатель Совнаркома Армении, и много других интересных людей. Мы ли на минуту не отходили от наших болгарских друзей».

После первой встречи был торжественный обед и приветствия. Мирный был краток: «Товарищи, дружба между русскими и болгарами имеет старые традиции. Она будет продолжаться и впредь. Желаем вашему народу испытать счастье свободы».

Теохар Бакирджиев ответил: «Дорогой товарищ Мирный, позволяйте от имени моих товарищей поблагодарить вас и всех сотрудников консульства за теплую, братскую заботу о нас. Мы счастливы, что находимся здесь, на этом маленьком кусочке священной советской земли... У болгарского народа высокой боевой дух. Рано или поздно Болгария будет социалистической!»

После ужина все сорок три беженца, как и было договорено с губернатором, отправлены в тюрьму. Там они переночевали, а утром их выпускали, и они явились в советское консульство. И снова были бесконечные рассказы о пережитом в царских тюрьмах, о будущей борьбе.

А из Одессы, дымя всеми трубами, на предельной скорости шел к турецким берегам пароход «Ильич». Августовским утром 1925 года смертника острова Свята Анастасия подымали на палубу советского парохода, и семнадцатого августа их встречала Одесса.

Прошло еще несколько месяцев, и Москва решила направить Мирного на работу в Норвегию. Семен Мирный должен был оставить Стамбул уже в начале 1926 года. Георгий Димитров направил ему одно за другим несколько писем с просьбой остаться хотя бы еще на несколько месяцев в Турции. Вот одно из этих писем, посланное 1 марта 1926 года:



Александра Михайловна Коллоптай и Семен Максимович Мирный. Норвегия. 1928 год.

«Дорогой товарищ Мирный, очень обеспокоила Ваша просьба об освобождении Вас из Константинополя. Это может расстроить всю нашу работу. Я уверен, что в данный момент не найдется другого товарища, который с таким умением и усердием смог бы продолжить Вашу работу. Не сможете ли Вы остаться в Константинополе еще на несколько месяцев? Подумайте об этом и, если возможно, сделайте это. Я Вас прошу настоятельно от имени Болгарской Коммунистической Партии».

С согласия Москвы просьба Георгия Димитрова была, разумеется, удовлетворена. Мирный задержался в Стамбуле еще на полгода. Он выехал в Москву в июле 1926 года, а затем был назначен первым советником советского полпредства в Норвегии.

Через сорок три года после описанных событий Семен Максимович Мирный по приглашению Народной Республики Болгарии прибыл в Софию. Председатель Президиума Народного собрания Георгий Трайков вручил ему высшую награду страны. После торжественного приема Мирный отправился по памятным местам. В Софийском университете стоял гул от молодых голосов. Хозяевами здесь были внуки тех, кто сидел в тюрьмах и казематах царского режима. Семен Максимович заглянул в аудиторию, где когда-то слушал лекции.

В Варне его с объятиями встречали друзья, их дети, внуки и правнуки. Толпа загрохотала весь перрон, и наблюдавшие эту встречу тихо спрашивали: кто приехал, министр или кто повыше? Им ответили, что приехал большой и верный друг. И люди понимающе кивали головами.

Он, конечно, поехал в Бургас, к турецкой границе, туда, где в море виднеется скалистый остров. Был тихий летний вечер. Легкие волны пели свою вечную песню. Рядом с ним стоял восемь человек. Всего из сорока трех. Остальных уже не было...

Прах Семена Максимовича Мирного покоится в колумбарии старых большевиков на Новодевичьем кладбище, и многие спешат сказать о нем то, что не сказали и не досказали при его жизни. Телеграфировали в Москву те, кого он спас:

«Глубоко скорбим о смерти нашего дорогого товарища Семена Максимовича Мирного. Его интернационалистическая революционная работа всегда жила и будет жить в сердцах сорока трех коммунистов, которые бежали из тюрьмы острова Святая Анастасия в 1925 году. Поклон перед его светлой памятью».

Центральный комитет борцов против фашизма телеграфировал Советскому Комитету ветеранов войны: «Центральный комитет и тысячи участников борьбы против фашизма в Болгарии выражают искреннее соболезнование по случаю смерти Семена Максимовича Мирного. Болгарскому народу он был известен своим отношением революционера и интернационалиста, оказывая большую помощь болгарским антифашистам и особенно болгарским политэмигрантам в 1919—1925 годах... Болгарский народ потерял большого друга. Его жизнь будет служить светлым примером для болгарских трудящихся и борцов против фашизма и капитализма».

Время не в состоянии затмить память о коммунисте-борце. Идут и идут письма в Москву на Калаяевскую улицу. Идут письма сестре Мирного Еве Максимовне. Из Софии пишет Тодор Чаков: «Я всегда буду хранить память о Семе Мирном, нашем мужественном брате». Делятся своими воспоминаниями о нем офицеры и солдаты Великой Отечественной войны, говорят о его мужестве, скромности и верности долгу. Вспоминают и те, кто долгие годы работал бок о бок с ним в Ленинской библиотеке в Москве и лишь теперь с почтительным изумлением понял, что именно он собрал там второй в Европе по значимости и масштабу фонд скандинавской литературы. И вот еще одно послание из многих: «С чувством большой любви и уважения я вспоминаю свои встречи с Семеном Максимовичем Мирным и высоко ценю его личный вклад в дело укрепления Советского государства и международного признания выдающейся роли Великой Октябрьской социалистической революции».

Это строки из письма Ивана Дмитриевича Папанна.

Да, память людская продолжает жизнь человека!

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ О БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ...



Здравствуйте!
Я постоянная ваша читательница. Многие интересуют меня в вашем журнале. Но вот уже год, получая «Юность», я просматриваю ее первым делом в поисках разговора о любви. Думаю, эта тема интересует не только меня. Читая откровения девушек, молодых женщин, невольно задумалась о своей жизни. И мне захотелось рассказать о настоящей большой любви...

Меня зовут Вия, мне двадцать лет, по национальности я литовка (исходя из этого, примите извинения за возможные стилистические ошибки).

Итак, я литовка, и если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что я уеду из Литвы в Сибирь с человеком, которого буду звать меньше месяца, я бы рассмеевалась тому в лицо. Более того, год назад я собиралась замуж совсем за другого человека.

Жила я в городе Вильнюсе, училась в институте, собиралась выйти замуж. Я любила своего жениха, он казался мне очень умным, уверенным в себе, добрым. Он был старше меня на десять лет и считался довольно известным, по крайней мере подающим большие надежды врачом-кардиологом.

Родители находили его подходящей партией для единственной и ненаглядной дочери. Готовилась свадьба. Но не все бывает так, как задумано. Я заболела. Собственно говоря, оказалось, что я была больна давно, но спорт, туризм, гимнастика откладывали обострение. Однако в конце концов, сколько я ни старалась пересилить боль в суставах, пришлось обратиться к врачу. Чувствовала я себя все хуже и хуже, временами хромала, трудно было согнуть руки в локтях, быстро повернуть голову. Положили меня в больницу. Жених мой пришел навестить меня только один раз. Как врач, он понял лучше кого бы то ни было, что болезнь моя навсегда или по крайней мере надолго, и абсолютно здоровой мне уже не быть.

Я не плакала, а в голову лезли дурацкие мысли о том, что как женщина я уже не смогу никого привлечь. Для меня эти мысли были тем более тяжелыми, что с детства все воспринималось мной внешне, я сама гордилась ею и умела этим даром пользоваться. «Не родись красивой, а родись счастливой», — это я поняла уже теперь, а тогда это было настоящим потрясением.

Выписалась я из больницы в июле, это самый чудный месяц на побережье Балтики, но ни о каком пляже, купании в то лето для меня и разговора быть не могло. Более того, пришлось взять академический отпуск в институте.

И вот однажды, обозленная на себя, а в особенности на окружающий мир,ковыляла я по улице: это был тот редкий случай, когда мама отпустила меня одну пройтись по городу. Как всегда, неожиданно с неба закапало, потом полило. Простывать мне нельзя ни в коем случае, я кинулась в ближайший подъезд, споткнулась на ступеньке, могла разбиться, но тут меня подхватили.

Так я познакомилась с Юрой, моим теперешним мужем. Он сейчас, когда вспоминает наше знакомство, говорит: «Я страшно перепугался, когда ты расплакалась». А я и вправду расплакалась, впервые за время болезни, расплакалась от беспомощности и от боли (я хоть и не упала, но успела повернуть ногу). Короче говоря, пришлось Юре после дождя оттранспортировать меня домой. А когда через три недели я сказала, что уезжаю с ним в Сибирь, дома была истерика. Мама моя очень нервная, и многие вещи, которые для меня стали предрассудками, для нее живы и реальны. Сибирь для нее — это заснеженный край, где ходят медведи, и она никак не хотела отпускать свою единственную дочь в эти суровые места. Но я уехала. Первый раз в жизни сделала по-своему, не послушалась маму.

Я счастлива, я не боюсь это сказать. То ли от перемены климата, то ли от большой Юриной заботы состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я не потеряла год — учусь в институте на третьем курсе. Юра, он химик по специальности, работает на большом химическом заводе. Детей мне пока не разрешают иметь, но я все равно пойду на все, лишь бы иметь ребенка, пусть не сейчас, через год, два.

Я часто задаю себе вопрос, почему Юра полюбил меня, злую, больную и не очень-то теперь красивую? Ответ, видимо, только в большой душевной доброте моего Юры. Он много работает, устает, но всегда помогает мне по хозяйству. Впрочем, скорее я ему помогаю, ведь из меня хозяйка липовая — полы, окна мыть не могу, сумку средней тяжести от рынка не донесу. Меня это уручает — хочется заботиться о нем, создавать в квартире чистоту и уют. Юра очень сердит, если я пытаюсь сделать что-нибудь, по его мнению, не соответствующее моим физическим данным, называет это «партизанскими вылазками», и это единственный пункт наших разногласий. У нас много друзей, мы часто ходим в театр, кино, я полюбила Сибирь, хотя зимой мне, непривычной к морозам, пришлось туго. Но тут помогли родители мужа — сшили мне огромную лисью шапку с ушами и оленьи унты.

Скоро годовщина нашей свадьбы. Если к тому времени я окончательно помирюсь с мамой — первые шаги в этом направлении уже сделаны, — то поедем в гости в Литву. Ну вот и все.

Да, еще несколько слов о том, для чего, собственно, я написала это письмо. Я встречаю многих девушек, которые боятся делать в любви решительные шаги: взвешивают, обдумывают материальное положение будущего мужа, смотрят, подходящие ли у него родители. По-моему, это глупость — если любишь, можно пережить все, можно даже побороть болезнь, если любимым в этом поможет.

Еще два слова. В своих письмах в журнал девушки писали о своем отношении к физической несовместимости и к измене. Я думаю, что настоящая любовь исключает физическую несовместимость, а об измене — это более сложный вопрос. Мне кажется, мой муж может изменить, только если полюбит другую, и тогда я не стану ему мешать, уйду в сторону, уношу в сердце только глубокую благодарность за все, что он для меня сделал. Впрочем, если я ему нужна сейчас, далеко не здоровая, требующая много заботы, то когда я совсем выздоровею — а я обязательно выздоровею и у нас будут дети, — то я ему тем более буду нужна, ибо его заботами я ожидала, повернула в себя и в возможности любви.

До свидания.

г. Ангарск.

Вия А.

Я плыву по великой азиатской реке на стареньком катере. Под тентом накрыт дастархан с узбекским пловом, жареной рыбой, дынями и виноградом. Спокойная глинистая вода тихо плещется за бортом. Но изредка до слуха долетают приглушенные расстоянием залпы.

— Что это?

— Аму берега обрушивает,— отвечает Александр Александрович Корниенко, начальник огромной стройки, куда я, собственно, и стремлюсь попасть.

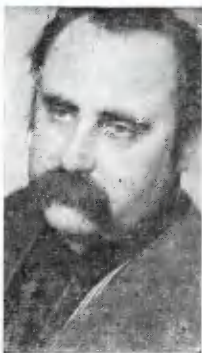
— А часто так?

— Всегда.

И правда, гульные залпы, сопровождаемые всплеском, слышались на протяжении всего пути. А так река была спокойной. Спокойным и приятным было и путешествие. Волновалась лишь наш капитан. Вскликала, бежал в рулевую рубку или на корму — промерять глубину. И это понятно. Фарватер Аму столь же непостоянен, как и русло. Ее воды несут тысячи тонн ила, который ежeminутно оседает на дне и по берегам. Этот плодородный пористый грунт легко уступает потом нажиму лопаты или удару кетменем, но столь же легко поддается лобовым ударам воды. Аму много шире Болиги, и ленивое спокойствие ее призрачно. Эта река сметет любое препятствие, любой завал, либо выскочит вдруг из своего русла и шарахнется в глубь пустыни, оставив без воды древнейшие оазисы, знавшие расцветы и падения многих государств Востока.

Но скоро Аму присмирееет. К 1975 году будет закончено Тяньмунское водохранилище. А еще через год в испанский котлован хлынут потоки Амударьи. По запасам воды новое море в пять раз превысит все существующие на территории Узбекистана водохранилища вместе взятые и выверет у пустыни почти миллион гектаров плодородной земли.

Рядом со мной сидели люди, которые хорошо изучили повадки своенравной реки и проектировали для нее котлован, способный смирить и обуздать эту среднеазиатскую тигрицу». Тигры, кстати сказать, лет двадцать назад еще водились в этих краях. Речные туган — крошечное царство перешитанной зелени — давали им надежный приют. Но слишком уж бесспокоен, особенно в последние годы, стал человек на Аму! Катера, пароходы, лайнеры, баржи... Грохот, шум, свист. Да еще стрекочущие в небе вертолеты. И высокоскоростные вышки, постав-



Ермей
ПАРНОВ

ТЕКУЧИЙ МИР ГОРЯЧИХ ПЕСКОВ

Рисунки В. ИВАНОВА.



ленные в самых заповедных местах...

Царственный зверь покинул амударьинские туган. Остались лишь хищные камышовые коты, да дикие кабаны, да фазаны.

Туган — это джугаги пустыни. Они тянутся на многие километры вдоль берегов Аму и Сыр, Мургаба и Теджена. Заросли голубоватого тамариска, расцветают уже по весне крупными сиреневыми соцветиями, переплетены тугими лианами ломоноса. Серебристые листья лоха, чьи соцветия издают сладчайший, слышимый на сотни метров запах, скрывают стальные колючки шипиля, способного разодрать в клочья даже кирзовые сапоги. Но тот же шипиль — лучшее топливо для тандыров. Вспыхивает, как спирт, и горит долго и жарко, пропитывая хлеб неповторимым своим ароматом, диким и пряным.

Туган — это непроходимые джуги, туган — это теннистые, похожие на искусственные парки леса. Высокие тополя, плакучие ивы и лох перемежаются красными полянами солорок и полосами шумящего гостника, в котором бродят выводки диких свиней и сонно плещутся громадные сомы. Зеленый сумеречный мир, где неожиданно открываются, как изумленные очи, синие озера, окруженные дрожащим под ветром серебром эриантуса. Осенью на этих заколдованных озерах и старицах устраивают себе привал огненные фламинго. А потом розовые желтоклювые пеликаны прилетают сюда из заморских краев, когда настает пора возвращения.

В тугаях можно встретить косяки лан подстеречь редкий миг, когда болотные змеи свиваются в огромные шипящие клубки. А хорезмские старики уверяют, что в зарослях все еще живут разбойники-леопарды, уносящие по ночам овец из кышлаков. Мало ли кто может скрываться в тугаях.

В сплошной стене лиан и колючек нет дверей. И привычных троп нет в джунглях пустыни. Лишь запутанный лабиринт зеленых труб, по которым животные идут к водопоям. И даже над арыками не видно неба, потому что метелки эриантуса смыкаются в стрельчатую арку, как своды готического собора. Можно часами плыть по каналу на лодке без всякой надежды ступить на берег. Берега нет. Только тростник и эриантус. И воды тоже нет и неба. Лишь темный петляющий коридор. Где-то хлопают большие рыбы, кричат

птицы, и какие-то зверо ламают тростник. Все это можно лишь слышать. Увидеть ничего не удается. Разве что пятачок жирно блестящей воды среди зелени. Знай себе протакивай лодку шестом. Вперед и вперед... Но это, так сказать, романтическая сторона, привлекательная. Есть и другая. Еще до того, как закаты солнце и летучие мыши станут бесшумно чертить в вечернем воздухе стремительные фигуры, над водой повисают дымящие рыжеватые облачка. Они танцуют по ветру или неподвижно вдруг повисают над палубой, чтобы через мгновение обрушиться беспощадной, всепожирающей атакой. Это гнус, москиты и еще бог знает кто. Спасения от них нет. Безотказный репулин не сработает. Крылатые кровопийцы пустыни по лютости преследуют своих сородичей с суровых сибирских рек и заполярной тундры. Нигде меня не кусали более жестоко, чем в тугаях. Разве что на берегу Каспия, среди поросших осокой шувелянских песков, то есть опять же в пустыне.

Институт зоологии и паразитологии Узбекской Академии наук ведет большую исследовательскую работу по борьбе с гнусом. Пробуют травить места выплода химикатами, подсекают в ярыги живородящих тропических рыбок, но ощутимых результатов пока не видно. Мalariaйного комара ликвидировали, что называется, под корень, а простого не могут. Видимо, за эту проблему следует браться с другой стороны. Надо не комара уничтожать, а защищать человека. Тогда все будет в полном порядке. Ведь сам по себе комар нужен природе. Он необходимое звено великой пищевой цепи, в котором участвуют насекомые, рыбы, зверо, птицы и ковенно мы, люди. Исчезновение комаров, как правило, тяжело отражается на урожае. Да и комар кусает нас не со злобы, не из-за какого-то порока в воспитании. Так уж он создан, что нужна ему для размножения теплая кровь высших животных. И ничего здесь не поделаешь. Остается надеяться, что ученые найдут выход, который устроит всех.

Наш пароходик пристал к деревянному пирсу, прилепившемуся к высокому обрывистому берегу со следами свежих обрушений. По узенькой тропке, заросшей колючими травами, мы поднялись наверх, где за шлюзом отводного канала нас уже ожидали машины.

Отсюда на строительство водохранилища Тюя-Муюн лежала прямая дорога. Раскаленный пыльный грейдер среди пустыни. Причем настоящей пустыни, в самом традиционном понимании этого слова — с песком и барханами.

Это может показаться странным, но песка в пустынях не так уж и много. Пустыни СССР раскинулись на территории примерно в три миллиона квадратных километров. Но лишь четвертая часть бескрайних этих просторов занята песками. Примерно такое же соотношение соблюдается и в других частях мира. Даже знаменитая Сахара не составляет здесь исключения.

Сахара — это прежде всего хаммады — каменные равнины и еще сериры — равнины, покрытые щебнем и галькой. И только шестую часть великой пустыни занимают песчаные пространства — эрги. Много меньше, чем у нас. Пески эти неподвижны, они намертво схвачены цепкими корнями скудной, но выносливой пустынной растительности.

Иное дело барханы. Но и в Сахаре они очень редки. Эти материковые дюны пустыни, холмы сыпучего песка, навеянные ветром и не закрепленные растительностью, не так-то просто увидеть. Одноч-

ные барханы на плотном грунте не более чем песчаные горки полуулучного или серповидного профиля. Они не очень-то примечательны. Но там, где песок уходит вглубь, образуются сплошные барханы. Все зависит от ветра: если дуют устойчивые ветры, создают продольные барханные гряды, барханные цепи; если в воздухе сталкиваются и смешиваются противоборствующие ветры, появляются барханные пирамиды самых разных очертаний, чаще всего похожие на звезды.

Не закрепленные растительностью барханы вечно движутся со скоростью от десяти сантиметров до пятидесяти метров в год. Медленно, но упорно ползут они по пустыне. Кочевники обычно разбивают привал у подножия барханов, потому что им издавна известно (теперь это знают и ученые), что бархан может хранить в себе пресную воду. Недаром казахи говорят: «Кумбар-су бир» (где песок, там и вода). Подобно губке, всасывают песок животворную влагу и долго хранят ее в своих запечатанных кладовых. И вот что интересно! Вода эта почти не испаряется в сухой воздух пустыни. Ее плотно удерживают капиллярные силы песков. Зато корни растений получают ее совершенно беспрестанно. Оттого так буйно и расцветают барханы весной. Всего пять дней бывает снег в Каракумах, и очень редко идут там дожди. Но и этой малости песчаной пустыне достаточно! Не в пример каменным пустыням Казахстана, где осадки довольно обильны и равномерно распределены по временам года, песчаные барханы расцветают буквально в одну ночь. Это праздник жизни, буйный, благоухающий и такой короткий...

С мартовским солнцем пустыня покрывается зеленой и цветочными нежными чапечками всевозможных оттенков и форм. Изумрудный селин, алый гусиный лук, тюльпаны, мятаик и астрагал — все это тянется к жаркому небу, торопится жить, оставить после себя семена для будущих всходов. Особенно хороша кара-ияк — нежная короткая травка с могучей корневой системой, способной высосать всю воду до последней капли. Это первый весенний корень. Изголодавшиеся за зиму овцы быстро приходят в норму на кара-ияке. Это для них и первойшая еда, и безотказное лекарство, и лучшее питье. Отары, которые пасутся в зарослях ияка по месяцам обходятся без водопоя. Необходимый запас воды чудесная травка уже насосала в свои клетки из песка.

Но коротко, эфемерен этот праздник жизни. Недаром пустынные пастбища носят названия эфемерных. Они ведь и исчезают за одну ночь. Словно никогда их и не было. Ияк и живородящий мятаик, алые малькольмия и красивые мермери, золотистый лютик, вероника и астрагал — эфемеры, поденки. Все, что пощадят животные, будет уничтожено вскоре беспощадным солнцем. Барханы выгорят, и лишь темный налет останется на песках, да и его сдует первый же ветер. Так исчезают весенние пастбища. Тенистые зопичные ферулы, песчаные акации, черные и белые саксаулы тоже примут участие в языческом пресе весны. Но после короткого цветения припадают, засохнут, как неживые. И все же от них хоть стволы да колючие ветки останутся. От цветов же — ничего. Только невидимые семена — залог того, что вновь повторится неистовое пришествие природы, что и на другой год обгартятся пустыня чистой кровью маков, золотом и порфиром тюльпанов.

Да, такое увидишь лишь в «постоящей» пустыне, песчаной, ну разве что еще в желтой — лессовой. Суровые черные камни не знают и кратковременно взрыва жизни.

В Средней Азии пески называют «кум». Отсюда Каракум и Кызылкум, черные и красивые пески. Кум — это «эрг» Сахары, текучий, переменчивый мир, подвластный ветру и случаю. Непривычному глазу он может показаться безжизненным, но это не так. Жизнь в пустыне не кончается с наступлением жаркого лета. Змея, ящерицы, черепахи, лисы, шакалы, зайцы никогда не покидают родных краев. Пустыня не вымирает. Она лишь притворяется безжизненной, потому что все живое в ней переживает дневную жару.

Делали такой опыт: ящерицу призывали на открытом солнце и сидели, сколько она выдержит. Ящерица погибала уже через несколько минут. Змея продержалась не дольше, а черепаха — что-то около часа. Вот что значит жар пустыни, ее раскаленный песок. Человек на открытом солнце тоже долго не проживет, от силы часов десять—двенадцать. Ему тоже надобно затанцовать, переждать жесткую снесту.

Любопытно ведут себя животные в жару! Змея-стрела в тени держится и старается не покидать одобованный ею сухой куст, а если и окажется вдруг на песке, то норочит поменьше его касаться. Удавчик же вообще под песком ползает, неистовствует, оставляя подземный причудливый след. И ящерицы без нужды на поверхность не вылезают, а черепахи, так те вообще зарываются вглубь и впадают в спячку до осени. Зато какое шествие устраивают они по пробуждению! Бывает, что многие тысячи этих живых танкеток совершенно перегораживают движение на дорогах! И водители могучих самосвалов жаут, пока пройдут черепахи. Им столько надо успеть сделать за свою короткую весну! Растения пустыни зеленеют дважды в году: весной и осенью. Животные соизмеряют свой жизненный цикл с этими важнейшими датами песчаного календаря. Некоторые из них, подобно черепахам, едят лишь в эти короткие дни изобилия и прохлады. Зато уж наедаются как следует. Пустынные травы намного питательней клевера, люцерны и прочих даров щедрой нашей умеренной полосы. Кроме того, они, постоянно сменяя друг друга, никогда не оставляют животных совершенно без корма. Что-нибудь да найдется в пустыне съедобного в любое время года. Даже зимой, когда наши леса, поля и горы покрывает снег и пропадает всякая зелень. Поэтому и пришли люди в пустыню еще в незапамятные времена. Став пастухом, древний человек, видимо, отчаялся найти зимние пастбища для своих табунов и отар. Он, наверное, перепробовал все, пока не набрал наконец на скромные травы пустыни, которые на весь год обеспечили животных подножным кормом. Особенно богаты такими травами Кызылкумы. Недаром только узбекские каракулеводы держат там свыше шести миллионов овец.

Мы переделываем пустыни, мы хотим, чтобы они еще лучше служили нашему хозяйству. Но мы не собираемся их уничтожить, снести, как говорится, с лица земли. Мы бы не стали так делать, даже если бы это оказалось в наших силах. Потому что пустыня нужна человеку, нужна земле. Для регулирования испарений необходимы каменистые россыпи, а участки ветронутной, первозданной пустыни — незаменимые пастбища. Пустыню следует очень бережно охранять, поддерживать ее особый «пустынный суверенитет». Все хорошо на своем месте. Недаром туркмены выпалывают с такыров любую траву, потому что такыр отчаянно собирает

воду. И если какое-то количество такыров все же сохраняют и пускают под земледелие, то тем ценнее становятся остающиеся. Дороги травы в песках, но вода всего дороже. Пусть же останется голым водосборник такыра.

Песчаная пустыня, которая даже зимой дает корм скоту и толпного человеку, не всегда милостива. Истинные ужасные дикости растительности пески, когда задувает ветер. Мы с детства знаем о страшном самуме, о неистовом, все иссушающем хамсине или о коварном афганце, который обрушивается на хлопковые плантации тысячи тонн песка. В Термезе я обратил внимание на то, что окка окраинных дохов матовые. Первой мыслью было, что это из-за солнца: все же рассеянный свет тиранит не так жестоко, как расплавленное олово безоблачного неба. Но знакомый пограничник очень быстро мне все разъяснил.

— Это работа афганца, — сказал он, постучав ногом по шершавому стеклу. — Песочек что твой наждак.

Песчаный ураган подобен затмению солнца и землетрясению. Он сбивает с ног, душит, слепит, высасывает влагу из каждой поры. Нельзя вздохнуть, горло опалено, уши забиты и режь, страшная режь в глазах.

Плохо приходится человеку, если застанет его в пустыне песчаная буря. Благо еще животные задолго чувствуют ее приближение. Тревожное их поведение как бы предупреждает людей о близкой опасности. Жители пустыни хорошо знают приметы афганца. Они вовремя могут поэтому укрыться в юртах, домах, загнать отару в овчарни. Иное дело кочевники двадцатого века: геологи, шоферы, строители. Кроме основной профессии, им нужно еще крепко усвоить законы пустыни, изучить ее тайны, но очень красноречивый язык.

Бывалый человек не пропадет в пустыне. Он всегда сумеет найти воду и пропитание, отыскать по звездам дорогу домой. Но непростое это дело стать здесь бывалым человеком. Для этого мало одного знания. Нужно еще и любить пустыню. Очень любить. И верить, что сердце ее все же стучит под песками.

В Кызылкумах недалеко от Бухары я встретил давнишнего своего приятеля Колю Рощина. Он москвич, геолог-нефтяник, кандидат наук. Насколько я был в курсе его дел, он последние несколько лет работал на тему, весьма далекой от Средней Азии. Да и диссертацию свою сделал на тюменском регионе.

— Как ты здесь очутился? — спросил я, когда мы ушли в полутемной палатке нехитрое чаепитие.

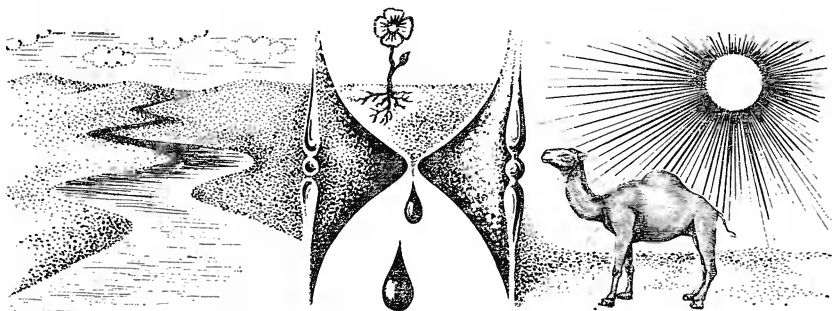
— И сам не знаю, — пожал плечами Коля. — На старое потянуло.

— Ни с того ни с сего?

— Почти... Был, понимаешь, прошлой осенью в Новосибирском Академгородке. У них там богатый Рерих в картинной галерее. Вещи-то все известные! — Он развел руками. — Знаю я их. А тут вдруг словно в первый раз увидел. И так захотелось в пустыню, что сердце защемило. Вспомнилось вдруг, как она цветет, как пахнет ветер полынью. И дали вечерние, грустные, синие... Я тут после института работал. Три года. Да и студенческие практики тоже. Одним словом, такая меня тоска обуяла, что и словом не скажешь!

— Ты же вроде уже докторскую начал?

— А ну ее! Жизнь-то проходит! Пройдет еще десять — пятнадцать лет, и я уже не выхлус в пусты-



ню. То да се, рутина всякая... И силы будут уже не те. Кроме того, работу-то и здесь сделать можно. И какую!

- Думаешь, найдете нефть?
- Не сомневаюсь. Она тут.— Он постучал старым кедом по брезентовому полу.— Или там,— кивнул головой в сторону откинутого полого.
- Переход прошел безболезненно?
- Не совсем.
- Что так?
- Потерял рублей сорок. Нынешняя моя фирма оказалась ниже категории... А так все о'кей.
- Значит, все хорошо и ты доволен?
- Доволен? Не то слово, старик Я живу! Хочешь съездить за грибами?
- А есть?

— Уйме! Хотя косой коси. Грибы и тюльпаны. И еще была у меня одна любопытная встреча. На Узбое, в каменистом русле, откуда ушла вода. Я познакомился там с Рустамом Касимовым — змееловом. Он только что спустился с гор, где, как мне говорили, есть удивительно синие озера с чистой, но мертвой водой. Ложе такого предельно засоленного озера — это сплошная друза, сросток кристаллов гипса. Причем отдельные кристаллы вырастают величиной с ладонь. И все это сверкает, искрится, переливается в преломленных сквозь воду лучах солнца. Зрелище, как уверяли восторженные очевидцы, совершенно фантастическое, завораживающее. Я спросил Рустама об этих озерах.

— Знаю. Слышал,— кивнул он.— Но не видел. Когда было. Преследовал змею. Два дня. Ни минуты роздыху.

- Гюрза?
- Кобра.
- Два дня преследовать кобру! Как же вы не потеряли ее? Вы что, совсем не спали? И вообще ночью... Она же могла уйти.
- Никуда она не денется. Я же знаю все ее повадки. Это бесхитростная змея, благородная.
- Простите, но мне это не очень понятно. Мало ли щелей и нор... И вообще скалы, пустыня. Или, быть может, вы не теряли змею из виду?
- О, если бы! Тогда бы мне не понадобилось двух дней. Хватило бы десяти минут. Нет, я сторожил ее. Сторожил и преследовал.
- А как остальное ушло?— Я покосился на брезентовый мешок, небрежно брошенный в угол.

— Ничего... Есть, — односложно ответил Рустам.— Вы не подбросьте меня до ближайшей столовой? Ужасно стосковался по простой человеческой еде.

- А что вы берете с собой на охоту?
- Кусок лепешки и флагу с холодным кок-чаем.
- И это все?
- Все. Когда ты преследуешь змею, ты должен быть быстрым и подвижным, как она. Поэтому я стараюсь не брать с собой много груза. Хватит мешка и палки с крючком.
- На одном хлебе далеко не уедешь.
- Почему? Хороший хлеб — это все, что мне надо. И чай. Когда есть хлеб и чай, я доволен. Большого и не надо.
- Когда есть? Значит, есть не всегда?
- Если далеко зайдешь. Два дня три случалось обходиться без хлеба.

- А вода?
- Я знаю места своей охоты. Все колоды и родники.
- И такеры?
- Да. Но туда я иду только после дождя.
- Нелегкая же у вас работенка! По три дня ничего не есть...
- Нет. Я ем. Голодный человек здесь быстро теряет силы.
- Но вы же сами сказали, что хлеб бывает у вас не всегда.

— Хлеб — да. Но есть грибы — я сушу их на солнце, жую побегов ревеня, собираю янтарный сахар.

- Янтарный сахар?
- Некоторые виды верблюжьей колючки выделяют сахаристые соки, которые застывают на ветках в виде белых крупинок. Это исконное у нас лакомство. Его и на базарах продают. Я еще в детстве ходил в пустыню за сахаром... С деревянным тазом.

- Но ведь все это весной, осенью, когда пустыня оживает...
- Верно. Именно тогда я и ухожу на охоту.
- Ну, а в скалах как же?
- Еда везде есть. На крайний случай можно есть термитов.

- Я слышал об этом.
- Я пробовал. Можно. Давленных с солью. Человек может есть все, что едят звери. Хотя бы тех же ящериц.
- А змеи?

— Змей — нет. Они слишком дороги. Каждый грамм сухого яда — это сто шестьдесят рублей. Драгоценные лекарства. Валюта.

— Правда, что термиты погибают под открытым солнцем всего за несколько секунд?

— Правда.

— И ведь живут в пустыне! Приспособились.

— Это их дом. И они знают его.

Встреча с Рустамом много значила для меня. Она помогла мне на конкретном примере четко осознать место человека в пустыне и роль пустыни в жизни людей. Привела как бы в систему все то, что я увидел, услышал, почерпнул из книг. И еще одно... Этот необыкновенный человек обострил мой интерес к змеям. Я был много наслышан о них, но ни разу не повстречал в пустыне ни кобру, ни гюрзу, ни эфу, ни шитморанника. Яшерич видел массу, даже «крокодила пустыни» — варана зем-зем, а вот змей — нет. Только их следы на песке. Мало змей осталось в пустыне, выбили их, переловили. Недаром Рустаму пришлось двое суток гоняться за коброй.

Вполне понятно поэтому, что, приехав в Ташкент, я поспешил посетить знаменитый змеепитомник Академии наук Узбекистана. Туда не очень охотно пускают гостей, особенно с фотоаппаратами. Директор вполне резонно возражал, что, во-первых, должен ознакомить меня с инструкцией, которую мне следует знать наизусть (последнее выяснится лишь на экзамене), а во-вторых, змей склонны к неожиданной атаке именно в тот момент, когда их пытаются поймать в видеокамеру. Здесь последовал обстоятельный рассказ о несчастном фотокорреспонденте, которого укусила кобра.

Но как бы там ни было, в вольтеры я все же попал. Меня сопровождал Василий Петрович Карпенко, опытный герпетолог, кандидат биологических наук.

— Человека в пустыне не нужно охранять от змей, — сказал он после того, как я рассказал ему, о чем и как собираюсь писать. — Нужно охранять змей от людского невежества. Это древнейшие жители земли, и они не должны исчезнуть. Змея когда кусает? Когда ей некуда деться. Она уйдет с вашего пути или предупредит о своем присутствии шипением.

— Эфа вроде шипит после того, как укусит.

— Верно. Но эфу — она свивается, как двойной грелки, и передвигается бок, бросками — легко

заметить и распознать. Для змеи укусы — это трагедия. Она бережет яд для охоты. Гюрза ужалил только тогда, когда на нее наступили или схватили рукой. Шитморанник — маленькая наша гремучка — долго шипит в бьет по земле роговым кобром.

— Одна змеелов говорила мне, что особым благородством отличаются кобры...

— Правильно говорила. Кобра никогда не бросится сразу. Она сначала встанет в угрожающую позу, зашипит, раскроет капюшон... Вот смотрите. — Он ловко подцепил стальным крючком молодую сильную кобру и бросил ее на пол. — Прежде всего она пытается скрыться.

Испуганная змея с тихим шелестом метнулась вдоль стены, ища хоть какое-нибудь укрытие, но крючок ласково и ненавязчиво завернул ее. Она заструилась по полу, как маслянистый ручеек, но и здесь ее ждала стальная преграда. Тогда кобра зашипела и, грохоча чешуйками, приподняла голову, чуть-чуть обозначив знаменитый свой капюшон. Дальше в своих угрозах она не пошла. Зато сделала несколько ложных выпадов и, не раскрывая пасти, атаковала палку.

— Это она играет, — сказал Карпенко. — Даже ову, которая могла растоптать ее, кобра не укусит. Она ударит ее головой — вот так, чтобы отогнать. Сколько раз меня бодали кобры!

— И ни одного укуса?

— Нет, однажды было. В вольтере. Не очень ловко схватил, да и отвлекся на разговор. А тут нужно внимание, сосредоточенность.

Он дал кобре обвить вокруг палки, легким фехтовальным движением прижал ее голову к полу и молниеносно поймал за шею. Змея конвульсивно дернулась, но герпетолог, бросив палку, второй рукой ухватился за хвост.

— Это самый ответственный миг, — он перевел дыхание. — Иначе она сломает себе позвоночник... Ну что ты, не бойся, бедная, сейчас я тебя отпущу.

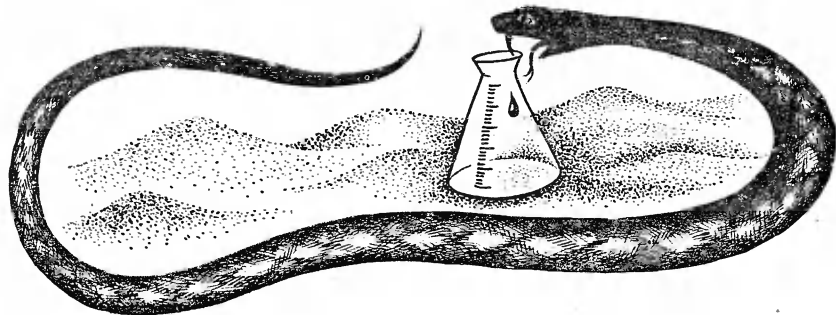
Кобра с хлопанием изрыгнула из анального отверстия ярко-желтую жидкость.

— Последняя попытка освободиться. Думает, что я от неожиданности разожму пальцы. Нет, не выйдет! Человек поумнее твоих естественных врагов, змеючка.

— Герпетолог, — уточнил я. — Кто-то другой может и отпустить от неожиданности.

— В этот момент она его и ужалил.

Кобра в его руках была неподвижна. Я осторожно погладил светлый ее живот, окаймленный зелеными, сиреневыми, коричневыми чешуйками.



— Для них каждый отлов — это такое переживание! Такое переживание! Я уж не говорю про взятие яда. Настоящее мучение для змей, когда ей разожмешь пасть — вот так — и упрешь ее зубы в бюкс.

Лаборант взял стекляшку и сунул ее под загнутые острые и полупрозрачные иглы. Словно капельки глицерина брызнули в стекло.

— Так их и доят? — спросил я.

— Нет, мы еще раздражаем виски электродами. Для более полной ядоотдачи. Жалко их, ох, как жалко! А что делать?

— Наверное, они скоро умрут?

— Нет. Мы добились, что змеи живут у нас до пяти лет. Это меньше, чем на воле, но все же ничего. Они заслужили хорошее обращение. Сколько людям спас жизнь змеиный яд! Вернул здоровье.

— Скоро его научатся синтезировать.

— Не очень-то скоро. Формула яда не постоянна. Мы разделяем яд с помощью электрофореза в агар-агаре на несколько фракций. И представьте себе, что даже у змей одного вида состав фракций различен. Это четко видно на хроматограммах. Две горбы одного пола и возраста, но пойманные в разных местах, дают разный яд.

— Специфика пищи, воды?..

— Видимо. Мы улавливаем разницу даже у змей, которые были пойманы в местах, разделенных расстоянием в пятнадцать километров... Ну, хватит тебе мучиться, хватит, спасибо, моя хорошая. — Он быстро швырнул кобру в террариум, где под горящей лампой слабо подергивал ланкой умирающий цыпленок, и захлопнул сетчатую дверцу. — Надо руки помыть. Ядом капнуло.

Лаборант бережно надел крышку, восковым карандашом проставил на стекле номер и убрал бюкс в холодильник.

— Ну что, пойдём теперь к гюрзам? — спросил Карпенко, тщательно вымывая руки. — Они у нас в открытых вольерах живут, почти что на свободе... Да, жаль змей. Змеи — это сокровище! Вот вы говорите о комплексном освоении пустынь... А о змеях разве думать не надо? Если хотите знать мое мнение, то я вам скажу вот что: нужно в полной неприкосновенности сохранить их местообитание. Самые змеиные уголки трогать нельзя. Пусть будут там заповедники, нетронутые участки пустыни. Это, если угодно, выгодно даже с точки зрения голого чистогана. Змеи дорожат каракуля, дорожат лошадёй, нефти и даже золота. И золота в земле еще много, а змеи... — Он махнул рукой. — Каждый дурак поровит убить змею! Будто худшего врага! На что же это похоже? Законы приняты специальные об их охране, в газетах об этом пишем, по радио... Учтите, это ваша обязанность, пишущих-то людей, довести до сознания каждого: береги змею!

Я пообещал ему сделать все, что в моих силах. Было немного стыдно и не очень удобно, что ради любознательства незнамого в общем-то гостя кобра подверглась внеочередной мучительной процедуре. У нее и без того несладкая жизнь.

чуть не умер от укуса щитомордника. Долго болел, исходя почечной кровью. Знание, а тем более понимание даются дорогой ценой. За все нужно платить. И по самому большому счету. Я рад, что видел, как ловят змей и берут их в руки, как прижимают к их колючим головам электроды, как змеи кашляют ядом в пароксизме мучительных судорог. Мне было жаль их, и я понимал, что люди, которые ради меня делают сейчас пусть архипривычную работу свою, все же рискуют. Иногда ведь достаточно, чтобы крохотная капелька брызнула на незаметную черепашку... И тем не менее мне нужно было все это видеть собственными глазами. Иначе я бы много не понял и не сумел бы потом рассказать другим.

— А какая вам, собственно, разница, где вы увидите змею — здесь или в вольере? — спросил вдруг Карпенко. — В соседней комнате у нас полно гюрз.

— Мне хочется видеть, как их ловят на воле. Среди камней. В зарослях полыни и чертополоха. Если только можно, конечно.

— Можно. Хотя в вольере не совсем так, как на природе, но очень похоже. Неспециалисту разницы не уловить. Если хотите сами залезть к змеям, то надежные сапоги. Без сапог нельзя.

С тех пор я больше нигде не видел змей. Разве что в зоопарке. Впрочем, одну мне все же пришлось встретить и в естественной обстановке. Однако в естественной ли? Это была гюрза, убитая или оглушенная взрывом — точно не знаю, — на Тюя-Муе. На две будущего пресноводного моря, которое позволит утолить площади орошения в Ташаузской области Туркменистана и Кара-Калпакской АССР.

Человек осваивает пустыню... Подвижные пески закреплены растительностью и битумом; своеобразные реки до последней капли отдадут свои воды полям и садам; насосы качают нефть; по стальным трубам идет газ; асфальтированные дороги прорезали занесенные песками караванные тропы. Настало время подумать и о том, как сохранить неповторимый живописный мир раскаленных песков, как заставить служить людям весь комплекс пустынного ландшафта. Собственно, это и является комплексным освоением пустынь. Индустриальное победное развитие неотделимо от строгого учета тонких экологических связей. Тогда природа будет неизменно щедра и к нам и к внукам наших внуков.

✱

Но дело не только в змеях. Прежде всего я думал о людях, о Рустеме, Карпенко, об этом молодом лаборанте, имени которого не слышал. Василий Петрович относился к своим пленникам с какой-то суровой нежностью. Я не нахожу их слов, несмотря на всю их сентиментальность. Он действительно нежно любил змей... Потом, когда мы уже сражались, он рассказывал, что однажды



В. СНЕГИРЕВ

В канун новой серии матчей между сборной СССР и канадскими профессионалами журналист Владимир Снегирев попросил Владислава Третьяки прокомментировать некоторые высказывания канадских специалистов о предыдущей серии матчей между нашими хоккеистами и канадскими «звездами»... Автор цитирует книги: журналистов Жюль Террокса «Вбрасывание века» и Жака Людвига «Хоккейные вечера в Москве», а также тренера Гарри Сиденга «Хоккейное откровение».



ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК ПРОТИВ КАНАДСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

— **В**от здесь про тебя, Владислав. Журналист Жак Людвиг пишет: «Все подчеркивают уравновешенность и уверенность Третьяка. Я наблюдал за тем, как он ссбл вел, когда шайба металась всего в четырех футах от ворот.. Третьяк стоял в классической позе и не реагировал ни на какие уловки, а когда шайба со свистом полетела в угол его ворот, он был начеку и отразил ее. Уравновешенность и уверенность Третьяка — это одно из важнейших качеств, которое есть у всех русских игроков. Все они получили блестящее хоккейное воспитание».

ТРЕТЬЯК.

— Приятно слышать такое, однако перед матчами, когда мы еще только приехали в Канаду, меня в газетах называли не иначе, как «мальчишкой, которого в два счета растерзает Эспозито». Примерно то же самое говорили и о других наших хоккеистах.

— У Людвига есть и об этом: «2 сентября 1972 года величайшая хоккейная команда Канады была готова к матчам. Все считали, что она произведет такой ослепительный блеск, какого еще не видел никто. Мы приготовились зажечь свечи по русским игракам». А вот что пишет Жюль Террокс: «Когда Третьяк пропустил первую шайбу на 30-й секунде, все стали кричать: «Мы съедем их сырыми. Какого черта они здесь делают...»

ТРЕТЬЯК.

— Да, бедлам был чудовищный. Мне показалось, что на трибунах началось какое-то всеобщее безумие. Рев, свист, треск. Были sireны, вспыхивали мигалки, электроорган играл похоронную музыку. До сих пор удивляюсь, как нас все это не сбilo с толку. Еще более яростное ликование захлестнуло трибуны, когда Хендерсон забил мне вторую шайбу...

— Заключившая рассказ об этом матче, в котором вы победили со счетом 7:3, тот же Террокс отметил: «Великолепно сыграл Третьяк. Он несколько раз спасал ворота от верных голов Ф. Маховлич не мог скрыть своего восхищения этим молодым голкипером. Он сказал мне: «Каждый раз, когда я пытаюсь атаковать его ворота, мне кажется, что Третьяк наперед знает любое движение, которое я хочу предпринять. Словно мы с младенчества играем друг против друга».

ТРЕТЬЯК.

— Маховлич? Тот самый Френк Маховлич, который в Ванкувере сел на меня верхом? Помнишь: они пропрыгивали нам три гола и стали нервничать. В мою сторону скользила шайба, за ней мчался Маховлич, но я успел раньше. Тогда Маховлич сбил меня с ног и ушел сверху. А свистка нет, игра продолжается. Ну, думаю, забьют нам сейчас. Изю всех сил хочу встать, но он здоровый парень. Решил: поднимусь и

отделаю канадка. Но тут публика начала свистеть, и Маховалы освободил меня.

А интересно, знает ли Маховалы о том, кто был моим гостем за час до первого матча с канадцами — в Монреале? К нам в раздевалку тогда пришел Жак Плант, Знаменитый «укротитель шайбы», лучший канадский вратарь всех времен. Плант пришел вместе с переводчиком, я, думаю, что он мне сказал? Он стал подробнейшим образом объяснять, как мне, вратарю, играть против Маховалы, Эспозито, Корнуайе, Хендерсона... «Будь внимателен, — сказал Плант, — когда на льду Маховалы. Он бросает по воротам беспрерывно, с любых дистанций, из любых положений. Подальше выкатывайся ему навстречу. Учи, Корнуайе — самый быстрый нападающий в НХЛ, а Денис Халл может забить шайбу с красной линии. И помни: самый опасный игрок в нашей команде — Фил Эспозито. Этот парень посылает шайбу без подготовки даже в малосильные щели ворот. Не спускай с него глаз, когда он на «пятячке»: здесь защитники сладить с ним не могут».

Чтобы было нагляднее, Плант показал мне все это на макете, попрыскал и ушел, оставив нас в сильном недоумении: зачем ему повадилось «играть» против своих? Может быть, им руководила жалость ко мне, мальчишке, которого собирался растерзать Эспозито. Не знаю... Только спасибо Планту, его советы мне очень помогли.

— Хорошо, пойдем дальше. Вот одно любопытное замечание относительно стиля игры сборной СССР, сделанное Жакком Людитом: «Нет ничего нового в этом мире. Оглянитесь назад и вспомните стиль нью-йоркских «рейнджеров» — не его ли так эффективно применяют теперь советские игроки? Точные передачи и остроумная комбинационная игра всей команды — вот слабые стороны этого стиля».

ТРЕТЬЯК.

— Я не видел «рейнджеров» и поэтому не могу судить о том, насколько их манера напоминает нашу. Но абсолютно согласен с тем, что комбинационная игра — это действительно «конек» советских хоккеистов. И пришли мы к этому, напомним, своим собственным путем, не копируя никого.

— Людиг пишет далее: «Русская школа своим появлением во многом обязана тренеру Тарасову. Вот несколько любопытных положений, составляющих его credo: хороший пас — это тот, который идет от сердца; только игроки, не являющиеся эгоистами, могут создавать первоклассную команду; единственно допустимым мнением за грязную игру является победа над хоккеистами, нарушившими правила. 8 сентября на 2-й минуте 4-го матча русские блестяще проиллюстрировали этот последний тезис. Билл Голсуорси, чем-то напоминающий забияку Кашмена, грубо сыграл в углу площадки и был наказан 2-минутным штрафом. После вбрасывания шайбы овладел Петров, потом он передал ее Лутченко, тот — Михайлову, который послал шайбу мимо растерявшегося на льду Драйдена в первый угол ворот. На 6-й минуте Голсуорси снова кого-то неправильно атаковал, и все повторилось: опять Петров передал Лутченко, а Михайлов снова обманул Драйдена».

ТРЕТЬЯК.

— Профессионалов сильно удивляло, что наши ребята, как правило, не уступают им даже в силовой борьбе. Пора рассказать, наконец, что мы у себя в ЦСКА тем летом специально готовились к жесткому хоккею. Мы придумали множество разных упражнений для отработки силовых единоборств. Чтобы не бояться соперников, мы устраивали «пегушные бои» и даже тренировались в боксе.

— Когда канадцы приехали в Москву, они держались уверенно и каждый раз с неизменным опти-

мизмом выходили на лед. Но, оказавшись, как я узнал из книги Гарри Синдена, не все благополучно было в те дни на борту канадского корабля: До сих пор в нашем кофее была команда из 50 человек, которая старательно греба к берегу. Сегодня мы потеряли трех из них. Они выпрыгнули за борт, подвела крысы, которые не хотят потонуть вместе с кораблем. Вот как это случилось. Когда игроки сегодня утром закончили тренировку, я позвал их, чтобы назвать состав на вечерний матч. По рассеянности я не ввел Хэдфила ни в одну линию. Тогда ко мне подъехал Фергюссон и спросил, с кем я хочу поставить Хэдфила. «Пусть он пока присоединится к тем, кто не включен в постоянный состав», — сказала я. Фергюссон и Хэдфил долго беседовали между собой. Затем тренер вернулся и сообщил: «Он не хочет принимать этой подачи». Хэдфил покинул площадку, уселся на скамью и стал демонстративно читать газету. Я подошел к нему: «Ты должен тренироваться». «Не собираюсь», — ответил Хэдфил. «Тогда ты должен снять форму. Нет никакого толку от того, что ты сидишь здесь и выставляешь всех нас дураками».

Как оказалось, это был наш последний разговор. После этого Хэдфил поселился домой. Я хотел поговорить с ним, но потом послал все к черту. А после тренировки ко мне подошел Мартин и сказал, что он тоже хочет вернуться и что ничего плохого из этого меня не держит. Слух о том, что двое уезжают, уже распространился. Это было как заразное заболевание, которое могло охватить всех... На пути в отель Фергюссон сообщил, что Гиверсон тоже хочет вернуться домой.

Эти парни пожелали уйти прежде, чем закатится звезда канадского хоккея. Я бы очень хотел, чтобы они возвратились в Канаду пешком.

...Сегодня появился еще один, кто предал нас. Это Перро... Он считает, будто я много держу его на скамейке. Остальные игроки вволю посмеялись над Перро. Ведь все деньги, которые мы получим за матч, пойдут в общий котел и затем будут разделены между хоккеистами. «Может быть, кто-то еще хочет вернуться домой? — смеясь, спрашивали парни. — Валейте. Зато котел станет еще полнее для оставшихся».

ТРЕТЬЯК.

— Это очень показательное для атмосферы профессионального спорта. Канадцы — великолепные мастера хоккея, индивидуальные мастера их звезд на грани совершенства. Это так. И в этом смысле мы можем у них многому поучиться. Но остальное... Однажды я спросил Бобби Орра, как он, лучший сегодня хоккеист Канады, относится к своим тренерам. «Когда как», — ответил Орт. «Могут без видимой причины пропустить тренировку и даже две. Могут вообще не выходить на лед. Но если в следующем матче я сыграю плохо, мне мало заплатят. Если я и потом сыграю плохо, мне могут вообще не заплатить».

А вспомни самый первый матч, когда канадцы ушли с площадки без принятых у нас рукопожатий. Мы сначала обиделись. Но потом узнали, что профессионалы после финального свистка никогда не приветствуют друг друга. «Если я выиграл, то, значит, лишил соперника его долларов — зачем же он станет пожимать мне руку», — так объяснил нам Эспозито.

— Послушай, что Жиль Террокс советует учесть своим хоккеистам на будущее: «Русские были готовы к этим играм гораздо лучше, чем канадцы, которым потребовалось три недели, чтобы прийти к хорошей форме. Советские хоккеисты тренируются круглый год. Они даже все свое свободное время

тратят на то, чтобы играть в футбол, баскетбол, бегать кроссы. У нас же профессионалы одновременно являются бизнесменами — им некогда тренироваться столько, сколько это делают русские.

Теперь мы знаем, что и другие страны — такие, как СССР, Швеция, Чехословакия, — имеют игроков, которые могут соперничать с кем угодно. Так что в будущем давайте не будем недооценивать своих противников. Нам надо учиться на ошибках. Идеальной командой будет та, которая сумеет сочетать комбинационный стиль советских хоккеистов с яркой индивидуальной игрой канадских «звезд».

ТРЕТЬЯК.

— Что ж, с последним утверждением вполне можно согласиться. Я уверен, что два минувших года канадцы не сидели сложа руки. Сейчас нас ждет очень сильный соперник. Нам придется теперь говоздо труднее, чем в тот раз. Ведь канадцы готовились к новой серии совсем иначе, без тех шапкозакладельских настроений, которые были у них в 1972 году.

Это будет хоккей самого высшего класса. Каждому из нас предстоит прозреть все свое мастерство, хладнокровие, мужество.

Станислав ТОКАРЕВ

Без Наташи, но с Людой и Олей

Субъективные заметки

Четыре года назад, в октябре 1970 года, в «Юности» была опубликована моя статья «Гимнастика без Наташи?..» Помню, один ее абзац вызвал недовольство тренеров сборной. Я писал о том, что всему «поколению Кучинской» уготован короткий спортивный век: «Наташа просто первая из уходящих. Лариса Латынина участвовала в трех олимпиадах. Я не уверен, что Лариса Петрик и Ольга Карасева, которым сегодня 21 год, Зинаида Воронина, которой еще не исполнилось 23, выступят в 1972 году в Мюнхене, и уверен, что в 1976 году в Монреале все они не выступят». Очень жаль, но я оказался прав — Петрик покинула помост в 1971-м, Воронина и Карасева — в 1972-м, не попав в олимпийскую сборную.

Сейчас от основного состава сборной 1970 года осталась одна Людмила Турничева, ей 22, в год Монреала будет 24, и, я думаю, в Монреале она выступит. Даже, думаю, победит. Но о ней разговор особый.

Смотрю на любительский снимок, сделанный на пляже Леселидзе тогда, в семидесятом, во время подготовки к первенству мира. Шуточная акробатическая пирамида, которую венчает Оля Корбут, стоящая на плечах Латыниной. Здесь и те, кого уже нет на помосте, и те, кто сейчас «доживает» на нем последние месяцы. Думаю, скоро уйдет Люба Бурда, тогдашний лидер. Спокойная стала Люба — теперь она Андрианова, — спокойная до равновесия к былым своим спортивным страхам...

И Тамара Лазаквич, тогдашняя «забойщица» — шестой номер. Устала от травм, от операций...

А вот эти трое претендовали тогда на единственное место запасной: Татьяна Щеголькова, Эльвира Саади и Русудан Сихарулидзе. Их микротурнир, призом которого было это седьмое место в сборной, оказался тогда невероятно острым и ярким зрелищем. Победила Сихарулидзе. И с ней, с самой красивой из гимнасток мира, мы, наверное, скоро попрощаемся...

И Эля Саади, наверное, выступает последний

год — самая артистичная: руки у нее выразительны, как у Тамары Ханум...

А Татьяна Щеголькова давно поняла, что наверх ей уже не пробиться.

Но разве они виноваты, что у нас великое множество гимнасток, и каждый год возникают новые имена?

Разве они виноваты, что им уже за двадцать?

Может, за четыре года я не стал умнее, но рациональнее — наверняка. Я больше не воюю с ветряной мельницей омоложения. И не только потому, что это бесполезно. Я понял, что сегодняшняя гимнастика с ее режимом и нагрузками требует человека всего целиком — чтобы свет клином сошелся на двери тренировочного зала и чтобы был при этом отчаянный, беззаветный энтузиазм. Но когда ты взрослеешь, твой мир расширяется, происходит некоторая переоценка ценностей, тебе жаль и не хочется отдавать всю душу гимнастике, ты пробуешь делить себя между нею и чем-то другим, а она, гимнастика, делшки не прощает.

Только и всего.

Меня спрашивают: «Может ли Корбут выиграть, наконец, у Турничевой?» «Нет», — отвечаю, — не может».

На одном снаряде — пожалуйста. На двух. На трех. Но не в большом многоборье, где снарядов фактически двенадцать (три раза по четыре), где разыгрывается главный титул — абсолютной чемпионки.

Латынина однажды четко сформулировала: «Корбут удивит, а Турничева победит».

Надо быть Турничевой — стальной в работе, забронированной от житейских соблазнов, беспрекословно покорной собственной и тренерской воле. Она стайер, Турничева, у нее идеально терпеливый и упорный характер многоборца.

А Оля Корбут — человек-взрыв, человек-настроение. Представьте себе спринтера, бегущего десять тысяч метров, — такая же ситуация в многоборье.

Корбут, как Кучипская, однажды прослулась знаменитой. И пошла расти ее слава — английские и американские «клубы Корбут», прически «а-ля Корбут» (с бантами в косицах), рубашки с портретами Корбут на груди, плакаты с лицом Корбут, которыми оклеены целые города и страны, ревушие и беснующиеся толпы зоокеанских поклонниц и поклонников...

Ее тренер Ренальд Книш мне говорил: «Я смотрел, и мне это странно было, даже смешно: их полиция отгоняет, а они рвутся, им лишь бы пальцем к ней прикоснуться — к такой девчонке... Но тут вот в чем дело: Америка, понимаете? Все искусственное. Ресницы, пища — все. А она естественна — в поведении, в эмоциях... Ничего почти не заучено... И соревнования — это тоже ведь все естественное...»

Естественность поведения, естественность эмоций... Это мы разглядели не с трибуны, не дальним планом. Крупным. Слава Корбут, как слава Кучипской. — дитя телевидения.

В 1966 году во время трансляции из Дортмунда, с чемпионата мира, экран показал нам растерянность, ликование Наташи, когда она во время круга почта по залу забылась и одна вприпрыжку ушла вперед, потом смутилась до слез... Умный юпаша Ворошип сказал тогда: «Большая она актриса...»

В 1972 году во время трансляции из Мюнхена, с Олимпиады, экран показал нам горе Оли Корбут, отчаянные ее рыдания, когда за ее невероятные трюки на брусках судьи дали невысокую оценку... И



Вот они: Людмила Турищева (вверху) и Ольга Корбут.

Фото Жанны МОРЕНО.

миллионы телезрителей тотчас влюбилась в Олю и вознегодовали на судей...

А помните, как Сапа Запцев, впервые выступавший в паре с Родниной на первенстве Европы, увидел сплошные шестерки на табло, и брови его полезли вверх, рот разъехался, и за голову он схватился...

Теперь, стоишь в какой-нибудь статье, в очерке или интервью справедливо подчеркнуть ведущую роль Родниной в этом дуэте, как сыплются горы писем: «А Запцев? Разве Запцев хуже? Не обижайте Сапу Запцева!..»

Людмила Пахомова после катания (особенно за рубежом) обычно смотрит прямо в камеру и несколько раз, одним губами, произносит слово «мама». И она нам от этого ближе и дороже — блестящая, гордая и, честно говоря, далековатая от нас Людмила Пахомова, prima-балерина мирового спорта.

В этом году, когда транслировался из Ростова-на-Дону чемпионат страны по гимнастике, теледиректор оказал Оле Корбут дурную услугу. Он послал на экран изображение с той камеры, которая взяла Олю на бревно крупно и в три четверти. Она исполняла новый элемент — стойку с крутым прогибом, нечто уже совсем из циркового репертуара («женщина-змея», что ли). И мы увидели страшное напряжение, муку-мученическую на детском лице Корбут...

А может, нет? Может, правильно поступил режиссер?

Сотни девочек спрашивают: «Как стать такой, как Корбут?»

Ответ прост, рецепт не прост. И не для всех замалчив.

А в слове Корбут есть нечто фантастическое. Ч-то от сказки о Золушке, которая стала принцессой по мановению волшебной палочки. Золушка, конечно, была девочкой прилежной, но, кроме всего прочего, имела фею в качестве тети, так что ей неуживо и повезло. Со стороны кажется, что Корбут тоже повезло. Девочка-девочкой, такая же, как все. Тем и манит — обыкновенной внешностью и не-обыкновенностью судьбы.

Нет же в ней суровой и возвышенной отрешенности Турищевой.

Так себе, воробышек.

«Стиль «воробей»», — называет это Кныш.

Но все-таки, что надо, чтобы стать такой, как Корбут?

Для начала надо ею родиться. Надо, чтобы в 18—19 лет вы имели полтора метра роста и 38 килограммов веса — ни грамма больше, ни жиринки, сплошной мускул, свирепый режим.

Надо, чтобы в этом крохотном теле билось от-важное сердце, чтобы была азарт, любовь к при-ключениям: трюк для нее — приключение...

Нужна злость. Нужна беспашаанность.

Нужно веселье. Ненависть к скуке, к одностонно-сти [это, как вы понимаете, уже недостаток — Кор-бут плохо выносит кропотливый тренировочный труд, этим она тоже уступает Турищевой, но мы ведь говорим о том, как быть такой, как Корбут].

Нужна любовь к сцене, нужно постоянное жела-ние нравиться публике.

Здесь Корбут сильнее Кучинской — слава оказа-лась, непосильной для Наташи, для ее нервов, слава Наташу сожгла, а Корбут она только греет...

И нужен еще Ренальд Кныш.

Разговор был не очень понятным и внятным. Как сам Кныш. Ренальд Иванович присел на траву, со-верил и закусил травинку и, вода вдоль горизонта своим самоуглубленным взглядом, сказал:

— Что это вы такое про меня пишете, будто я подвижник, фанатик... Чокнутый какой-то... А вдруг я вообще и не люблю гимнастику? Может, я совсем другим живу, а гимнастика для меня — так... Свобода и материальное благополучие... Такого вы про меня не думали? Я вообще, может, когда-нибудь уйду из гимнастики. Если получится, что я заду-мал...

Я слышал краем уха, что он приобретает нечто не-вероятное — из области техники...

— И еще я ленивый, — говорил Кныш. — Мне скучно каждый день делать одно и то же. Вот ког-да остается до соревнований совсем немного, я ло-жусь в постель и думаю... Я люблю думать в посте-ли... Я думаю: «Чем бы удивить? Это больно сло-жно, трудно... И это не пойдет... И это... Вот это пойдет».

— Я вас поймал на слове, вы и есть «чокнутый»: надо же иметь по-особому устроенные мозги, что-бы придумать то, чего никто другой не может.

— Придумать и дурак способен. Придумать лег-ко. Трудно найти зерно. Главное в элементе. Осно-ву, чтобы звать, как его выпалить... Я всю жизнь был уверен: за что ни возьмусь, стану лучшим. Я хотел вырастить чемпионку страны. Вырастил — Волчецкую. Ну и что? Чемпионка страны? Чепуха! Я решил создать «сверхзвезду»... Корбут? Нет, она не «сверхзвезда»... Слава, слава... Думаете, так: едет Кныш по Гродно на машине, и все ГАИ под козырек берет? Наоборот: «Ага, вон Кныш едет, сейчас мы его прихватим, пусть не думает, что он какой-то та-кой особенный — Кныш»... Так оно и в жизни.

Абсолютная нормальность Людмилы Турищевой, спаянная с абсолютной нормальностью, с темпера-ментной убежденностью, с фанатизмом и открыве-нием гордым этим фанатизмом, — словом, со всем, что свойственно ее тренеру Владиславу Растороцко-му, дали нам в итоге надежный сверхтвердый слав.

Звевая перлюст Корбут и прилюбовавшись к не-н сильным и страстным, ни на кого не похожий талант Ренальда Кныша, его идеи, о которых не скажешь, что они «достаточно сумасшедшие», и еще их общая ненависть к повседневной рутине — все это дало славу, ослепительную и хрупкую.

Выступление Корбут — это каждый раз из всех сил. На пределе сил. Тем более что каждый раз она жаждет выиграть у Турищевой. Она сжигает себя на костре честолюбия. Зал ахает от ее трюков. А побеждает все-таки Турищева.

Та давняя статья в «Юности» кончалась разгово-ром о 12-летней Нине Дроновой: «Без доли преувели-чения я должен сказать, что девочка эта — уни-кальное явление в мировой гимнастике. Модарт гимнастики, если хотите... Как уберечь ее от телес-ных и душевных травм, дать ее таланту окрепнуть вовремя, расцвести в пору цветения и не отвести до поры...»

Не получилось. Нина выступает, и неплохо, и да-же блещет порой во второстепенных междунаро-дных турнирах, вроде весеннего лондонского, где вдруг вспомнил о ней, что она Модарт... Но мы знаем: цеток, которого ждали, так и не расцвел. Может, еще не все потеряно, но годы падут.

Причины... Есть объективные — травма, прич-ем такая, посяг на которую боль, что ни делай, остается, и надо ее пересиливать, надо терпеть, чего Нина не умеет. Личный вес, а бороться с ним, держать се-бя «в струне» Нина не умеет тоже. Наконец, просто лень — гроднозная, наблуданная лень: «Я такая, что мне с собой поделаться».

Обрушился я на девочку, а кто виноват, кто ис-бавлял-то ее? Мы же сами преждевременными во-сторгами.

С одной стороны — что особенного? Я же ска-зал — у нас великое множество гимнасток мал-мала меньше, и каждый год возникают новые имена.

Но Модарта среди них нет.

Или есть?.. Я уж теперь боюсь загадывать, чтобы не слазить, не опередить события.

Мы в женской гимнастике невероятно богаты да-рованиями. Наше богатство кажется неисчерпа-емым. Но позволительно ли быть трагиками?

Что я имею в виду? Да то, что и оцарываемся мы порою рано и разочаровываемся тоже иногда рано. Неисчерпаемый резерв отчасти опасен, поскольку силен соблазн споминутой замяти.

Турищева не сразу стала Турищевой. Легко при-помнить, сколько раз она падала за шаг до победы, сколько срывала элементов, прежде чем ее про-грамма обрела нынешнюю стопроцентную надеж-ность.

И вот сегодняшнее безоблачное благополучие та-ит все-таки в себе какую-то неосознанную тревогу. Вдруг в радостном мелькании имен и лиц мы упу-стили, проглатали еще одну Корбут, еще одну Ту-рищеву... А то и Кучинскую...

Ведь Наташа действительно неповторима.



Марк РОЗОВСКИЙ

НА РЫНКЕ

Рисунок И. БРОННИКОВА.

Знатный алкоголик района Володька Бубнов, частично беззубый человек 48 лет, с лицом шершавым и углистым, как асфальт, и тонкой, морщинистой шеей, похожей на грязное, перекрученное полотенце, сидел на рынке в ряду «Овощи-фрукты» и продавал щенка неизвестной породы.

Была глухая осень. Дождь накрапывал слегка, но тяжелыми редкими каплями. Они ударили по непокрытой лысине Володьки и отзывались в его несвежей голове мречным колокольным звоном.

«Сичас выпить баб!» — сладко думалось Володьке, но сукин сын щенок не продавался уже четвертый час, отчего голубая мочка оставалась того же цвета. Денег на выпивку у Володьки не было ни шиша. От пустого ожидания Володька ерзал, сидя на каком-то драном рыночном ящике, и мотал глазами в разные стороны в надежде усмотреть возможного случайного покупателя.

— Ты че нервичаешь? — спросила Володьку бабка с мужским именем Парфен, продававшая рядом огурцы, семечки, репу и газеты за февраль 1949 года — на завертку. — Не нервичай! Продавай сурьезно.

— Не покупают! — пожаловался Володька бабке. — Не идет товар.

— Купють, — уверенно сказала бабка Парфен. — Жди!

И действительно, не успел Володька еще раз оглянуться, как около него остановилась женщина-покупательница.

— Почему будет собака? — строго спросила она Володьку.

Но Володька, который сразу почувствовал, что ему везет, решил не сразу объявить цену.

— Полтора месяца, — сказал он. — Чудо, а не кобелек.

— Значит, еще писается! — Женщина дружелюбно потрогала щенка за ушами.

— Трешник, — торопливо объявил Володька, обидевшись за щенка, — а с утра за пятерку отдавал!

— Почему же сбавил? — с прежней строгостью спросила женщина.

— Щенок — старше, цена — дешевле! — объяснил Володька, но женщина не улыбнулась, не купила щенка, отошла.

Примерно через полтора часа, когда Володька совсем продрог и грелся своим ледяным, тоскливым до поила животом о горячее тепло щенка, подошел следующий покупатель — мужчина вредного интеллигентного вида.

— Сколько? — спросил он.
— Рубль, — быстро отвечивал Володька. — С утра трешник просил.

— Хорошо, — сказал интеллигент и полез в карман за бумажником. — Это какая порода? — Доберман-сеттер, — не моргнув, ляпнул Володька и тут же понял, что проделывал. За такую породу можно было бы взять и по дорожке!

— Что-то я не слышал такой породы. Родословная у него есть? — Чего? — не понял Володька.
— Ну, родители кто? Папа с мамой?

— Я его родитель, — сказал Володька протестующим. — Я ему и папа и мама!

— Понятно, — сказал интеллигент, оставляя рубль в бумажнике. — Ну, а бабушка с дедушкой тогда у него кто?

— Бабушка у него из Австралии, а дедушка проживает в Балашовке, с Курского вокзала. Между прочим, медалисты. Оба-два!

— Непонятно, — сказал интеллигент. — Почему ж они на таком расстоянии друг от друга живут? Почему в такой разлуке?

— Жизнь раскидала! — беспечно ответил Володька.

— Нет, пожалуй, я не возьму... Передумал... Мне нужен породистый пёс.

— Ах, ты... Володька хотел было выругаться но не сумел: щенок вдруг заскулил и посмотрел на него грустными своими пугливочными глазами.

Мужчина ушел, унося с собой через ворота рынка в бесконечность желанный рубль.

Бабка Парфен убрала с прилавка свою репу с семечками и огурками, причисалась, на вырученные от продажи газет деньги выпила газировки из автомата и похолодной царщицы ушла с рынка. Дождь перестал накрапывать, понимая, видно, что рабочий день рынка кончается. Володька сидел понуро, без всяких надежд.

Вдруг на уже почти пустом рынке стремительно появилась юная влюбленная парочка. Парень шел браво, в распахнутом настежь пальто, под которым сверкала дорогой, сшитый по моде костюм-тройка и галстук-киска, шел молодцевато, нагло, словно хозяин всей этой рыночной кутерьмы, а девочка, крошка-канашка, еле попевала за ним...

— Мужик, продаешь бобика? — спросил парень, показывая Володьке стальные зубы.

— А ты не видишь? — огрызнулся Володька.

— Марина, хочешь бобика?..

Давай купим, а?.. В квартиру нашу новую?

— Зачем?
— Для мебели.
— Не сходи с ума, Гена. Мы же за грушами пришли! — Марина потянула своего Гену за рукава.

— Груш нет. Есть бобик. Он к нашим обоям по цвету подходит. И забавя тебе будет не хуже телевизора

— Не хочу я бобика. Я груш хочу.

— Груш у тебе еще сто кило куплю. Я тебя грушами закидаю. А вот этого бобика...

— Сначала купи груш, а насчет бобика поговорим в следующий раз! — твердо сказала Марина.

— Марина! Ты моя жена второй месяц, а уже командует.

— Гена! Ты второй месяц как мой муж, я все это время прошу тебя как человека: купи мне груш, купи мне груш, а ты мне суешь какого-то бобика.

— Муж-муж! — сказал Гена с горечью. — Обьелся груш!

— В том-то и дело, что не обьелся! — поправила Марина не без ехидства.

— Мужик! — снова обратился парень к Володьке. — Так мы у тебя этого бобика купим.

— Покупай скорее, — мирно попросил Володька. — Мне еще до семи надо успеть.

— Успеешь. Сначала цену назови.

— Десять рублей, — ляпнул Володька, но что-то изнутри ему подсказывало: какую бы цену он сейчас ни назвал, дело будет сделано.

Марина ахнула, Гена на нее цыкнул.

— А это мальчик или девочка? — поинтересовался Гена.

— А вам кого больше хочется? — спросил игриво Володька, желая в общем-то потрафить покупателям и не ожидая вовсе, к чему приведет эта его шутка.

— Ему вообще детей не хочется, — вмешалась Марина. — Он в этом не понимает ничего.

— Ты много в детях понимаешь! — крикнул Гена довольно громко, так, что воробы слетели с прилавка. — Когда я до свадьбы до нашей просил тебя не делать ЭТОГО, а ты сделала, — ответь, ну, ответь сейчас, зачем ты ЭТО делала?!

— Нашел, урод, где отношения выяснять — на базаре, при мужике постороннем и при каком-то бобике!

— Кто урод? Я урод? — Гена рассвирепел окончательно. — Да ты на себя посмотри!.. У меня таких баб, как ты, месяц назад бы-

ло навалом! Вагон и маленькая тележка!

— Вот и отправляйся к своим бабам! А я тебя больше знать не желаю и видеть не хочу! — Марина зарыдала в руку.

— Чего же ты хочешь? — крикнул Гена. — Дура!

— Я груш хочу! — Марина повернулась. — Дурак! — и убежала с рынка.

Володька и Гена ошалело смотрели ей вслед.

— Так... Ну, мужик, сколько же стоит твой бобик, говоришь? — Гена сейчас шумно дышал через нос и криво улыбался Володьке. Вид у него был теперь совсем не бравадный, побитый у него был какой-то вид.

— С утра... пятнадцать просил! — неуверенно объявил цену Володька. Он был сейчас почемучко сильно испуган. Ему казалось сейчас, что вот-вот появится на рынке милиционер и заберет их всех вместе с бобиком и Генкой.

— Возьми четвертной. Сдачи не надо! — хмуро, сквозь зубы сказал Гена и расплатился. — Мне этот... эта...

— Кобаль, — подсказал Володька, еще не веря в то, что произошло.

— ...дороже жизни! — договорил парень и, прижав щанка к груди, медленно и неуверенно пошел прочь.

МИНИ-ЮМ

Сложившимся человеком у нас нередко называют человека, сложившего крылья.

У него был единственный недостаток — отсутствие всяких достоинств.

В. ЗАВАДСКИЙ

Первые слова вундеркинда: «Я еще не сказал своего последнего слова!»

Поскулившись на цветы, подбавил любуемой весь земной шар.

Порой время превращает дурака в опытного дурака.

Успех подражателя — его уже стали называть эпигон.

Ц. МЕЛАМЕД

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Марина КОСТЕНЕЦКАЯ. Завтра на рассвете
Рассказ 2

Софья ШАПОШНИКОВА. Ремонт. Рассказ 10

Фазиль ИСКАНДЕР. Ремзик. Повесть 21

Анатолий ГОЛУБЕВ. Чужой патрон. Приключенческая повесть 42

ПОЭЗИЯ

Кайсын КУЛИЕВ. «Я себя почитаю счастливым...», «Снег за окнами кружится...», «Поэты восхваляли соловьев...», «Женщинам, которые любили меня. «Я уподоблял тебя луне...», «Юноши, не бойтесь трудных книг...», «Камень здесь над всем и всеми...». Перевел с балкарского Н. Гребнев

Валентин УСТИНОВ. Путину

Октем ЭМИНОВ. «Пусть изготовят дутары для доброй игры». «На дорогу исканий нас вывели наши отцы...», «Как сближаемся мы?». Перевел с туркменского Ю. Гордиченко

Инара РОЯ. Янтарь. Свет. Путешествие на велосипеде. Повесть с латышского С. Соложенкина

Александр ЮДАХИН. «Товарищ мой старший...», «Все проходит, любил — не любил...», «Что Соломоново кольцо?», Осень

Виктор НИКОЛЕНКО. «Май на половине...», «Хорошо над Угрой — высоко и спокойно...», Соль

Юрий МИХАЙЛИК. «И небо, и море ночное...», «Итак, создается тройная уха...», «Летом сорок седьмого года...»

Григорий КОРИН. «Синевы не омрачу...», «Это явь или сон мой краткий...»

Глеб ГОРБОВСКИЙ. «Все некогда осмыслить бег времен...», «Перед полетом. «Меня ворона вдохновляет!», «Они гнездо с любовью гили...»

Владимир СОКОЛОВ. «Мой учитель был берегом, улицей, домом...», «Боже, как это было давно...», «Да! Сухой я живу, словно порох...», Из поэмы «Дублер». «Я болен. Я в белой рубахе...»

КРИТИКА

Наталья КОНЧАЛОВСКАЯ. Слово о Коненкове (К нашей вкладке)

Степан ШИПАЧЕВ. Незабываемый август

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. Не прогоняй птицу! (Литература в школе)

Н. БЕККЕРМАН. Волшебство реальности. (Поговорим о прочитанном)

Наталья ЛАГИНА. «...Чтобы другие чувствовали... (Окно в мир прекрасного)

И. ПЕТЕРЗЕЛ. Каким я его помню. (Жизнь — песни)

Заур-Бек АБОВЕВ. Первая выставка. (На стенах «Юности»)

З. ШЕЙНИС. Студент Софийского университета (Документальная повесть)

В ГОСТЯХ У «ЮНОСТИ» ТЮМЕНСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ:

Владимир САЛМИН. Встретимся на Самотлоре. Александр ШВЕРИКАС. След в след

Плотность идей

Вия А. Маленькая повесть о большой любви. Еремей ПАРНОВ. Текущий мир горячих песков...

В. СНЕГИРЕВ. Владислав Третьяк против канонских профессионалов

Станислав ТОКАРЕВ. Без Наташи, но с Людой и Олей. Субъективные заметки

Марк РОЗОВСКИЙ. На рынке

Мини-юм

ПИСЬМО СЕНТЯБРЯ НАУКА И ТЕХНИКА СПОРТ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

7 Редакционная коллегия:
8 А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ
9 (зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
19 А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
20 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
20 Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
40 С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
40 М. П. ПРИЛЕЖАЕВА

41
Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

64 Технический редактор
Л. К. Зябкина.

67
На 1—4-й стр. обложки
рисунок Е. СОБЛОНОВ
и А. МАКСИМОВА

71
Адрес редакции:
73 101524, ГСП, Москва, К-6.
Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции: 251-32-83.
83 Рукописи
не возвращаются.

84
Сдано в набор 1/VII—1974 г.
Подп. к печ. 12/VIII—1974 г.
75 А 09200
Формат 84×108¹/₁₆.
82 Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
98 Тираж 2 600 000 экз.
Изд. № 1973. Заказ № 2430.

99
105 Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
107 Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125065, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



Весна в горах.

На стенах
«ЮНОСТИ»

**БАТРАЗ
ДЗИОВ**

(г. Орджоникидзе)



Мечтатель.